



ЮНОСТЬ



3
1975



Д. ЖИЛИНСКИЙ. Стихи.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



3 [238]
МАРТ
1975

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА.

Эдуардас Межелайтис



Перевел
с литовского
Л. МИЛЬ.

Медосбор

Сладок август: пчелами усеян.
Август не жалеет ничего.
Он всегда богаче и щедрее
Месяцев, стоявших до него.
Он еще и несравненно слаще,
Как бывают слаще во сто крат
Женские безудержные ласки
Тех, какими девушки дарят.
Полны соты золотого меда.
Я такого сроду не едал.
Август и богаче год от года
И щедрее тоже, чем бывал.
И к тому же — неизменно слаще,
Как бывает слаще во сто крат
Только что изведенное счастье
Пережитых некогда услад.
Неужели время медосбора
Для меня пришло в последний раз?
Не было такого уговора,
Правда, август! — не было у нас.

На рыбалке

Светящаяся, словно память детства,
Запрыгала рыбешка над рекой,
И взвизгнула ликующая леска,
И выгнулась удилице дугой.
Так и меня неведомая сила
Когда-нибудь ухватит за вихор,
И, выдернутый из родного ила,
Затею с ней такой же ярый спор.
Ведь я и сам, в конце пути земного
Вбирая жадными зрачками свет,
Не пожелаю бытия много —
А значит, для меня много нет...
Крючок надежен, и рука привычна.
Сейчас добычу я в мешок швырну...
Но полетела светлая плотвичка
В привлекливо журчащую волну.

Неоспоримые доводы

Нас еще навевают шмели золотые.
Прилетают серебряные мотыльки
Безотказно. И могут лишь пройды ликие
Спорить с августом, честно платящим
долги.

Нас еще навевает олень королевский,—
Что уже и не входит в реестр долговой
В наше время. И может лишь кляузник
мерзкий
Потрясать перед августом тощей сумой.

Нас еще навевают все певичие птицы,
В непогоду подсолнухи ярче блестят —
Вместо солнца. И с августом стыдно
браниться,
Если даже и ливни порой зачастят.

Нас еще навевают кувшинки и розы,
Что до ливней — с грибами они заодно.
С шампиньонам. И лишь человек
несерьезный
В облака будет грома метать все равно.

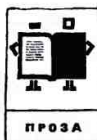
Нас еще навевают большие надежды.
Как великие строфы, подобные дни
Драгоценны. И сущие только невежды
Их не ценят, поскольку невежды они.

Стоит жить, ибо август обилен и сладок,
Ибо тысячу прочих чудесных причин
Он приводит. И лета зеленый остаток
От начала, пожалуй что, неотличим.

Игорь Шкляревский



Проснулся я во тьме ночной,
и жалость тонкою иглою
все существо мое пронзила!..
В соломе колкой и сырой,
дрожа, я слушал ветра вой,
и так он плакал надо мной,
так пахло вянущей травой,
как будто ты меня простила...
И я любил, жалел до слез
всех, кто со мной живет на свете,
И эту нежность темный ветер
над голыми полями нес...
И солнце бледное взошло.
На живые изморось загло,
поля, могилы озарило.
Я молча вспомнил все, что было
давно, позавчера, вчера.
Все вспомнил я... Лишь до утра
на всех мне жалости хватило.



Максуд
ИБРАГИМБЕКОВ



ПРИЛЕТАЛА СОВА

ПОВЕСТЬ

Теперь скрипит, проклятая! И до чего противно скрипит, сил никаких нет слушать. То стонала и ухала, так что меня спросонком мороз по коже продрал, а теперь скрипит. Скрипит и щелкает. На инжирном дереве сидит, что за оградой, а слышно так, как будто она где-то совсем рядом в доме. Если не прогнать, до утра не остановится. До чего вставать и выходить неохота. И чего она сюда повадилась каждую ночь прилетать, других деревьев ей мало в Гаялах? Вот этот камень подходящий. Посмотрим, как теперь запоет! Эх! Чуть-чуть ведь не попал, совсем рядом с ней по ветке стукнулся. Аж зашипела от страха. Сразу же поднялась и рванула в сторону. Она, наверное, серая, а в свете луны кажется светлой-светлой. Куда она полетела, интересно?

И не только сова, виноградные лозы и тутовые деревья, даже желтые камни забора и скалы внизу над морем казались белыми. Если бы не сова, то в эту ночь вокруг было бы очень тихо, это мне сразу стало ясно, как только она улетела. Даже сверчки молчали. За спиной у меня дверь скрипнула:

— Ты чего не спишь?
— Сову прогонял. Опять прилетела.
— Не к добру это,— вздохнула бабушка.— Дай бог беды миновать.

— Дядя Кямил в субботу придет и пристрелит ее, никакой тогда беды и не будет. Я его попрошу.
— И думать не смей. Нельзя сов убивать,— сказала бабушка.— Грех это.

— А какая беда может быть от того, что она прилетает?

— Только у меня и дел, ночью о совах с тобой разговаривать. Иди спать, не проснешься ведь утром.
— А завтра скажешь?

— Скажу, скажу. Спи. Половина третьего уже... Спать мне совсем не хочется, вот ведь в чем дело. Да и стоит ли ложиться, если через полтора часа мне надо вставать. Мы же договорились с Васифом завтра пойти ловить рыбу, в половине шестого на берегу должны встретиться... Придется все-таки лечь, бабушка все равно не успокоится, пока не увидит, что я заснул... Не забыть бы утром спросить

Рисунки
В. ТРУБКОВИЧА.

у нее, почему это быть беде, если ночью сова прилетает.

Бабушка все приметы знает, какие только есть на свете. Это потому, что она верующая и старенькая.

Утром я уже выходил, когда она меня остановила. Молча подошла ко мне и отобрала удочку и ведро.

— Я не хочу есть.

— А я разве спрашиваю?

И когда она успела молоко подогреть? Иногда мне кажется, что она вообще не спит, а так, дремлет и при малейшем шуме просыпается.

— А ты обещала рассказать, почему это плохо, если сова по ночам начинает прилетать.

— Да уж хорошего мало. Эта примета верная — умрет кто-нибудь или заболит. А эта последнюю неделю ни одной ночи не пропускает.

Ну уж если моя бабушка что-то говорит, то уж она в это верит. То-то она и вчера и ночью такая грустная была. Она, конечно, теперь и не сомневается, что кто-то у нас дома умрет или заболит. Кто-то из нас двоих. Я посмотрел на ее расстроенное лицо и даже про рыбалку забыл, до того мне ее жалко стало. Она ведь понимает, что я не умру, а раз не я... что же получается? И нужно же было, чтобы проклятая сова прилетала именно на это дерево.

— Это сплошное суеверие,— сказал я.

— Вот и прекрасно,— сразу же согласилась бабушка.— А ты иди, тебя же ждут.

— А мне уже и идти расхотелось,— сказал я.— Нет, ты только подумай, ты же умный человек — из какой-то паршивой совы, понимаешь, птицы, может умереть человек. Это же курам на смех!

Тут она перестала убирать со стола и стала меня разглядывать. Если бы на меня кто-нибудь другой так посмотрел, я бы обиделся, а тут и сделать ничего не сделала, если смотрит на тебя с насмешкой твоя родная бабка.

— Умник! — сказала она.— Ах, какой ты умник, смотреть приятно! Это я суеверная? Три года назад твой отец тоже говорил, что я суеверная, когда к дому Шахлар-бека повадилась каждую ночь сова прилетать.

— Так он же больной был и совсем старый,— сказал я и сразу пожалел, что сказал так.

— Ну и что же, что старый... И не такие старые живут. Шахлар-бек еще, может быть, несколько лет прожил бы. Его мать — Гемзр-ханум — на десять лет старше была, когда умерла.

Что правда, то правда — за несколько дней до его смерти к ним сова повадилась прилетать. Ну и что? Для меня, например, это не доказательство. Ведь Шахлар-бек был очень старый, к нему каждую неделю приезжал из города врач, специально для того, чтобы проверить, как он себя чувствует. Во-первых, потому, что Шахлар-бек официально считался должником, а все должники в Азербайджане должны на учет, а во-вторых, потому, что он получал персональную пенсию, ему ее дали за то, что он бывший революционер. Он с утра до поздней ночи сидел в кресле на балконе своего дома, сам до того маленький, что почти целиком умещался в кресле, и голова у него была седая и бордовая. Он всегда всем приветливо улыбался — и знакомым и незнакомым, кто мимо его дома проходил. Его все соседи в округе уважали и, по-моему, гордились, что он здесь живет. Я его, честно говоря, раньше побаивался, наверное, из-за того, что он часто сердился и тог-

да начинал кричать громким, сердитым голосом на дочь и на двух своих сыновей. Обычно он на них кричал во время игры — он с ними то в карты играл, то в нарды. Я ни одного вечера и не припомню, чтобы у них во что-нибудь не играли. Часто приезжали из города оба его сына с приятелями — все хорошие люди — и с вечера усаживались за стол — за карты или в нарды на двух досках сразу. Он и в те редкие дни, когда никто не приезжал, обходился своими силами — играл с женой Марьям-ханум и дочерью Зарифой, старой девой.

Шахлар-бек и мне всегда улыбался, когда я к ним приходил. Сразу же спрашивал у меня, как в школе дела, разузнавал, что на пляже делается или в селении, — очень он был любопытный. Видно было, что не из-за приличий со мной разговаривает, а потому что ему и вправду интересно. Я запомнил тот вечер, когда его в последний раз видел. Он, как всегда, сидел в кресле. На столе было для него накрыто, но он не ел. Сидел и о чем-то думал. Сперва пригласил меня к столу, но я отказался, потому что пообедал полчаса назад, а потом он спросил:

— Как по-моему, почему это создание отказывается от еды? — И показал мне на кошку Пакизу, которая сидела на полу перед миской с едой и вместо того, чтобы есть, смотрела неостроивно на Шахлар-бека и время от времени протяжно мяукала.— Кошка с утра ничего не ела. Значит, ей не нравится еда,— сказал он, не дожидаясь моего ответа.— Зарифа! Зарифа! — вдруг закричал он.— Что ты налила такого в миску кошке, что она отказывается есть? — То же, что и нам—пяти! — сказала дочь, появляясь в дверях.— Суп, и накрошила в него мяса и хлеба.

— Непонятно.— Он прикрикнул на кошку: — Ешь! Наверное, думает, что ее обманывают,— сказал он, не то обращаясь ко мне, не то просто подумал вслух. Потом кряхтя встал, взяв свою тарелку с супом и подошел к Пакизе, с трудом наклонился с тарелкой к ней, так и казалось, что вот-вот расплещет суп, и сказал: — Посмотри, у меня в тарелке то же самое, что у тебя. Смотри!

Пакиза медленно отошла от него, у лестницы оглянулась и спустилась в сад.

— Вот,— сказал ей вслед с сожалением Шахлар-бек.— Кошка. Что с нее взять. Была бы собакой, то и вела бы себя по-другому.

Зарифа отобрала у него тарелку и поставила на прежнее место. Он медленно вернулся и сел в кресло.

— Слушай,— вдруг спросил он меня.— Ты в миллиард играть умеешь?.. Ничего, научишься,— сказал он, услышав, что я не играю.— Вот странно,— удивленно сказал он,— сидят два человека — один уже кончил играть в бильярд, а другой еще не начал. Тебе не странно?

Он и в тот последний вечер после моего ухода играл в карты — один на один с дочерью. Они еще не кончили играть, когда прилетела сова и начала стонать. Может быть, это была та же самая сова, что теперь к нам повадилась.

Похоронили его здесь, на кладбище в Галялах. На его похороны столько народу собралось, что можно было подумать, будто весь Баку съехался в Галялы. Никто, кроме Зарифы, не плакал, даже сыновья, но было по-настоящему грустно, хоть все собравшиеся и улыбались, когда на поминках начали рассказывать всякие интересные истории, в свое время приключившиеся с Шахлар-беком. Мне особенно одна история понравилась, ее рассказал старший, седой человек, один из тех, кто приезжал к Шахлар-беку играть в карты.

Оказывается, Шахлар-бек был по профессии мезевым инженером, я и не знал до этого, что есть такая профессия, он такое образование получил в Петербурге и после окончания института до революции работал в Баку, в губернском управлении, в здании, где сейчас Баксовет. Он был очень старательный и добросовестный работник, но нуждался, потому что семья у него была очень большая, а зарабатывал он один. Губернатор Баку, который хорошо относился к Шахлар-беку, однажды вызвал его к себе в кабинет и сказал:

— Дорогой Шахлар-бек, я знаю, что вы постоянно испытываете нужду в деньгах, и хочу вам кое-что предложить.

— Очень признателен вашему превосходительству за заботу,— ответил сразу же обрадовавшийся Шахлар-бек.

— И поэтому хочу назначить вас межевым инспектором всего нефтеносного района от Баилова до Черного города,— сказал губернатор.

— Позвольте,— удивился Шахлар-бек,— но ведь жалование инспектора гораздо меньше того, что я получаю здесь, в управлении!

Губернатор, улыбаясь, смотрел на него. Тогда Шахлар-бек сильно победил и сказал:

— Вы меня оскорбляете, ваше превосходительство.

— Вы, кажется, думаете, что вы более цепетильный человек, чем я? Ну что ж...— Губернатор очень обиделся на Шахлар-бека, и тому через некоторое время пришлось уйти со службы.

Я не понимал, почему они обиделись друг на друга— губернатор и Шахлар-бек, пока папа не объяснил мне, что до революции должность межевого инспектора нефтеносных участков считалась очень доходной и все ее добивались, потому что от инспектора зависело, где пройдет граница между новыми участками.

Все нефтяные миллионеры, из то они и капиталисты, изо всех сил старались улаживать межевого инспектора деньгами или другими способами, и по тем временам это не считалось взяткой. Но, видно, всаки считалось, если Шахлар-бек отказался.

После его смерти на даче осталась жить дочь. Ей было лет тридцать, на вид даже больше, она была очень худая, и лицо все в морщинах. Она мечтала замуж выйти— часто прибегала к нам и шепталась с бабушкой, советовалась.

...Я взял ведерко с удочкой и пошел к двори. Все ясно, теперь она будет думать, что сова специально из-за нее прилетает. Еще возьмет и помет... И тут меня осенило.

— Ладно,— сказал я.— Этот факт со смертью Шахлар-бека меня убедил...

— Факт,— сказала бабушка,— и без этого твоего факта все знают, что если сова начала прилетать, то добра не жди.

— Но есть и другой факт,— сказал я.— Ведь эта сова всегда садится на инжирное дерево за забором. Верно? А там не наш участок. За забором-то дача дяди Камилла. Значит, к нам ее прилеты не относятся. И ни с кем в нашем доме ничего не случится. Правильно?

Она не ответила, только рукой махнула и пошла с посудой к колодцу.

Из-за того, что я так торопился, пришлось лезть через забор дачи Рашида Гулиева— так гораздо ближе до берега. Камни были холодные и мокрые от росы. И штаны сразу намокли и рубаха. Ничего себе утро началось!

А я-то думал, что раньше всех проснулся. Но Рашид уже стоит на балконе своего дома и беседует

со своим приятелем, кажется, с тем, у которого голубые «Жигули».

Так и есть— он и машина стоит. У Рашида много знакомых, и они его здесь часто навещают. Рашид говорит, что для него самая большая радость, когда дверь его дома открывают друзья.

И вообще, он говорит, дружба в жизни человеку здорово помогает. Вот он, например, всего в жизни своими руками добился: высшее образование получил— о том, что у него и у его жены Адели высшее образование, Рашид уже всем соседям рассказывал; как познакомился, сразу же об этом рассказывал; из небольшого районного центра а Баку переехал жить в трехкомнатную квартиру в центре, на работу ответственную устроился в Министерство социального обеспечения; такая работа, что от него многое зависит, чтобы хорошим людям хорошее сделать... Но, по словам Рашида, и друзья в жизни не последнее дело— и советом помогут и добрым словом поддержат. И он для них всегда полезным быть старался.

Рашид очень приветливый человек, первое время в Гялях все удивлялись такой его вежливости, но потом привыкли, а некоторые, я заметил, стали тоже гораздо вежливее и приветливее.

Вот и сейчас со мной поздоровался, и о здоровье бабушки расспросил, и удачи на рыбной ловле пожелал, хотя по лицу его приятеля было видно, что из-за меня у них прервался разговор, может быть, на самом интересном месте. Этот приятель в Гялях тоже недавно появился— год назад купил дачу на другом конце поселка.

Рашид с женой живет очень дружно, хотя они по характеру очень разные; иногда они не ссорятся и даже на людях называют друг друга ласковыми прозвищами. Его жену часто вызывают делать уколы, и она никогда не отказывается, даже если ее вызывают ночью, говорит, это ее врачебный долг. Благодаря жене Рашида лично мне точно известно, что самые благодарные или подлые люди в Гялях— это все те, кому она постоянно делает уколы. До того, как я послушался всех этих ее разговоров, я даже представить себе не мог, что по голому задку человека можно узнать о нем столько плохого. Любуй другой на ее месте, сколько бы ему ни платили за это, прекратил бы ходить по домам и делать уколы, но жена Рашида, по-моему, из-за врачебного долга привыкла себя не обращать внимания на неблагодарность людей; по ее словам, для нее этот долг— очень серьезное дело. Рашид говорит про Аделю, что она святая женщина, и каждый раз она при этом краснеет, и смущается, и просит ее больше так не называть...

А домик дяди Камилла совсем обветшал. Даже, несмотря на туман, видно, что лестница совсем развалилась и вся поросла травой. Дача у него хорошая, и виноградных лоз много, и все они плодоносят, и деревьев инжирных штук восемь, и даже гранатовые есть, а вот дом нигде уже не годится, хорошо еще, что крыша не протекает. Дядя Камилл все собирается заняться домом, но каждую весну оказывается, что у него нет времени, Рашид раз или два предлагал дяде Камиллу помочь привести дом и дачу в порядок, говорит, мне это ничего не стоит, все равно будет у меня ремонт, и вам лишний гвоздик забьют, но тот отказался. Поблагодарил Рашида и сказал, что выберет время и сам займется. Я на месте дяди Камилла не отказался бы от его помощи. Рашид многим нашим соседям помогает, просто так, не за деньги или же, скажем, в обмен на что-нибудь, а просто так, по-соседски, он так и говорит— от чистого сердца.



Мамеду, например, за свою цену, без всякой приплаты, он насос электрический достал для колоды, какой-то особый насос, Мамед его несколько лет нигде не мог купить; другим соседям помог ему очереди «Москвич» купить. Говорит, что у него везде есть хорошие друзья. Они из уважения к Рашиду любят помогать честным людям, которым трудно что-то достать из-за своего прямого, нехитрого характера.

Дядя, может быть, предлагает отремонтировать дом дяди Кямила еще потому, что ему неприятно смотреть на чужие запущенные вещи. Сам он за своим участком здорово следит — все лозы высажены в ряд, инжирные и тутовые деревья тоже все аккуратно обрезаны, раньше в Гаялах никто их не обрезал, росли себе деревья как хотели, а Рашид, как только появился здесь, пригласил агронома и садовника, и они все его хозяйство привели в порядок.

Еще он посадил на своем участке перед домом голубой кипарис, пол-Гаялы пришли посмотреть на него, все смотрели, и удивлялись, и говорили, что он ни за что не примется, мол, земля здесь неподходящая. Кипарис в том году прижился, только пользы от этого оказалось мало. Наверно, это был какой-то особый кипарис, потому что на него стали слетаться мухи со всех концов побережья. В каком-то смысле это был очень полезный кипарис — из-за него в округе не осталось ни одной мухи — все собирались на него. Подходили к дереву, а оно жужжит — все ветки снизу доверху слоем мух покрыты, ни коры не видно, ни зелени. И ничего не помогало. Через два дня после очередного опрыскивания мухи снова собирались. Видно, они прилетали из очень дальних краев, потому что я лично в последнее время ни на пляже, ни дома ни одной мухи уже не встречал. Зато дохлых везде сколько хочешь — а уж в доме Рашида шагу ступить из-за них нельзя было.

Пришлось кипарис срубить. Все, кроме Рашида, о нем жалели, потому что теперь в Гаялах опять появились мухи, немного — столько же, сколько раньше, но все-таки появились.

Дядя Кяmil, когда узнал, что кипарис срублен, сказал Рашиду, что тот совершил, стоя на самом пороге научного открытия, роковую ошибку, он на месте Рашида попытался бы определить, в чем особенность этого удивительного кипариса, и сообщил об этом в научные журналы. Может быть, благодаря подобным кипарисам удалось бы изобрести человечество от мух.

Рашид его слушал внимательно, и чувствовалось, что он поверил и жалеет о том, что поступил так необдуманно. До тех пор, пока дядя Кяmil не сказал вслед за этим, что если бы Рашидово открытие состоялось, то впоследствии эти кипарисы высидели бы в шахматном порядке по всей стране, вроде мушкетеров маяков, а Рашиду по законам авторского права выплачивали бы доход — по его выбору — процент с каждого кипариса или с каждой тысячи погибших мух. Тут Рашид хмыкнул, понял, что дядя Кяmil шутил, и сказал, что бог с ними, с доходами, всех денег все равно не заработаешь, а ему вполне хватает тех, что он зарабатывает своим горбом. Я думаю, он обидится, бывают же люди, которые обижаются на самые безобидные шутки, но Рашид ни чуточки не обиделся.

Он, после того как поселился здесь, не только участок, но и дом в порядок привел, крышу новую поставил, лестницу. Забор тоже отремонтировал, он места повалился. В один день привезли камень и цемент и навели полный порядок. Теперь забор как новый стоит, но не покрашенный — Рашид сказал, что он не скупой, но бросать на ветер у него денег

нет, тратить на забор, который толк и виден как с дороги, — глупость и безобразие.

Он и вправду не скупой — дома у него все есть: и большой холодильник, и мебель хорошая, даже не похожа на дачную, вместо душевой он установил ванну, и телевизор у него цветной. У нас в доме, например, пол деревянный, а на кухне цементный. Рашид сказал, что от цементного пола можно заболеть ревматизмом, даже летом, и покрыл его в своей кухне линолеумом, а в комнатах выложил паркетом.

Что мне нравится у них, так это книги, весь дом полон книг. Рашид почти каждую неделю из города привозит. Он почти на все издания подписан, какие только есть, начиная от Всемирной библиотеки и кончая подписками «Огонька» — Драйзером и О'Генри.

Не пойму толком, откуда у него столько времени берется в очереди стоять. Мы как-то с папой почили, записались в очередь — три дня ходили отмечались и потом в воскресенье все утро и полдня простояли, прежде чем нам наконец выписали квитанцию. Я раньше часто брал у них книги. Рашид мне сам предложил: книги, говорит, для того, чтобы их читали, бери и возвращай, когда хочешь. Один раз, когда я вернул две книги, Рашид взял их у меня, повертел в руках и спросил: «Значит, ты за неделю прочитал две такие толстые книги?» — и улыбнулся при этом недоверчиво. Я говорю: конечно, прочитал, хочите, содержание расскажу. Он улыбаться сразу же перестал и говорит: «Не надо рассказывать, я тебе верю, ты не такой мальчик, чтобы обманывать. Молодец, быстро читаешь». Они переглянулись при этом — Рашид и Аделя, — только мне непонятно было, чего это они переглядываются.

...Надо было все-таки надеть брюки — неприятно, когда холодные, мокрые лозы бьют по ногам. Туман сегодня выдающийся, летом в Гаялах туманы вообще редко бывают, а такого, чтобы с этого места нашего дома не было видно, я и не припомню. А у дяди Кямила дверь приоткрыта. Он никогда ее не запирает, когда уезжает. Я у него как-то спросил, разве ему не жалко будет, если украдут его пишущую машинку или ружье. Он усмехнулся и сказал, что уж если вдобавок ко всему и машинку украдут, то ему даже интересно будет поглядеть на такое неслыханное невезение. Честно говоря, хоть все вокруг и запирают двери на всякие сложные замки, я ни разу не слышал, чтобы у нас по соседству кого-нибудь обокрали. Я ведь сюда каждое лето приезжаю, чуть ли не с того самого первого лета, когда родился. И соседи у нас с тех пор все те же. Новых не появилось. Кроме Рашида — два года назад. После смерти Шахлар-бека.

На даче тогда осталась жить одна Зарифа. Другие дети Шахлар-бека ни разу с тех пор не приезжали. Или заняты были очень, а может быть, у них были дачи где-нибудь в другом месте. А может быть, им и неинтересно было с Зарифой разговаривать, она им хоть и сестра, но сводная. Зарифа родилась от второй жены Шахлар-бека, Марьям-ханум, когда ему было семьдесят лет. Зарифа очень добрая была. Говорят, старые деды злые, я на это счет ничего сказать не могу, кроме Зарифы, я ни с одной старой девицей знаком не был. Зарифа была доброй и приветливой, это уж точно. И улыбалась она всегда виноватой улыбкой, как будто разговаривает и вместе с тем за что-то извиняется, а за что, неизвестно. Я, например, при ней никогда не чувствовал, что она намного старше меня — она со мной всегда разговаривала так же, как со всеми другими своими знакомыми, никакой разницы не делала. И даже наоборот — однажды я почувствовал, что намного не то что

старше, а смелее ее. Это после случая с кроликом. У меня кролик был по кличке «Аспарухов», его так еще прежде звали, до того, как он мне достался. Вагиф Мамедов из 4-го этажа, когда мы менялись, сказал, что кролика так назвали в честь какого-то известного футболиста. Я Вагифу за Аспарухова дал большой обломок горного хрусталя размером с килограммовую банку — его мне родители привезли, — а через два дня деревянный футляр из-под сигары вроде пелала, только чуть поменьше. Футляр я дал porque, потому что проверял, правду ли сказал Вагиф насчет того, что этот удивительный кролик самостоятельно ходит в туалет и по-большому и по-маленькому. Оказалось, что Вагиф правду сказал — кролику ничего и показывать не пришлось — он сам отыскал в нашей квартире туалет и с тех пор ни разу не забыл туда зайти. Я никому не рассказываю о том, что он такой способный, потому что никто мне не верит. Единственный недостаток у него — чересчур он трусливый. Даже меня боится, самого близкого для него человека. Я думал, что он после переезда на дачу изменится — все-таки природа, — но все осталось по-прежнему. Днем он по углам прятался и только ночью выходил погулять, съест свои овощи, которые мы ему оставляли в тарелке на балконе.

Он потом изменился здорово после того случая, о котором я хочу рассказать. Мы в тот день с бабушкой и Зарифой собирали виноград. Зарифа собирала и рассказывала бабушке, что какие-то люди ей недавно предложили продать дачу и что сегодня они приедут за ответом, а она не знает, что делать: с одной стороны, не хочется — как-то бозяно вдруг взять и продать, а с другой, может быть, и надо согласиться, потому что после смерти отца ей здесь плохо, особенно по ночам, бывает тоскливо, да и деньги пригодятся. Бабушка ей советовала не торопиться и, самое главное, разузнать сперва, что это за покупатели такие, можно и на жуликов нарваться. Зарифа сказала, что ничего не решит, пока не познакомится этих покупателей с бабушкой и не узнает ее мнения. Потом она пошла в дом опорожнить корзину и задержалась там. Я в это время собирал виноград с лоз, что растут у самого дома, и вдруг услышал, что из окна кухни доносятся какие-то странные звуки. Похоже было, что там кто-то всхлипывает, раз два всхлипнет, а потом начинает пищать тонким голосом. Я сразу же бросился в дом. Дверь в кухню была открыта. Прямо посередине ее на табурете стояла Зарифа, это она всхлипывала и со страхом смотрела на пол. А там с ужасно наглым выражением на морде разгуливал Аспарухов. Он ходил кругом табурета и поглядывал с этим наглым выражением на ноги Зарифы, время от времени поднимался столбиком и принохивался к ним, тут Зарифа сразу же начинала пищать. И вдруг он обернулся и увидел меня. Я понимаю, что кролики не могут стесняться, но этот, как меня увидел, сразу же застеснялся, по морде было видно, и забежал под шкаф. Зарифа прямо с табурета бросилась ко мне — вот тогда-то я почувствовал, что я кое в чем гораздо смелее, чем она. Самое интересное, что с того самого дня Аспарухов меня уже не боится и даже не убегает, когда я подхожу к нему для того, чтобы взять на руки.

В этот день вечером мы в первый раз увидели Аделю и Рашида. Они бабушке очень понравились, а она в людях разбирается, это все знают. Рашид перед отъездом оставил Зарифе пакет с деньгами. Сказал, что он ей полностью доверяет и пусть деньги останутся у нее до того времени, как она даст окончательный ответ. Он и в отношении оформлений дачи всех успокоил — и бабушку и Зарифу, —

сказал, что у него в управлении дачным хозяйством есть знакомство, но дело даже не в знакомстве, любой честный человек разрешит семье Рашида купить дачу, которая необходима ему для того, чтобы его дети выросли крепкими, здоровыми людьми.

После его отъезда Зарифа и бабушка пересчитали деньги — их оказалось даже больше, чем они ожидали.

По-моему, Рашид бабушке понравился еще больше в тот день, когда переехала Зарифа. Мало того, что Рашид с Аделей явились рано утром на грузовике, он еще сам помогал шоферу погрузить вещи Зарифы и заплатил шоферу вперед за то, что он перевезет Зарифины вещи. На прощание он сказал ей, что она может считать по-прежнему дачу своей — в любой день, когда она захочет, здесь ей будет обеспечен теплый прием и отдельные комнаты. При этих его словах все прозвонилось: бабушка, Зарифа, Аделя и Рашид — словом, все, кроме шофера и меня.

А когда мы узнали через месяц, что Зарифа, на удивление всем, вышла замуж, бабушка сказала, что вся эта история с продажей пошла всем на пользу, а это может означать только одно: бабушка в людях разбирается — Рашид и впрямь человек благородный и порядочный. С тех пор прошло два года, но кажется, что Рашид живет здесь очень давно, до того все к нему в Гаялах привыкли.

Даже завидно бывает, когда после каникул ребята рассказывают, кто где за лето побывал. Интересно. Живут люди! Только я один ничего не рассказываю, нечего, каждый год одно и то же, все лето в Гаялах. Одни и те же соседи, бабушка и я. Хорошо хоть папа обещал на следующий год взять с собой в геологоразведочную партию в горы. В этом году не согласился — мал еще, говорит. Как будто за один год что-то во мне изменится... Хотя, может быть. Люди с возрастом здорово меняются, вот, например, моя бабушка, как постарела, стала в разные приметы верить, боится всего; неужели все становится такими, когда стареют? Интересно, каким я буду.

Ну и туман, моря отсюда не видно, вот это да! С этой скалы до него метров пятнадцать — не больше, я точно знаю, а сегодня, кроме клубов белого пара, ничего не видно. Васиф, наверное, уже злился из-за того, что я опаздываю. Сидит сейчас на скале и ждет меня, один ни за что не начнет удить. У нас есть еще один приятель, Акиф. Только его еще нет. Он дней через десять приедет. Мы почти все время здесь тродем проводим, никого больше в компанию не принимаем. Васиф называет нас «три мушкетера». Книга ему очень понравилась, он ее два раза перечел, но все равно говорит «мушкетеры» сколько его ни поправляют. Еще он вместо «газета» говорит «газета». Мы с Акифом его сперва поправляли каждый раз, а потом махнули рукой — мушкетеры так мушкетеры... Даже отсюда моря не видно. Только рокот слышен и стук мотора. Это уж как пить дать, или браконьеры, или лодка инспектора. Никакой другой нормальный человек в такую погоду в море не выйдет. А для браконьеров в такой туман самое раздолье. В этих местах на берег часто волной выбрасывает осетров со вспоротым брюхом. Это значит, браконьеры икру вынули, она дорого стоит, а рыбу, чтобы она лишнего места в лодке не занимала, выбрасывают. Столько рыбы зря пропадает!

А вот и Васиф. В десяти шагах его не видно было, сперва ятно показалось, а потом выяснилось, что это не просто пятно, а мой приятель Васиф, ко-

торый совсем уже рассвирепел из-за моего опоздания.

— Ты когда-нибудь человеком станешь?

Я ему сразу все объяснил, рассказал и про бабушку и про ее суеверия, насчет прилетов совы.

— Это уж точно, — сказал Васиф, — не к добру это. Вот увидишь, случится что-то плохое, не станет сова зря каждую ночь прилетать. Верная примета. А еще если змея в доме появилась, надо сразу же бродить с молоком. Иначе худо дело.

— Я думал, бабушка у меня одна суеверная, оказывается, ты тоже во всякую чепуху веришь, — сказал я, насаживая на крючок червя.

— Чепуху? В прошлом году змея заползла вечером в дом тетки Ханумы, она, как ее увидела, сразу же начала визжать и визжала до тех пор, пока не прибежал ее старший сын, Мамед, и не выстрелил в змею из ружья, сразу же из двух стволов, я потом ее видел, не меньше полутора метров в длину, если сложить оба куска — ее прямо посередине на две части дробью разорвало.

— По-твоему, дядя Мамед должен был дожидаться, пока она ужалит Хануму?

— Очень нужно змее. Все бы обошлось, если бы Ханума выставила ей молоко, а так на следующий день с утра пошло: сперва Хануму скорпион ужалил в руку, когда она инжир для сушки чистила, вся правая рука, как бревно, распухла, целую неделю Ханума стонала и не могла ею пошевелить — в самое время, когда рука ей была особенно нужна, инжир чистить и варить дошаб. А сам Мамед в тот же день пошел в уборную и выскочил оттуда, как ошпаренный, и через весь двор со спущенными штанами к дому бегом. Оказывается, только он там расположился, смотрит, из щели в кладке змеиня голова высунулась, и к нему. Еще секунда бы, и привел! Второе лето в уборную, как на разведку ходит — с ружьем, и прежде чем встать там, каждую щель осматривает и палкой тычет. А ты — чепуха! И дочка Мамеда Сонька через два дня корью заболела.

— Все дети корью болеют. Когда мне пять лет было, я тоже корью болел, ну и что? К нам же в дом змея не заползала?

— А, чего зря говоришь, вот посмотришь, из-за этой совы теперь что будет. Она на вашу дачу прилетает?

— Нет, дядя Кямил.

— Посмотришь!

— Ладно! — Что-то разговорился он сегодня. — Наверное сегодня с твоими разговорам!

Хорошо хоть поплавок виден. Правда, здесь и невысоко совсем — от нашей скалы до воды метра два с половиной-три, не больше. Сова, змея... С Васифом спорить — бесполезное дело, упрямый он, как моя бабушка, и в приметы во все верит. Хотя, с другой стороны, некоторые приметы вроде бы и сбываются. Например, по тому, какого цвета солнце, когда садится, бабушка точно говорит, какая погода на следующий день будет, и никогда не ошибается. Если майские жуки раньше или позже срока весной прилетают, она уже весной знает, сколько летом винограда будет или осенью гранатов. Да что и говорить! По муравейнику, по обыкновенному муравейнику на нашей даче, она сказать может, какая зима будет. В этом году все так и сбилось, как она перед отъездом с дачи сказала — зима в Баку была как на Северном полюсе, а два дня вообще в городе никто на работу не ходил, так снегом все завалило, а на дороге в аэропорт, говорят, воинские части вызывали, людей вырывать из застрявших машин... В такие приметы, которые с погодой связаны или, скажем,

с урожаем, еще можно поверить, но в такие, от которых жизнь людей зависит, если верить, то ничего хорошего не получится. Это же курам на смех: из-за того, что прилетала какая-то дурацкая сова, с дядей Камиллом может что-то случиться! А вот бабушка и Васиф верят в это. Я знаю, что ничего случиться с ним не может, а все-таки мне вдруг стало неприятно, когда я вспомнил, что я первый сказал насчет дяди Кямилла, что сова прилетает не к нам, а к нему на дачу. Думаю над этим и ничего с собой поделать не могу, будто я предатель. Яснее ясного, я же знаю, что ничего плохого случиться не может, а все равно неприятно, как будто утром я дядю Кямилла обманул или предал.

— Кутум! — заорал Васиф и выдернул удочку с рыбой.

Как бы не так — кутум. Я еще, когда она в воздухе трепыхалась, увидел, что это обыкновенный лещ. Кутума здесь хоть сто лет уди, не выловишь.

— Пусть лещ! — сказал Васиф. — Полтинник за него получим, и то слава богу! — Он снял с крючка рыбу и бросил в ведро.

Насчет полтинника он загнул, за такую рыбешку самое большее копеек двадцать можно получить, если, конечно, не повезет и не нарвемся на какого-нибудь сумасшедшего дачника, который покупает, не торгуясь, сколько скажешь, столько и даст. Однажды Васифу за ведром, в котором только и было пять лещей да штук десять бычков, дали три рубля, а он просил два. Рыбу всегда продает Васиф. Мы пробовали по очереди продавать, но из этого ничего не получилось. В первый день, в мою очередь, ко мне подошли двое, по-моему, муж и жена, она как увидела ведром с живой рыбой, сразу же мне: «Ах, какая прелесть, мальчик, почем рыба?» А я не знаю, что на меня нашло, отвечаю: «Она не продается, это моя рыба» — и язвком с трудом ворочаю, а она: «Извините, пожалуйста, я думала, вы продаете», — так они и ушли.

С тех пор рыбу продает только Васиф, ловим все трое, а продает он. Акифу он тоже не разрешает, потому что тот никогда не торгуется — сколько бы ему ни предлагали, сразу отдает. Рыбу мы продаем с прошлого лета. Сперва мы ее ели сами — делали шашлык на прутьях, очень вкусно получалось, пока не надоело, потом решили ее продавать. За одно лето набралось тридцать пять рублей. Деньги мы не потратили — они хранятся у Васифа. Мы подсчитали, что если дала пойдет так же, мы на следующий год купим лодку, не новую, конечно, а старую, но еще пригодную. Васиф уже присмотрел одну и договорился с владельцем. Будем ловить в море рыбу. Васиф говорит, что если ловить с умом и не жадничать, то выгоднее этого дела и придумать нельзя, особенно теперь, когда на сестрину и лососину, уж не говоря об икре, повысили цену. Здорово будет, когда у нас лодка появится. Конечно, могут быть неприятности, если нас поймает рыбацкая полиция, но это вряд ли с нами случится, как-то в здеших местах обо всем все известно, а о том, что катер рыбацкой полиции выйдет в море, мы узнаем за полчаса, потому что рыбные инспектора — дядя Мамед и его два брата — живут недалеко от нас и к стоянке своего катера они ходят через нашу дачу. И бабушка каждый раз от души желает им, чтобы они поймали людей, которые губят столько рыбы из-за нескольких килограммов икры.

Вот еще одну прибило с распоротым брюхом к скалам, огромная, метра два длиной, не меньше...

Наконец-то! Совсем крошечная, не рыба, а головастики, а все равно приятно! Самое трудное — первую поймать. Теперь пойдет!..

Я даже не заметил, с какой стороны он появился. Стоит рядом и смотрит на поплавки. Если бы не сегодняшний туман, мы его, конечно, издали заметили бы. А тут прямо фокус — только что никого не было, а теперь стоит рядом человек в накрахмаленной матроске и белых штанах и смотрит. Я такие матроски только на девочках видел, нормальных человек такую ни за что не надеден, сколько его ни угаваривай Поздорвался. Я кивнул в ответ, Васиф тоже что-то буркнул.

— Рыбу ловите? — а что еще может спросить человек, который в Гаялах по берегу прогуливается в белых штанишках. Неужели сразу не видно, что мы делаем?

Я думал, что Васиф после такого вопроса его сразу прогонит, а он нет:

— Ловим, — отвечает, — ловаим рыбку помаленьку...

Я как услышал, каким ласковым голосом Васиф разговаривает, сразу понял, что он что-то задумал.

— Можно, и я рядом с вами половлю? — да кто же такие вещи спрашивает, купили мы эту скалу, что ли?

— А ты часто рыбу ловишь? — спросил Васиф.

— В этом году еще не ловил.

— А может, ты и не умеешь?

— А чего здесь уметь, — он улыбнулся, — дело несложное.

— Не сложно, конечно, — сразу же согласился Васиф и подмигнул мне. — Вот мы с тобой так и договоряемся. Если ты поймашь рыбку, она твоя. А если нет...

Я все думал, съедет ли он в своих накрахмаленных штанишках на сырую от росы вязанку хвороста. Сел.

— А если не поймашь? — Он все улыбался, видно, ждал, что Васиф посулит ему что-нибудь приятное.

— Тогда мы тебе по два раза дадим по шее. Каждый. А может, даже по два раза. Идет! — Любый другой человек за такие вопросы сразу же дал бы Васифу в глаз или, в крайнем случае, ушел бы, а этот хоть бы что, даже улыбаться не прекратил.

— Идет. — Как ни в чем не бывало взял у Васифа запусную удочку и потянулся к моей баночке с червями: — Можно? — Не сразу взял, только после того, как я кивнул.

И откуда он появился здесь? Мы-то всех знаем, и приезжих и местных. Червя он на крючок правильно насадил и, перед тем как закинуть, поплевал на него. Молчит. И правильно делает, что молчит. Васиф сейчас только и ищет предлога, чтобы ему по шее дать до того, как вынысится, поймает он что-нибудь или нет. Тут и без всяких примет ясно, что Васиф до его шеи доберется.

Все-таки с этими приметами как-то странно получается. Когда видишь, что такие люди, как моя бабушка или Васиф, верят в них, волей-неволей удивляешься. И самое главное, чем больше думаешь, тем больше вспоминаешь, что некоторые из них, хоть и случайно, но сбываются, вот ведь в чем дело. Я же помню, как бабушка жене Рашида Аделе сказала, что у той через месяц родится мальчик. Уже после второго ребенка Рашид с женой даже надеяться перестали насчет мальчика. Никто ведь тогда не поверил бабушке. У Адели до этого трое детей было, и все девочки.

Бабушка посмотрела на ее живот, когда Аделя пришла к нам сито одаживать, внимательно посмотрела, даже сбоку зашла поглядеть на него, а потом попросила ее сделать один шаг. Та шагнула вперед, не помню только сейчас, правой или левой ногой, а бабушка ей: «Ты, милая, мальчика родишь. И не сомневайся». Аделя ужасно обрадовалась, но все

равно не поверила. Тем более, что Рашид, когда узнал об этом, сказал, что все эти приметы не что иное, как темное суеверие, недостойное интеллигентного человека.

Аделя целый месяц не верила, а потом родила мальчика. Рашид сказал, что рождение сына счастливая случайность, и я про себя согласился с ним. Дядя Кямил сказал, что никакая это не случайность, а закономерность: такие, как Рашид, обязательно должны создавать себе подобные для того, чтобы в природе поддерживалось равновесие. Какое это равновесие, он не успел объяснить, потому что его жена Наиля назвала его злым и попросила при ребенке — это она обо мне — о таких вещах не говорить. Конечно, я об этом случае не потому вспомнил, что о сове думаю. Примета примет рознь, название у них только одно. Может быть, бабушка по форме живота догадалась, кто у Адели родится, а шагнуть попросила просто так, на всякий случай. Или случайно угадала, сколько раз я сам видел по телевидению, как на футбольном поле не какие-нибудь ребята вроде нас с Васифом, а самые что ни на есть взрослые люди — футболисты — отгадывают, в каком кулаке судьи зажата фишка, и правильно отгадывают. Случайно? Случайно. И без всяких примет. Так что об этой сове и думать нечего! И зря я переживаю из-за дяди Кямила. Я же просто так сказал, чтобы успокоить бабушку. Я-то знаю, что от прилетов совы никому вреда не может быть. Это же каждому человеку, кто меня хоть немного знает, ясно, что если бы действительно должна была приключиться какая-нибудь беда, я бы никогда ее от себя на дядю Кямила не перекинул был Вел Больше и думать об этом не буду.

— У меня червяк сорвался. Можно я еще одного возьму? — Это он ко мне обращается. В жизни таких вежливых не видел, как будто не червяка одного земляного просит, а второй лист для контрольной по истории или алгебре. Хотя на его месте любой человек станет вежливым, если на него напалить летом накрахмаленную матроску и брюки. Да бери, пожалуйста, хоть всю банку, разве мне жалко?

— Бери, — говорю.

Он, пока червя насаживал, все на меня поглядывал. По всему видно, что поговорить со мной ему охота, дай только знак. Конечно, поговорить можно было бы, я пригляделся, физиономия у него не очень противная, не такая, как у некоторых — когда хочется подойти поближе и стукнуть по ней изо всех сил ни с того ни с сего... Можно сказать даже, что физиономия у него приятная. Так и кажется, что он каждую минуту готов улыбнуться, только слово ему скажи. Я с ним поговорил бы, но Васиф терпеть не может, когда во время ловли разговаривают, хотя какая это ловля, целый час уже прошел, а я, кроме одного заморыша-бычка, ничего не поймал. Ладно, обойдемся без разговоров пока. Тем более не известно, что будет, если он ничего не поймает, может быть, он и разговаривать не захочет после того, как Васиф по шее ему даст.

Вечером дядя Кямил должен приехать, пойду к нему в гости. Он радуется, когда я прихожу. И сейчас и раньше, когда Наиля, его жена, жила здесь. Да и она мне всегда радовалась, может быть, она меня и сейчас вспоминает, я же о ней помню. Без нее гораздо хуже стало, но для меня все равно самое приятное место в Гаялах — дом дяди Кямила. Мы часто и не разговариваем даже, он работает, стучит на своей машинке — она у него очень древняя, похожа на старый черный пистолет, но работает хорошо, — а

я в это время лежу себе на тахте и читаю журналы, которые он привозит с собой из города. Он и сегодня, наверное, будет работать, но я все равно попрошу его оторваться на минутку и застрелить сова, как только она прилетит. Случиться из-за ее прилетов ничего не может, а настроение у человека все-таки портится. А это никому не нужно, особенно сейчас, когда дядя Кямил и без того ходит постоянно грустным. Он вообще сильно изменился в последнее время. Теперь даже предстать трудно, каким он был веселым в начале лета, когда в первый раз приехал на дачу со своей женой. Я не припомню, чтобы еще чей-нибудь приезд до Наили наделал бы такой переполох! Все только о ней и говорили, о ее фигуре, прическе, даже о походке. Аделия сразу же объявила всем присутствующим женщинам, что она сама ни за что, даже если бы ее повесили в случае отказа, не согласилась бы носить, выставляя напоказ ноги, такую бесстыдную юбку, как у новой соседки. Я, честно говоря, на месте Аделия тоже бы не согласилась, потому что несколько раз на пляже видел, какие у нее ноги — ходить-то на них, пожалуйста, сколько хочешь можно, но вот показывать их при помощи такой юбки, как у Наили, действительно не стоило бы даже самым близким людям, а не то что посторонним. Я попытался предстать себе человека, который хочет застрелить Аделию за то, что она отказывается показать дачникам в Гаялах свои ноги, но у меня ничего не получилось, потому что как раз в этот момент заговорила моя бабушка и такое сказала, что я и думать забыл о ногах. Она сказала, что в ее время такую женщину, как Наила, не пустили бы ни в один приличный дом и ни одна порядочная женщина не согласилась бы с ней водиться. С бабушкой все в один голос согласилась и сразу же, вслед за этим, разошлась, потому что время уже было позднее.

С ума они походили? Неужели все люди так быстро меняются, стоит им на два-три месяца уехать из города в селение вроде нашего, где дачники только и видятся друг с другом и больше ни с кем? Да в таких мини-юбках, еще покороче этой, в Баку погорода ходит, и никому в голову не придет возмущаться этим! И не только в Баку, ни на одну девушку в мини никто внимания не обратит ни в Бильгя, ни Мардакяхах, ни на одном более или менее приличном курорте Апшерона. Даже интересно стало, что бы со всеми нашими соседями произошло, если бы они здесь жили беззвездно круглый год. Жаль, что это невозможно, очень уж интересно было бы поглядеть, какими они станут. Неужели они, кроме мини-юбки, ничего больше и не заметили?

Сперва я увидел дядю Кямила, он шел по тропинке со своими чемоданами, и я сразу же побегал ему навстречу. «Здравствуй», — сказала Наила и протянула мне руку. — Вот ты какой, оказывается». А я не мог ей ничего сказать, ни одного слова, я даже посмотрел на нее еще раз не мог себя никак заставить, а только и мог в тот день молча идти между ними обоими к дому дяди Кямила, чувствуя, как у меня перехватило горло и где-то очень глубоко в груди стеснило дыхание так, что на глазах выступили слезы.

Все с того дня переменилось в Гаялах. Раньше мне бы и в голову не пришло пойти утром погулять просто так, а теперь мы гуляли втроем, и оказалось, что это очень приятное занятие — гулять рано-рано утром просто так по берегу моря, смотреть, как возвращаются с ночного лова баркасы рыбаков, или вечером смотреть, как заходит в море солнце. Никогда раньше до приезда Наили, мы так не гуляли.

Если я и ходил куда — только по делу; за хлебом, или к молочнику, на берег рыбу ловить, а чтобы

просто так, и в голову не приходило. Всю жизнь здесь прожил я, а обо всем этом знать не знал, вот ведь что удивительно! Правда, каждый раз мне становилось почему-то грустно, но не очень, а так, слегка, но и грусть эта была очень приятной. Но лучше всего было, когда мы приходили домой. Вечером. Света не зажигали, от полной луны вокруг до того светло было, что даже светлячки не светились, только и слышно, как внизу, под скалами, море шумит негромко и в саду, перед домом, звенят сверчки. Сперва мы просто сидели на балконе молча, и казалось, ни у кого больше не будет сил встать с места, до того мы уставали на этих прогулках. Первой всегда вставала Наила, ни разу я не услышал ее шагов, когда она подходила и включала музыку. Если закрыть глаза, то сразу же можно было предстать, что весь оркестр собрался целиком и играет здесь, на маленьком балконе дяди Кямила, и из-за тесноты музыканты расселись, где кому удалось. Росль стоял в двух шагах от меня прямо напротив, у самого крыльца, и по всему чувствовалось, что пианист очень доволен тем, как хорошо освещены клавиши, и только торопится изо всех сил дограть все до конца, прежде чем луна скроется за тучей, и что никаких других в этот вечер у него будет нет, а обижаться он и не думает, ему становится еще приятнее, когда трубач на самой высокой пронзительной ноте, от которой зазвенели все стекла, отрывает от губ трубу и, положив ее на крышку рояля, садится рядом и они вдвоем в четыре руки успевают обогнать не только скрипачей, играющих стоя на ступеньках лестницы, но и блуждающих в поисках места по всему дому саксофонистов, правда, еле-еле, но все же успевают обогнать ударника, содрогнувшегося всем телом под сухими ударами и оглушительным звоном, отдающимся в скалах неслышанным здесь чудным эхом. Певец пел на незнакомом языке, но было件нятно, что этот человек поет потому, что любит неслыханной любовью и хочет, чтобы об этом узнал каждый, все люди в Гаялах, и он пел об этом так, что у всех, кто его слушал, начинала гореть кожа на лице, а по плечам и спине один за другим проворно пробегали на ледяных лапах муравьи, и пел до тех пор, пока не выкрикнул в последний раз все те же слова, значения которых я не знал, он не падал всем телом на чертовый пол балкона.

Я до утра смотрел бы, как они танцуют, до того у них это здорово получалось, даже когда они останавливались друг против друга, было видно, что они продолжают танцевать и остановились потому, что наступил такой момент, без которого невозможно обойтись, когда надо немедленно остановиться и посмотреть друг на друга, как смотрели они.

После того, как появилась Наила, я понял, что и дядя Кямил очень красивый, с тех пор я и начал мечтать, что, когда вырасту, буду такой же, как он, высокий и гибкий, с мускулами на плечах и руках... Красиво они танцевали, и хорошо мне было, когда я на них смотрел. Уходил я от них, только когда бабушка начинала меня кричать. Иногда, проснувшись ночью, я слышал стук машины, дядя Кямил и раньше много работал, но не так, как теперь, после того, как приехала Наила. Часто утром, когда я приходил к ним, у него были красивые глаза и серые, без кровинки, губы. Но гулять он все равно шел, спать ложился часа на два-три днем в полдень или чуть позже, после того, как мы возвращались домой. Ни к кому из соседей они не ходили, и у них никто не бывал.

Но то что его не любят или не уважают — просто он неразговорчивый и очень много работает, вот в чем дело. Но вообще я заметил одну вещь — с тех

пор, как здесь появились Рашид и Аделя, к нему все стали относиться хуже. Как-то незаметно-незаметно, но постепенно все наши соседи стали дружить с Рашидом, советовать с ним по поводу всех своих дел, ходить к нему в гости. Постепенно они совсем перестали заходить к дяде Кямилу и к себе перестали приглашать, даже на дни рождения или свадьбы. Потому что это был единственный человек, который с Рашидом не только не дружил, а даже разговаривал не так, как все наши соседи, сухо разговаривал, как с посторонним, да и то только тогда, когда Рашид к нему сам первый обращался. Я чувствовал, что Рашиду это очень неприятно и обидно, было видно, когда они встречаются, что Рашиду непонятно, почему это дядя Кямил ни с того ни с сего к нему так несправедливо относится. Аделе это тоже не нравилось, и она всем говорила, что из дяди Кямила ничего путного в жизни не получится, да и что может получиться из человека, который вместо того, чтобы засучить рукава и взяться за дело, вбил себе в голову, что он писатель, и занимается день и ночь бесполезной чепухой.

Рашид при этом начинал морщиться так, как будто у него внутри что-то сильно болело, и сразу же просил Аделю, после того, как она замолчала, не говорить так о дяде Кямиле, потому что это не их — Адели и Рашида — дело, как живут другие люди. И в конце концов, может быть, из дяди Кямила и вправду получится писатель.

— Пяница из него получится или еще что-нибудь похуже, — каждый раз говорила Аделя. — Когда-нибудь увидишь, кто прав — ты или я.

— Напрасно, напрасно ты так говоришь, — вздыхал Рашид. — Я не спорю с тобой, просто зачем нам нужны эти разговоры, и ты нервничаешь и я, он хоть и посторонний мне человек, но я ведь из-за него переживаю. И потом — плохого он никому не делает, только себе вред приносит. Давай поговорим о чем-нибудь приятном!

Непонятно, из-за чего Аделя так дядю Кямила не любила. А после того, как Наила приехала, Аделя только ею и занимается, все бегаёт по дачам с новостями, и откуда она их берет, ума не приложу, в бинокль она дачу дяди Кямила разглядывает, что ли? Все знают, что моя бабушка сплетен не любит, не слушает никогда и сама не рассказывает, что она дяде моей бабушке что-то умудрилась рассказать — я из булочной вернулся, смотрю, бабушка сидит молча, уставившись в глаза Адели, как загнипотизированная, а та говорит быстро-быстро:

— Свадьба! Какая свадьба? Слава богу, что зарегистрировались! — Тут она увидела меня и замолчала.

Я сел за стол напротив нее и стал ждать, когда она выйдет.

— Как ты хорошо загорел! И вытанулся. Но, по моему, похудел немного. Или мне кажется?

— Кажется, — говорю.

— А почему к нам не заходишь? Мы всегда тебе рады.

— Зайду как-нибудь, — сказал я и сразу же пожалел. Надо было по-другому: «Потому что мне у вас неприятно бывать!» или еще лучше: «Противно». Жаль, что не сразу догадался, но ничего, сейчас она еще что-нибудь спросит — ответим! Надолго запомнит.

В окно уставилась, чего она там увидела интересного!

— Рашид приехал!

— Сюда идет — и до чего они оба друг другу рады, сразу-таки всем телом завалила от счастья, а это, сидя на табурете, уметь надо. Это еще что, а своими ушами слышал, как она его «маесяй» называ-

ла. Чуть не стошнило меня. Вот он, «маесяй», сюда топает. И чего ему здесь понадобилось?

Уйду, пока не поздно, наверное, дядя Кямил уже проснулся.

— Здравствуйте! Как ваше здоровье? — Это Рашид бабушке. — В вашем возрасте о старости говорить даже неприлично! Какая старость? Вам сейчас самое время жизни радоваться, в окружении детей и внуков, а вы старость! А ты, дорогой мой, совсем уже взрослый молодой человек! Гость в дверь, а ты из дому! Разве так можно?

— Дядя Кямил меня ждет.

— Привет ему передай, очень он мне нравится, достойный человек, умный, тихий, муху не обидит...

— Может быть, послушалось? Вроде нет, и у Адели от удивления лицо вытанулось.

— ...Очень жаль, что я с женой его незнаком. Неплохо. Рядом живем, соседи, а до сих пор не знакомы. Я за свою долю вины отвечаю, но и Кямил виноват. Мы хоть и не знакомы, но я все равно вижу, какой он хороший и приятный человек. Так и передай, дядя Рашид сказал — хороший и приятный. Запомни!

— Наряжается она приятно, — сказала Аделя. — Не понимаю только, для чего ей лишние хлопоты, когда можно при здешем климате совсем голой ходить. И ей удовольствие и мужчинам всем, кто со стороны смотрит.

— Ты так говоришь, — сказал ласковым голосом Рашид — потому, что у тебя сердце большое и чистое. Открытое у тебя сердце и обращено к людям...

Он как сказал это, я сразу же себе сердце Адели представил. Вертится перед глазами, и ничего не поде лаешь — большое и чистое, и почему-то очень похоже на большую желтую клизму. Я попытался представить его таким, каким должно быть человеческое сердце, но ничего у меня из этого не вышло — я адобавок почувствовал, какое оно упругое и скользкое — ее сердце под левой грудью. Сжимается и разжимается и черным наконечником направлено в сторону людей, то есть в нашу. Даже отвороти ее халата при этом слегка раздвинулись, до того оно было большое! Только благодаря Рашиду мне удалось от вида ее сердца избавиться — он опять заговорил:

— И поэтому ты ко всем людям подходишь со своей меркой... А это ведь не всегда годится. Надо иногда и терпимой быть, особенно, когда речь идет о молодежи. У них своя мера, у нас своя! И потом я тебе скажу — а ты меня знаешь, я никогда не ошибаюсь, — дочь таких приличных родителей, как бы ни одевалась, плохой быть не может. А единственная дочь такого отца!

— Какого? — спросила Аделя. — Который единственную дочь без свадьбы из дому отпустил и за два месяца навестить ее ни разу не догадался! Или отец очень хорош или дочь!

— Нетерпеливая ты, — с сожалением сказал Рашид. — Все образуется! Отец всегда простит единственной дочери временный каприз. Была свадьба, не было — какая разница. Самое главное, чтобы дети были. А приехать у него времени нет. Государственный человек! Если он начнет по своим личным делам разезжаться, что с остальными людьми будет? Об этом ты подумала?

— Да кто же отец? Государственный, прямо уж...

— Не надо, — сказала Рашид Аделе, — я тебя прошу, не говори лишних слов. Раз я говорю государственный, значит, знаю, что говорю...

Я хотел незаметно пройти за его спиной, но он заметил это и повернулся ко мне.

— Я, пожалуй, тоже пойду с тобой к Кямилу. На то она и дача, чтобы люди друг к другу ходили за-

просто, без всяких телефонных звонков. Приглашу к нам на вечер, вместе телевизор посмотрим, сегодня повторно «Семинадцать мгновений весны». Хорошая картина, недаром ее еще раз показывают. И ты приходи... Ну и что ж, что смотрел... Одного Бровего второй раз посмотреть стоит. Мальчику твоего возраста это особенно полезно.

Я заметил, что чем ближе к дому дядя Кямилла мы подходили, тем громче и ласковее говорил Рашид, а на лестнице он меня обнял за плечи и, говоря, наклонился ко мне, как будто я глухой или контуженный.

Я могу точно сказать, что дядя Кямилла сперва растерялся, когда увидел Рашида, но потом поздоровался с ним и как-то на меня удивленно посмотрел, мол, кого ты привел? С Наилей дядя Кямилла Рашида познакомил, но цветной телевизор смотреть в доме Рашида отказался, сказал, что мы все вечером идем в гости к смотрителю маяка. Рашид тут же похвалил дядю Кямилла за то, что он устраивает для нас познавательные прогулки, и сразу же след за этим стал рассказывать о том, как он в молодости, да и сейчас, любил прогулки по берегу, маяки и вообще природу... У нас всех троих сразу же испортилось настроение, потому что прежде чем начать рассказывать, Рашид подсунил под себя стул, хотя никто его не приглашал садиться, и всем стало ясно, что уходить отсюда в ближайшее время он не собирается.

Кажется, Васифу не удастся дать нашему приятелю в матроске по шее — клюнула у него, да так, что поплавок не просто качнулся, а резко нырнул под воду. Поплавки у нас самодельные, Васиф их делает из балберки — это большие коричневые бруски из пробки с двумя дырками на концах, дешзные рыбаки их крепят к сетям. Васиф говорит, что поплавки из балберки гораздо лучше фабричных, которые своим пластмассовым запахом отпугивают рыб... Цельником в воду окунаешь, похоже, что крупная рыба клюет. Подсек. Камышовые удилице изогнулись — вот-вот зацепятся. Правильно! Он удилице отбросил, за леску схватился, тянет. Сейчас вытянет куст водорослей и тут по шее схлопочет, конечно. Васиф уже пригнулся. Это еще что?! Из воды полутолковица вытянулась с острой мордой... Васиф сорвался с места, к нему бросился — на помощь. «Спасибо, — говорит. — Я сам». Вежливей, тянет из последних сил, а спасибо сказать не забыл. Васиф руки убрал, от удивления, наверное. Осетр! Поднимается вверх, как на лифте! Не сорвался бы! Есть! Вот он. Осетренок килограммов на пять. Ничего не понимаю. В дешзных местах никто еще осетра на удочку не вытаскивал, я это точно знаю. Не только ребята, ни одному и взрослому рыбакову такое не удавалось. Бывало два-три раза, что кутум попадается, но чтобы осетр! Васиф даже побледнел, суетится, воду в ведро сменил для осетра, а этот, в матроске, хоть бы что, как будто бы каждый день с ним такое бывает — сперва крючок отцепил, потом взял двумя руками эту рыбку за хвост и поднял, и все спокойно, не торопясь. На меня глянул, мол, пожалуйста, полюбуйся! Хорош, ничего не скажешь, морда на акулку похоже, а туловище светло-серое, как будто из металла. Смотрю на эту рыбку и удивляюсь, столько времени мы сюда ходим, можно сказать, каждое утро почти, и ни разу такой не попалось. Даже немного обидно стало.

А этот, в матроске, все на меня поглядывает, поздравлений от меня ждет, что ли?

— Здоровый, — говорю, — сантиметров девяносто в нем, наверное, а может, даже метр!

— Тяжелый, я все боялся, что леска оборвется, пока тынул его вверх! Жалко было бы, если оборвалась. — Он последние слова сказал, глядя на меня вроде бы вопросительно.

Я только хотел ему ответить, не успел. — Леска оборвется! Как же она оборвется, если она нейлоновая. Каждый дурак это знает. — И чего Васиф так из-за лески разошелся? — И разговаривать потихе надо, сам поймал, и другим не порть. Лучше вообще помалкивай.

Я бы ни за что не остался. Я думал, он заберет своего осетра после этого и уйдет. Интересно только, что Васиф ему при этом скажет. А он не ушел, только на меня удивленно посмотрел, не на Васифа, а на меня, как будто это я на него накричал.

Мы этого осетра засунули головой вниз в ведро и сверху прикрыли мокрой парусиной. Он ее сразу в сторону отшвырнул хвостом, пришлось поверх парусины положить несколько камней, тут он немного приутих.

Закинул я удочку, сижу и думаю: а вдруг и мне такой же попадется! Никогда я до сегодняшнего дня не хотел поймать осетра, не то, что не хотел, а даже не думал, что он вообще может попасться, можно сказать, даже не вспомнил о нем. Каждому лещу радовался, да что там лещу, самому маленькому бычку или шамайке, а сегодня осетра захотелось... А может быть, поймаю. Этот же, в матроске, на моих глазах поймал, сидел, как все, без всяких фокусов, и поймал... Опять он на меня смотрит:

— Можно, я червя возьму?
Что же, он каждый раз спрашивать будет?
— Спасибо. — И чего он такой вежливый? Чересчур какой-то вежливый. Взял червя из банки, долго разглядывал его, я уж подумал, что он и перед ним извиняться хочет за беспокойство, потом все-таки насадил. И тут Васиф встал со своего места и подошел к нему. Сейчас, думаю, по шее ему все-таки даст, за то, что он разговаривает. Васиф подошел к нему и протянул удочку.

— Давай удочками обменяемся!
— Зачем?
— Так.
— Не хочу, мне эта нравится.
— А получить не хочешь? Удочки чьи? Скажи спасибо, что эту тебе даю!

Он удочку отдал и снова на меня глянул. На меня смотреть нечего, ты на Васифа лучше посмотри. — Местами давай поменяемся! Вставай. — Место тоже так? — Мое. Мстай отсюда.

Почему он не заберет свою рыбу и не уйдет? Непонятно. Может быть, он боится, что Васиф не разрешит ему осетра забрать? А ведь верно, не разрешит. Или даст ему одну треть, скажет, что так полагается — делить на всех. Мы всегда все делим, но это мы, он же не «мушкетер». Не ушел. Теперь Васиф рядом со мной сидит. Посмотрим, как у него теперь на новом месте с новой удочкой дела пойдут? Он теперь думает, что эта удочка счастливая, раз на нее осетр попался. Интересно, есть такая примета? Надо будет у Васифа спросить. А вообще хватит мне сегодня о приметах думать. Хорошо еще, что я в них не верю. И не поверю никогда, а то представляю, что будет, если эта дурацкая сова у меня с утра из головы выскочит. А глупее этой приметы, наверное, и быть не может. Суеверие это глупое. Пережитки прошлого. Мы по истории проходили, что раньше, в древности и в средние века, люди кокет боялись, говорили, что они несчастья предвещают. Хорошо, хоть сейчас в эту примету никто уже не верит. В

прошлом году ни от кого никаких предсказаний я не слышал, когда комета появилась. И ничего не случилось. Как же это я забыл утром бабушке об этом сказать! Вот то было в настоящем доказательство, научный факт, а я вместо этого об участке дяди Кямил!

Вспомнил. Ничего плохого в этом нет, я точно знаю, но почему-то мне неприятно, как будто я что-то по отношению к нему сделал неправильное или несправедливое. Знаю, что это дурацкие мысли, а сделать ничего не могу, думаю, и все. Не знаю, как это у других получается, а я никак не могу себя заставить о чем-то перестать думать. Иногда хочется о хорошем подумать, а в голову лезет всякая неприятная всячина. Вот дядя Кямил, я уверен, если не хочет о чем-то думать, то не будет, он себя может заставить. Взять хотя бы, как он работает. Я говорю не о той работе, которую он как инженер делает на службе, там, понятное дело, зря зарплата не дадут, а о том, как он дома работает — на машинке. Ведь он не просто печатает, как машинистка, которая без разбора печатает все подряд, что бы ей ни дали, он же, прежде чем напечатать о чем-то, должен сперва подумать. Вот я на его месте не сумел бы заставить себя придумывать, надоело бы. Это то же самое, если по какому-нибудь предмету беспрерывно получать двойки. Любому ведь рано или поздно это надоеет, и он вообще прекратит заниматься. В школе, конечно, такое произойти не может, а с дядей Кямилем происходит — очень похоже. Один день и ночь работает, сочиняет на машинке, а печатать его не печатают. У него уже пять-шесть пепок собралось его сочинений. А он все работает. Все вечера, а каждые пятницу и субботу почти всегда всю ночь до утра. Он раньше часто читал свои сочинения Наиле, потом стал это делать все реже и реже, а потом совсем перестал.

По-моему, я знаю, в какой вечер это произошло. Я уже подхожу к дому, услышал, что он читает, хорошо это у него получается, мне нравится, и голос у него подходящий, гораздо лучше, чем у некоторых дикторов на радио или телевидении. Он читал, а она сидела у него на коленях и слушала. Я бы посмотрел, как телевизионный диктор сумел бы что-нибудь прочитать толком, если бы у него на коленях кто-то сидел в это время, причем не какой-нибудь ребенок, а такая, как Наила, она хоть и стройная, но совсем не худая. Особенно один, который мне очень не нравится, он и без дополнительных нагрузок противно читает и говорит. Иногда включает телевизор, а он в это время говорит что-то, неопытный человек по его голосу и выражению лица может решить, что он говорит о чем-то важном или торжественном, а я уже знаю с первого взгляда, что он или о погоде говорит, или объявление читает о найме на работу, или о воскресном гулянье в парке. И в глаза он никогда прямо не смотрит, все время старается отвести взгляд в сторону. А однажды, вот четное слово, это было — жалко, что проверить нельзя, разве только у него самого спросить, — он кончил читать что-то и стал ждать, когда начнут показывать кинокадры, и вдруг я услышал, как у него в животе заурчало. Он даже заерзал на стуле, и глаза у него забегали, но ничего не получилось, так и урчало, пока не пошла кинохроника. У него там в животе урчало, а весь город слышал, здорово все-таки!

А дядя Кямил, несмотря на то, что Наила сидела у него на коленях и даже обняв его одной рукой за шею, читал, как обычно, ровно и спокойно. Понятное дело, я сделал вид, что не заметил ничего, а она сразу же встала и начала меня угощать чаем. Я отказался и попросил дядю Кямилу на меня не обращать

внимания и читать дальше, мне тоже захотелось послушать. Он кивнул, и снова взял со стола листы, и стал читать. Интересно было слушать. Самое удивительное, что никаки там приключений или происшествий не было, а слушать почему-то было интересно. Я случай один запомнил, который там произошел с одним человеком во время войны. Оказывается, я не знал этого раньше, в Баку в военные годы приехало очень много беженцев с Украины, и всех их разместили по квартирам, пока Украину от немцев не освободили. И какую-то семью поселили в квартире этого человека — забыл, как его звали и кто он по профессии. Этот человек, значит, в один прекрасный вечер возвращается с работы домой. И вдруг смотрит — на углу продают пиво. Это в те времена было в Баку очень редкое событие. Он, несмотря на то, что был после работы очень уставшим и голодным, встал в очередь. Очередь была длинная, и он успел забежать в магазин рядом и купить большую бутылку — «четверть», в которую вмещается два с половиной литра, сейчас такие бутылки почему-то выпускать перестали. Домой он добрался очень поздно, когда все уже спали, кроме этого постояльца-украинца. Тот ужасно удивился, когда увидел пиво, сказал, что вот уже два года, как он забыл его вкус. Тогда этот человек, хозяин дома, решил поделиться пивом с украинцем. Они выпили всю бутылку и сильно опьянели. От двух с половиной литров пива! До того они были слабые и отвыкли от выпивки. Пока они пили, украинец рассказывал о том, как он жил с семьей до войны, про свой дом с садом, про свою работу. Они долго еще разговаривали, несмотря на позднее время, говорили, что война страшная вещь, столько от нее уже несчастий с людьми, и сколько еще их будет. Перед тем, как лечь спать, это уже когда они кончили разговаривать, украинец спросил, сколько стоит пиво, и отдал ему деньги за свою половину. Потом с этим человеком и во время войны и после нее происходило очень много интересных событий — один раз его даже чуть не убили, — много, я их все и не запомнил, и беженцы давно вернулись к себе домой, но он все-таки время от времени думал о том, что с людьми делает война, и каждый раз при этом непременно почему-то вспоминал о том, что он тогда взял у украинца деньги за пиво. Мне показалось, что он очень жалел об этом, хотя в повести ни слова на этот счет сказано не было. Дядя Кямил вдруг перестал читать, потому что его остановила Наила. Она задала ему какой-то вопрос, что-то в повести ей показалось непонятным. Наверно, он показался дяде Кямилу странным или даже неприятным, я-то его хорошо знаю, он даже побледнел после ее вопроса и ответил не сразу. Потом сказал, что все это пустяки, а он жуткий злонист, заставлял нас слушать всякую чепуху. Она очень растеряно на него посмотрела, а я сразу встал и сказал, что мне пора идти, и ушел, хотя бабушка меня не звала.

Когда я спускался по лестнице, я услышал, как Наила спросила:

— Но поблид же ты меня не за то, что я разбираюсь в литературе?

Что ей ответил дядя Кямил, я не расслышал.

На следующий день мы втроем решили пойти испускаться. Только вышли из дому, слышим, Рашид окликает, он тоже захотел с нами пойти. Вот привялся! Хорошо так ждать не пришлось — вся семья тут как тут в полном составе. Рашид какую-то сумку несет, Аделя ребенка, у детей тоже какие-то свертки и большой складной зонт. Рашид его берет на берег по воскресеньям, вся семья под ним собирается. Красивый зонт. На пляже на него все обращают

внимание — не дачники наши, они все уже к нему привыкли, — приехавшие из города в воскресенье. Если бы он был не такой красивый, то и брат бы его не стоило, у нас на пляже четыре навеса стоят на железных столбах и под всеми почти всегда пусто. Я, конечно, не против, пусть хоть все Гаялы на этот пляж придут, но не обязательно же вместе с нами. Рашид никому слова сказать не дает, ни на минуту не умолкает. Я два или три раза ответил, когда он у меня спросил что-то, а потом отошел подальше. И Наиля с дядей Камиллом почти все время молчат. Обычно они на пляже общаются, дядя Камилл что-нибудь смешное рассказывает, а сегодня оба молчат.

Погода сегодня самая подходящая для пляжа. Как будто кто-то специально подвесил на небо несколько туч, солнце сквозь них, как через матовое стекло, светит — греет, но не сильно, и кожу не обжигает, и глазам без темных очков приятно. Я попробовал воду у берега — теплая-теплая. Хорошо бы, если и дальше, где глубоко, она такой была бы. Как в том сне, я его несколько раз видел. Берег моря с теплым песком, а вокруг скалы, — не такие, как в Гаялах, серые и голые, — на них росли деревья и кусты с яркой зеленой листвой. И вода была такого цвета, теплая и прозрачная, везде было видно дно, белое, очень похоже на тающие лед или сахар. Я такое дно однажды видел — когда с отцом ездил в Дашкесан на горнорудный комбинат во время весенних каникул. Там с горы было видно, как между ярко-зелеными берегами течет река с очень прозрачной водой, точно по такому же, как в моем сне, дну. Оно спускалось широкими белыми ступеньками, каждая ступенька величиной с дачу дяди Камилла, не меньше, а по нему лилась без единой волны, даже ряби никакой не было, прозрачная вода. И почему-то казалось, что она должна быть очень холодной. Отец сказал, что так оно и есть, во всех горных реках вода холодная, а дно здесь белое потому, что река течет по сплошному месторождению белого мрамора... Во сне вода была теплая-теплая и очень ласковая. Каждый раз ужасно жалко становится, когда среди этого сна просыпаешься, а несколько раз пытался снова заснуть и оказывался на этих теплых волнах, среди скал со странными деревьями, но ничего у меня не получалось, заснуть-то, конечно, удавалось, но этот сон вернуть ни разу не получилось. Иногда, когда я вспоминаю этот сон, начинаю думать, что, может быть, такой берег есть на самом деле, не здесь, конечно, в Гаялах, а где-нибудь. Знаю, что чужь это, не может быть наяву того, что увидишь во сне, но все-таки надеюсь.

Так я и знал, что из сегодняшнего купания ничего путевого не получится — Наиля повернулась и пошла назад на берег. Дядя Камилл поглядывал ей вслед и тоже вышел. Из-за медуз. Наиля их боится и брезгует. Они скользкие и липкие, а когда их много, так и кажется, что кто-то сварил очень много студия и вылил его в море, и он теперь постепенно застывает. Я и дядя Камилл не обращаем на них внимания, хоть и неприятно, а Наилю всю передергивает, стоит медузе коснуться ее.

Этим летом их видимо-невидимо, гораздо больше, чем в прошлом году. Раньше здесь медуз не было, не только в Гаялах, во всем Каспийском море вообще раньше ни одной медузы не было. Они впервые года два назад появились. По-моему, все даже немного обрадовались, что теперь, как и во всех приличных морях и океанах, и в нашем медузы есть. Это когда за неделю одна или две медузы попадались, никто же не ожидал, что с каждым годом их будет все больше и больше, чуть ли не на берег вылезают. Только после сильного шторма их несколько дней не бывает.

Я спросил у дяди Камилла, откуда они появились и нельзя ли от них как-нибудь избавиться. Он мне объяснил, что, по всей видимости, они попали сюда случайно, какой-нибудь корабль, прибывший по Волго-Донскому каналу, притащил их на днище или еще как-то из Черного или Средиземного моря, а условия здесь оказались подходящими, и они сразу приспособились. Там, откуда они прибыли, наверное, их избивали какие-нибудь рыбы или дельфины, а здесь подходящих врагов для них не нашлось, кроме шторма, который их не уничтожает, а только отгоняет на время, вот они и расплодился в таком количестве и будут плодиться, пока на них не найдут управы ученые-биологи. Дядя Камилл сказал, что пожогие явления времем от времени и среди людей бывают. Я сперва подумал, что он шутит, а потом смотрю, нет, серьезно говорит, что и среди людей есть такая категория, которая очень хорошо, лучше остальных находит подходящую для себя среду и сразу же приспосабливается к ней. Вот, например, когда он поступал в институт, лет восемь тому назад, и позже, когда он там учился, ни один студент, кто бы ему это ни сказал, не поверил бы, что кто-то из преподавателей берет взятку у поступающих или у своих студентов, когда принимает зачеты и экзамены. Таких преподавателей действительно тогда не было, потом откуда-то появились. Сперва один или два, а потом выяснилось, что взятки берут у многих институтах. Неизвестно, что бы дальше произошло, если бы за это дело крепко не взялись. Дядя Камилл говорит, что эти взяточники ничем не отличаются внешне от нормальных людей: до того, как их уличили, часто на собраниях выступали, на педагогических советах и говорили очень правильные вещи. Я сразу вспомнил, как по телевизору показывали суд над одним бывшим преподавателем-взяточником, из института, где работает дядя Камилл, ему все доказали и свидетели и прокурор, а он — как будто ничего этого и не было — в конце встал и сказал, что пострадал Безвинов, а на самом деле всю жизнь выполнял свой долг по воспитанию юношества. Дядя Камилл сказал, что такие люди есть везде, не только в институтах, но они так хорошо научились притворяться настоящими, что распознать их с каждым годом становится все труднее и труднее. Смотришь — человек как человек, и одет нормально, и при галстук, в театр ходит, газеты читает, как все.

Рашид сказал, что вот он, все знает, добрый человек, мухи не обидел в своей жизни, но мерзавцев, о которых говорил дядя Камилл, он собственноручно расстрелял бы. Ставил бы к стенке и расстреливал. Дядя Камилл усмехнулся и сказал, что расстрелями дело не исправишь.

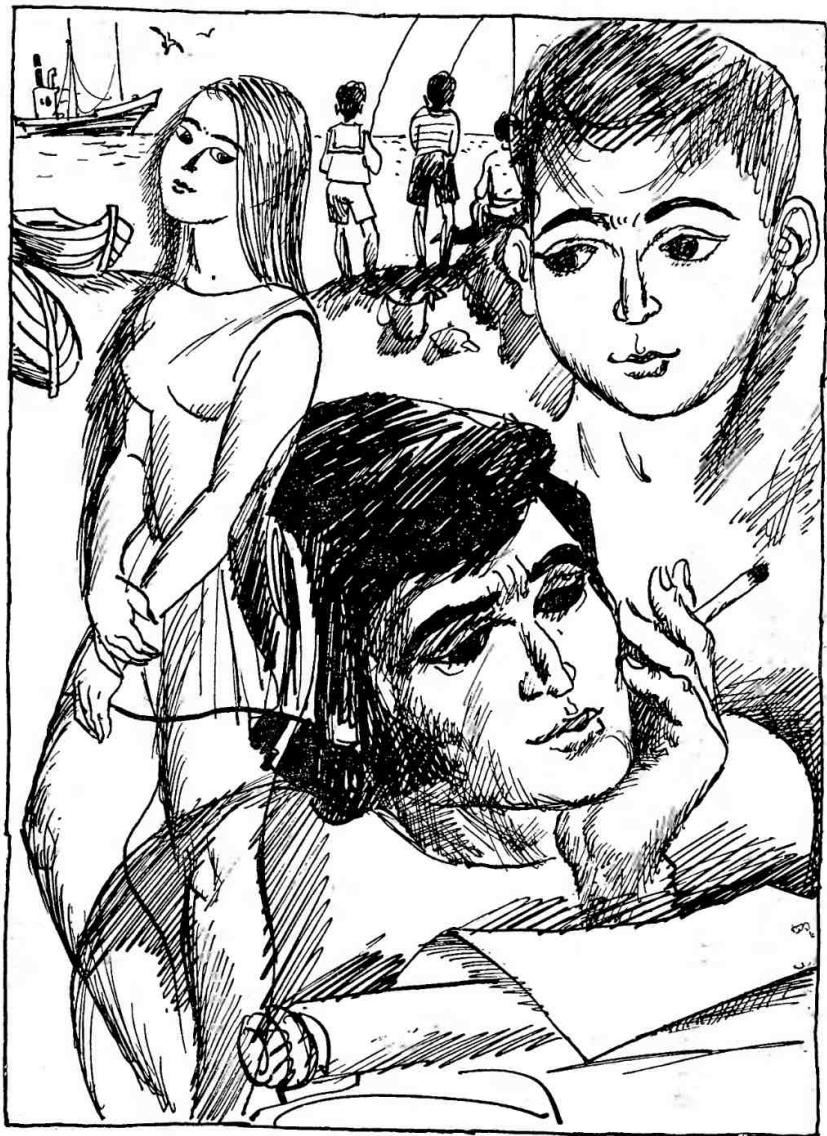
— А чья исправишь? — спросил Рашид, он удивился, что дядя Камилл не согласен их расстрелять.

— Если бы знал, — усмехнулся дядя Камилл, — то я другим делом занялся бы... Не знаю.

Рашид открыл сумку, оказалось, это переносной холодильник, и вытащил бутылку вина и несколько банок апельсинового сока и пригласил всех на коврик, расстеленный под зонтом. Очень вкусно было пить разбавленное напополам с соком вино. Рашид по очереди выпил за здоровье всех присутствующих и всем пожелал счастья. Потом поднял бокал и сказал, что мечтает о том дне, когда сюда приедет отец Наиля и по-семейному сядет за один стол с дочерью и дядей Камиллом. Рашид сказал, что, увидев это, он почувствует себя самым счастливым человеком на свете.

Наиля и дядя Камилл переглянулись, но Рашиду по этому поводу ничего не сказали.

Я уже заметил, что к Наиле все стали относиться гораздо лучше, не то что первое время.



Соседи вокруг стали ее в гости приглашать и сами частенько к ним заходить. Но самыми первыми, что правда, то правда, переменялись по отношению к ней Аделя и Рашид. Аделя ее и не называла уже иначе, как «Нелинка» или «лапочка», и каждый раз, как увидит, сразу же начинала радостно улыбаться, даже если у нее только что до этого было самое обычное настроение. Они часто беседовали о разных вещах, но о чем бы ни говорили, в конце разговора Аделя начинала давать советы; как услышу Аделино «я, например», знаю, сейчас начнет совещаться. Рашид те сорок минут, на которые он раньше дядя Кямила из города приезжал, тоже старался истратить на пользу Наиле. Но он больше о делах говорил, советовал Наиле после отпусков уйти из своей архитектурной мастерской, там, говорит, никакой перспективы, и поступить работать в проектный институт, где перспективы есть, он и о дяде Кямиле заболтался, все просил Наилу, чтобы она не беспокоилась из-за его временного увлечения, которое скоро пройдет, и тогда, Рашид это твердо обещал ей, дядя Кямил займется настоящим делом и добьется очень больших успехов. Рашид говорит, что он понимает дело Кямила, все хотят быть знаменитыми писателями или артистами, но, к сожалению, это очень редко у кого получается, потому что для этого надо иметь талант. Вот у него, Рашида, таланта нет, но он не горюет, у него семья и работа, и с него вполне этого хватает. Дядя Кямил тоже когда-нибудь это поймет, и тогда все у него пойдет как по маслу, голова у него есть, а когда у человека есть голова и образование в придачу, то можно за него не беспокоиться. Мне стало приятно, когда Наиле сказала Рашиду, что ей совершенно безразлично, чем занимается дядя Кямил.

Наиле очень часто стала к ним приходить. Первое время только днем, когда дядя Кямил был на работе в городе, а потом все чаще и чаще и вечерами, когда он садился за машину. Скучно, наверное, смотреть на человека, когда он работает непрерывно и молчит при этом.

Бабушка моя в этих разговорах участия почти не принимала, и это было очень странно, потому что уж кто-то, а она человек очень разговорчивый. Если они были у нас — Наиле с Аделей — и беседовали, то бабушка в это время обычно занималась своим делом, время от времени только вставит слово, если к ней обращаются, а так, в основном, слушает и что-нибудь делает — инжир чистит или еду готовит. С Наилей, когда она приходила, бабушка разговаривала вполне приветливо, но к чему не притрагивалась, но не так, как с другими своими знакомыми. Наиле два или три раза попросила ее приготовить финсиджан — бабушка сразу согласилась, приготовила, и я видел, как она старалась, с вечера орехи приготовила, причем не через мясорубку пропустила, как обычно, а мелко натолкла их в ступке, и меня заставила в селение сходить за гранатами для сока, хотя дома был укус, а в чугуной сковородке до того, как полжечь туда растертые орехи, мелко-мелко накрошенный лук и утку, долго варила гранатовый сок, опустив в него две железные круглые штулки, от этого финсиджан получился темно-фиолетового цвета, только таким и должен быть настоящий финсиджан, и посыпала его корицей, наполнила смешанной с бадьяном. Наиле очень благодарилась, и бабушка сказала ей — «на здоровье», все как полагается, но, несмотря на это, я точно знал, что Наиле ей не очень нравится, и приветлива она с ней из вежливости или, скорее всего, из-за меня: бабушка знает, что мы дружим, вот и хочет ей сделать приятное. Но все-таки из-за чего такой добрый и хоро-

ший человек, как Наиле, может не нравиться моей бабушке? Никаких у нее оснований нет, тем более что та к ней от души хорошо относится, всегда о ее здоровье спрашивает, когда я к ним прихожу. Даже Аделе она уже нравится, а моей бабушке нет. Спрашивается, за что? Неужели из-за ее одежды?

Бабушка в это время, о чем-то задумавшись, сидела на балконе. Она несколько раз в день так садится отдыхать. Чем бы ни занималась, бросает все, как будто ее вдруг все силы покинули, и садится ненадолго. Вот она сейчас смотрит внимательно вдаль, так и кажется, что она ждет кого-то или морем любит, а на самом деле она в это время ничего и не видит, потому что думает о чем-то своем, спросишь у нее что-нибудь, она сперва встретнется, как будто со сна, и не сразу понимает, о чем разговор, приходится второй раз спрашивать:

— Неужели из-за одежды своей?

— А что мне до ее одежды? — сказала бабушка. — Как хочет, так пусть и одевается. Если мужу по душе...

— Почему же она тебе не нравится?

— Нравится, не нравится.. А за что она должна мне нравиться? Это разве жена мужу? С тех пор, как появилась, ни одного гвоздя не прибила, вещи ни одной в доме с места не сдвинула, все как стояло, так и стоит без толку. Хотя бы раз Кямила чем-нибудь, кроме яичницы или жареной колбасы с помидорами, накормила бы...

— Так она еще не умеет, научится.

— Как же, научится! Краем глаза хоть бы глянула, когда я готовлю!.. Музыка и танцы мужьям быстро надоедают. И у них это недолго протянется.

— Бабушка, — сказал я, — ты вспомни, сколько времени у тебя уходит на то, чтобы приготовить финсиджан. Часов пять. Верно? А у других людей, может быть, нет столько времени, чтобы еду готовить.

— Конечно, — сказала бабушка. — Это только у меня от безделья столько свободного времени. Вот я и трачу его зря.

Обиделась. Я уже заметил, что с каждым годом мне с людьми все труднее становится разговаривать. Не то что раньше — никому и в голову не приходило бы на меня обидеться, что бы я ни сказал, считалось, что я маленький и несмышленыш. Я представляю, как взрослые между собой разговаривают — наверное, прежде чем друг другу сказать что-нибудь, про себя все слова со всех сторон обдумывают — как бы не сказать что-то обидное или неприятное.

— Нет, — сказал я, — я совсем не думаю, что у тебя зря время уходит. Просто я с Наилей совсем разные люди, вот и время по-разному трагит. Она же сейчас, можно сказать, отдыхает, а в сентябре пойдет на работу, когда же у нее будет время готовить финсиджан или душберре, если даже и научится, то осенью забудет. А ты о ней думаешь, как о себе. Вот, по-моему, в чем дело.

— Аделя тоже работает!

— Сравнимо!

— Я и не сравниваю их — не гуси! Говорю, Аделя-то перед глазами, целый день в хлопотах — и дети у нее и хозяйство.

— И уюлы делаю.

— Тоже дело.

— Сплетница она!

— А это, милый мой, ее дело, не было бы хотинков послушать, и сплетни перевелась бы.

— А почему ты все это Наиле не скажешь?

— Сколько в колодец воды ни лей, в нем ее не приживается.

В воскресенье утром, только вышел из дому — идя к дяде Кямилу, смотрю: и Рашид туда же направился. Хотел было вернуться, но потом подумал, может быть, он ненадолго, уйдет, а мы останемся. Сидим на балконе, дядя Кямил и Рашид разговаривают, я слушаю. Рашид говорит:

— А где хозяйка?
— Нет ее.

Рашид посмотрел, как дядя Кямил прикурив сигарету от окурка, и посоветовал ему бросить курение. Не сразу, а постепенно — первые дни по полпачки, потом несколько дней по четверти, а дальше каждый следующий день курить на одну сигарету меньше — очень просто. Когда он сам бросил, первые дни самые трудные были, так и тяжело закурить, но усилием воли он себя удерживал. Уже два года не курит, и сам себя гораздо лучше чувствовать стал, и детям полizza из-за отсутствия в квартире дыма, вот одна неприятность только — с тех пор, как бросил курить, ноги у него начали сильно потеть, а раньше этого не наблюдали.

Дядя Кямил, как услышал про это, начал смеяться, я, глядя на него, тоже засмеялся.

— Извините, — сказал дядя Кямил, голос у него сразу серьезный, как будто не он только что смеялся. — Не знаю, с чего это мне так смешно стало... Так вы начните курить, может быть, перестанут они потеть.

— Нет уж, — сказал Рашид. — Пусть уж лучше ноги потеют, чем сердце раньше времени барахлит начнет.

— Также верно, — сказал дядя Кямил, пошел в комнату и вернулся оттуда с машинкой.

— Вы посидите, — сказал дядя Кямил, — а я постою немного.

— Работайте, работайте, — сказал Рашид. — Я ведь на минутку. Пойду.

Я сказал, что тоже ухожу. Дядя Кямил кивнул: — Приходи вечером, телевизор посмотрим.

Аделя была у нас. Со своей приятельницей. Когда я вошел, они замолчали. Потом Аделя у меня спрашивает:

— Ты знал, что Наиля от Кямила ушла?

— Как ушла?

— Вот так, бросила его и уехала. Ты разве не знал?

— Я повернулся и пошел.

— Ты куда? — бабушка мне вслед кричит.

— По делу, — говорю. Я разве знаю, совсем растерялся, иду себе, куда глаза глядят, смотрю, я уже к станции электрички вышел. А я сюда и не собирался идти... Очень мне было грустно в тот день, когда я узнал, что Наиля уехала.

Самое удивительное, что все в один голос в уходе Наиля обвиняли дядю Кямила. Аделя так и сказала:

— Я бы на ее месте давно бы сбежала! Я, например, интеллигентный человек, лечащий врач, и характер у меня хороший, но когда у себя дома слышу, как он стучит на этой проклятой машинке, меня трясня начинала, я представляю, что она вынесла! Я с самого начала, как увидела ее, сказала, — помнишь, Рашид? — эта девушка ему не пара, не для него она.

— Не надо так, Аделя, не надо, — укоризненно сказал Рашид. — Что было, то прошло. Я сейчас о нем думаю, что с ним будет. Неудачник он и лентяй, работать не хочет. Вот в чем причина всего. Надо, чтобы ему объяснил кто-нибудь, что на машинке стучать — это не для него занятие. Делом надо заняться, делом.

Они все у меня выспрашивали, из-за чего Наиля ушла, оба сразу начали меня уговаривать — расскажи да расскажи, ты все вечера у них пропадаешь.

Они спрашивали, а я вижу — оба они рады, что Наиля ушла от дяди Кямила. И не то, что они просто радовались. Как будто они все это время ждали с нетерпением, когда Наиля и дядя Кямил разойдутся, как будто им позарез это нужно было, и только теперь, когда Наиля уехала, оба они наконец успокоились. А может быть, Наиля и дядя Кямил просто поссорились? На несколько дней... Я первые два-три дня после ее отъезда так и думал...

Так бы я им все и рассказал! Выложил бы сразу все, что знаю!

А ведь я ничего и не знаю. Почему она уехала? Не знаю. Они при мне ни разу не ругались, да и без меня тоже, по-моему, у нас слышно было бы! Вон когда Сеймур со своей женой ругается, крики на берегу слышны, если только ветер с моря не дует.

Грустные они оба ходили в последние дни, что правда, то правда, но ведь из-за этого так вот, вдруг, от мужа не уходит. Васиф сказал, что, наверное, Наиля ушла к другому. Я ему говорю, как же так, ведь она дядю Кямила любит, не может этого быть.

— Как пить дать, вот я на пляже видел одну, тоже красивая, весь июль по субботам с одним парнем приезжала в красном «Москвичке», а в августе, смотрю, с другим приехала — в сером «Жигули». Как совсем стемнело, отъехали они за скалы, подобрался — заглянул, все то же самое! Им доверять нельзя!

Я все-таки говорю ему — не станет Наиля с другими по пляжу ездить, а сам вдруг ужасно испугался, вдруг Васиф прав. До того мне тоскливо стало, просто слов никаких нет.

Не может быть! Просто не может быть, чтобы все так кончилось. Они же любили друг друга, это-то я точно знаю. Что же получается? Если люди сперва любят, а потом расходятся сразу же и навсегда, то все, что я читал про любовь, просто выдумки. Значит, и любить никого не стоит. Люди на смерть идут, когда любят... А дядя Кямил и Наиля любили друг друга. Мне всегда казалось, что я все могу понять, но сейчас я просто не знаю, почему все так происходит. Васиф говорит мне: ты чего вдруг вспоминаешь, лицо у тебя такое, как будто ты вспомнил неприятное что-то. Я, говорю, вспомнил, что мне домой пора, — и ушел, только не домой, а просто пошел и походил, но немного, бабушка дома одна, с ней тоже поговорить надо, скучно ей.

На обратном пути я остановился возле мельницы, постоял, посмотрел на нее и пошел дальше, — стоит себе, машет крыльями — воду качает из колодца.

Скрипит от старости. Давно пора снести и поставить вместо нее электрический насос. В селении многие так и сделали. В прошлом году мне и в голову не пришло бы остановиться возле нее. Ничего особенного. Таких здесь штук десять осталось. Наиля, как только ее увидела в первый раз — мы вдвоем возвращались вечером из селения, — остановилась как вкопанная, какая прелесть, говорит, давай зайдём вовнутрь. Зашли — внутри все скрипит, ходуном ходит, вот-вот развалится. Только мы вошли — несколько летучих мышей сорвались с места и стали метаться с перелугу, она и про них — какая прелесть; я ей говорю, они же в волосы могут вцепиться намертво, и человеку придется стричься. Всем известно. Мне-то что, у меня стрижка совсем короткая, а вот у нее волосы густые и длинные, летучие мыши только и мечтают о таких. Еле-еле уговорил ее уйти, но все равно каждый раз Наиля перед этой мельницей останавливалась. И что она в ней нашла? А волосы у Наиля пахли какими-то духами, нежными-нежными, мне каждый раз становилось невозможно грустно от этого запаха.

Бабушка к дяде Кямилу стала гораздо лучше относиться, вот что мне приятно. Она мне ничего не говорила — я сам догадался по ее сварливому голосу.

— Иди, — она мне говорит этим голосом, — позови своего друга, чего он один там сидит.

— А он меня не послушается. — Это я нарочно так ей отвечаю.

— А ты от моего имени пригласи. — Тут она уже забывала про сварливый голос, говорила нормально. — Скажи, бабушка приглашает ужинать. Он человек воспитанный, полагается и придет.

Она-то его часто приглашала, но пришел он к нам всего раз или два.

Дядя Кямил ест, а она смотрит на него и вздыхает укорядкой. После его ухода она мне говорит:

— Нет худа без добра. Погорюет и забудет. Не пара она ему. С его характером ему другая нужна — домовитая и степенная.

— Как Аделя?

— А что Аделя?

— Ничего. Знаю, что она тебе нравится.

— Аделя... Ты знаешь, за кого Зарифа замуж вышла?

— Откуда же мне знать.

— Утром она приезжала с мужем. Смотрю, сперва к Рашиду зашла, я думаю, ничего себе, быстро же старое забывается, а потом я все узнала, оказывается, она за дальнего родственника Рашида вышла. Он из того же села, что и Рашид, в Баку переехал. Он теперь у нее живет, квартира у Шахларбека большая осталась... Зарифа радуется, жалеет только, что детей нет. Похудела очень.

— А как они нашли друг друга?

— Вот не знаю, — сказала бабушка. — Не спросила. Познакомил их кто-нибудь, наверное, Аделя или Рашид. Не на улице ведь встретились... Господи, — сказала бабушка, как будто вспомнила что-то, — дожить бы мне до того дня, когда ты женишься. Нет. Не доживу. Посмотрела бы, на ком ты женишься.

Сказала она это, а я стал думать, на ком бы я хотел жениться. Честно говоря, мне в жизни многие женщины нравились, может быть, даже чересчур часто, почти ни одного раза не было, чтобы я в кино сходил бы или в театр и мне кто-нибудь из артисток не понравился бы. Но это раньше было. Я сейчас как подумал о женитбе, сразу же Наилю представил. Захотелось, чтобы она была точно такой, как Наиля — такой же высокой и красивой, чтобы она так же хорошо умела танцевать и чтобы от нее пахло такими же духами... И чем больше я об этом думаю, тем яснее представлял себя, когда стану взрослым, почему-то похожим на дядю Кямилу. Вроде бы это я, а получаюсь, что все-таки на самом деле дядя Кямил — потому что и лицо, и рост, и даже одежда были его. И вдобавок ко всему, он — то-есть я — слушал, что ему говорит Наиля, и одновременно с этим стучал на машинке. Как же это так получается? И спросить не у кого. Наверное, даже у дяди Кямилы нельзя. Хоть мы с ним в последние дни почти каждый вечер ходим гулять.

Идем себе, разговариваем о разных вещах или просто молчим — тоже приятно. Он мне сказал о том, что Рашид предлагал ему продать дачу. Я подумал, только мне этого не хватает, чтобы и он уехал.

— Знаешь, сколько он предложил? — улыбаясь, сказал дядя Кямил. — И не старайся, все равно не угадаешь.

Я чуть не сел, когда услышал, сколько Рашид ему денег предложил.

— Откуда у него столько?

— Наверное, накопил около лет за семьдесят — восемь-

десять, — усмехнулся дядя Кямил. — Он же почти ничего не тратит, только на семью, машину и дачу, остаток зарплатты ежемесячно копил, вот и скопил наконец. А зарплата у него знаешь какая? Сто шестьдесят рублей... Жалко, конечно, упускать такой случай, но я отказался. Может быть, со временем еще накинит немного. Как ты думаешь?

— Разве можно одному человеку иметь две дачи? — спросил я.

— Умеючи все можно. Он мне сказал, что вторую купит на имя своей сестры. Ты, мой милый, не беспокойся, они законы лучше любого юриста знают. Скажу тебе честно, я этому Рашиду в душе благодарен — я ведь хотел уехать из Баку, совсем уехать, была у меня такая мысль. И уехал бы, если бы не Рашид. Вот когда он предложил мне для моей пользы купить у меня дачу, мне вдруг показало, что если я соглашусь, Рашид так и скупит все вокруг — дачи, улицы, людей... Ну, я сказал ему кое-что по этому поводу. Надолго запомнит. Он не обиделся. Не нервничай, говорит, я тебя прошу. Бог с ней, с дачей, лишь бы все здоровы были. Понял? Железный человек. Не то что мы с тобой!

Но вообще в последнее время он редко шутил.

С тех пор, как Наиля уехала, дядя Кямил здорово изменился. Неразговорчивый стал и угрюмый. И поухудел очень. Он и раньше много работал, а теперь так совсем от машинки не отрывается. Как придет из города, спустя минут десять слышно уже, как она стрекочет. Придешь к нему, а он кивнет, поднимет голову — «здравствуй, садись, я сейчас кончу» — и продолжает. Когда дядя Кямил печатает, он что-то шепчет; сколько ни прислушивался, ничего не услышишь, видно только, как губы шевелятся, он, наверное, диктует себе так. А лицо у него при этом все время меняется, то озабоченным становится, то хитрым-хитрым, а однажды я услышал, как он ни с того ни с сего вдруг рассмеялся, посторонний подумал бы, что он немальный, сам с собой разговаривает и смеется. Только сейчас он не смеялся, сидел с угрюмым лицом и печатал, печатает немного, остановится, подумает о чем-то — и снова. Он так до утра может. Я к Наиле хорошо относился всегда, да что там относился, из всех женщин, которые мне встречались в жизни, она мне больше всех, может быть, нравилась, но, глядя на дядю Кямилу, я почувствовал, что относиться к ней уже не как прежде, гораздо хуже. Она что не понимает, что он из-за нее так мучается?!

— Дядя Кямил, а может быть, вам надо съездить за ней?

Я спросил, и мне показалось, что и он как раз об этом же одновременно со мной подумал, потому что ответил сразу, даже секунды не подумал:

— А почему это я должен за ней ехать? Разве я виноват перед ней в чем-то?! Никуда я не поеду! — Он сердито это сказал, потом остановился и посмотрел на меня с удивлением, видно, не ожидал, что я могу спросить такое. И снова стал печатать.

Я в это время телевизор смотрел, вдруг слышу: тихо стало, машинка перестала стучать. Я повернулся, а он мне говорит:

— Я тебя прошу, ты больше со мной о ней не говори. Ладно?

И вдруг снизу как заплещется что-то. Даже сюда, на скалу, брызги долетали. Еще одного он тащит! Что же это происходит? Тащит. Даже больше первого. Васиф на этот раз даже не тронулся с места, сидел неподвижно и смотрел, как рядом с ним поднимается второй осетр. Я встал и помог засунуть его в ведро. Теперь из ведра высывались два хвоста,

и не то чтобы просто высовывались, а размахивали так, как будто хотели вместе с ним улететь. Если бы мы их не держали изюм всех сил, то из ведра осетры, конечно, выскочили бы. Потом этот рыболов в матроске попросил меня поддержать и второй хвост, «пожалуйста», сказал, а сам взялся их укрывать парусиной. Мы взвалили на нее еще несколько обломков скалы, каждый килограмма два-три, не меньше, только тогда осетры затихли. А Васиф все молчал. Честно говоря, и я помалкивал, растерялся, наверное, да и любой другой человек на моем месте растерялся бы — за каких-нибудь полчаса поймать удочкой двух осетров. Кому хочешь в Гялялах рассказы, смеяться будут. Сел я на свое место, забросил удочку, может, думаю, в этот раз повезет, может, какому-нибудь хоть самому захудалому осетришке моя удочка приглянется. Всякое бывает. А этот, в матроске, опять ко мне — можно? Это он насчет черыка. Самое интересное, что теперь, после того, как он пересел, баночка Васифа с ним рядом стоит, а он все-таки из моей черы хочет. Может быть, этот тоже в приметы верит. Подошел, выбрал черыка, сперва спасибо сказал, потом поплевал на черыка, нажвил. Может быть, у него слюна какая-нибудь особая, которая осетрам нравится? Я Васифу говорю:

— Ну, теперь наша очередь. Начиня ты первый. — А он на мои слова никакого внимания, отложил удочку, подошел к этому, в матроске, встал за его спиной и говорит:

— А ну вставай! — Тот посмотрел на Васифа, потом на меня, а я смотрю, не понимаю, чего от него Васиф хочет.

— Зачем?

— Вставай, говорю.

Тот по голосу Васифа понял, что лучше не спорить. Отложил удочку, встал.

— Ну, встал.

— Вот что, — сказал Васиф, — ты пока прекрати ловить, посиди здесь немного, потом видно будет. Понял!

— Не хочу просто так сидеть. Буду ловить.

— Только попробуй! Ну!

— Слушай, — сказал этот рыболов в матроске. — Это же неправильно. Я не понимаю, чего ты хочешь. Я поймал двух осетров? Поймал. Ты мне не мешай, я сейчас еще одного поймаю и тогда, пожалуйста, перестану... Каждому по одному. Чего ты?

Я почему-то поверил, что он может еще одного осетра поймать. И тут он на меня посмотрел, мол, правильно я говорю? Правильно, конечно. И толковать не о чем.

— Ты что, не понимаешь, — закричал Васиф, — что тут стая осетров под скалами сейчас проходит? Такое, может быть, раз в жизни бывает. Если бы не этот тип, то мы бы их поймали! А он еще дурака из себя строит! — Орет, как сумасшедший. — Отойди отсюда!

— Никуда я не отойду! Буду ловить. — И тут они сцепились. После того, как Васиф на него бросился, я думал, Васиф ему зарпосто надаст, но вышло по-другому, он, оказывается, и дерется вполне прилично. Они у самого края дрались, я испугался, что они свалются, а море здесь под скалами такое, что в него даже добровольно лучше не соваться, а если туда еще упасть с такой высоты, да еще вниз головой... Я как подумал об этом, вскочил и побежал к ним. И тут он испугался, взгляд у него был ужасно перепуганный, когда он увидел, что я бегу к ним. Решил, наверное, что я и на него наброшусь. Побежал он от нас со страшной скоростью, на ходу обернулся, здорово он напугался, у меня уже не было времени разглядывать его лицо, но мне показалось,

что оно не только перепуганное, но и удивленное немного, как будто спросить что-то хочет, видно, он все-таки удивился, что я тоже решил на него напасть. Я еле успел Васифа схватить за воротник, когда он бросился его догонять.

— Ты чего, — говорю, — с ума сошел? Ты чего от человека хочешь? Ты же не прав! — говорю, а сам чувствую, что бесполезно с ним разговаривать, видно, совсем из-за этих осетров обделал.

— Гад он, — сказал Васиф. — Он же наших осетров поймал. Мы столько старались, а он пришел и поймал. — Васиф говорит, а мне слушать противно. Очень все нехорошо получилось.

— Ты за мной не иди. Я позвуж его обратно. И не лезь к нему больше. Я тебя очень прошу! — Добежал я до конца нашей площадки, обогнул скалу, а его не видно. В двух шагах ничего не видно. Как будто засунули тебя в стакан из матового стекла. Да тут что-нибудь увидишь в таком тумане! И в какую сторону он побежал, не знаю. Может быть, я совсем в другую сторону бегу! Бегу и кричу из всех сил, дурак дураком: «Мальчик! Мальчик!» — имени же мы его не спросили. До того забегался и докричался до того, что в горле пересохло. По-всякому кричал — и «мальчик» и «матроска», и все ни к чему. А на обратном пути еще поскользнулся и коленом стукнулся, так что чуть не взыл от боли. Зря Васиф на него набросился — «стая», как же! С трудом я добрал до площадки, до того устал, что в боку закололо. Смотрю, Васиф у ведра стоит, снял парусину, осетрами лобуетца.

— Не догадал, — говорю ему. — Нехорошо получилось все-таки.

— Да ну его к черту! Нашел о чем думать. Осетры-то нам остались!

Тут как я попалод ногой по этому ведру, сам не знаю, как это получилось, оно со всеми осетрами, камнями и парусиной полетело в море. Васиф посмотрел ему вслед, а потом на меня бросился...

Ничего себе повелили рыбку. У Васифа нос разбит, у меня губа в крови, рубашка разорвана до пупка, я еще колено ноет.

Умылись, стали вещи собирать.

Васиф две рыбки подобрал — леща и бычка, тех, что мы до его прихода поймали, он их отложил в сторону, когда осетрами любовался, вот они и уцелели. Васиф повертел их в руках, потом подвесил на кулан. Вздохнул.

— Эрония судьбы, — говорит.

У меня на него злость прошла, еще когда мы умылись, а тут жалко стало. Почти до самой калитки молчали.

— Эти осетры рублей по пятнадцати пошли бы, не меньше, — сказал Васиф, — мы бы сегодня же лодку купили.

— Купим, в следующем году, — сказала я и вошел в калитку. — Купим. Не беспокоясь. Ну, пока.

Аделя была у нас. Помогала бабушке делать долму из виноградных листьев. Как только меня увидели, обе обрадовались, сразу же сунули мне в руки миску и послали за рисом. И еще сказали, чтобы я напомнил Рашиду, что он обедает у нас, и не опаздывал.

Я поднялся на их балкон — смотрю, сидят за столом Рашид и его знакомый, у которого голубые «Жигули». Рашид, когда я ему сказал, зачем я пришел, попросил, чтобы я поискал рис на кухне — банка должна быть в одном из шкафов, — а сам продолжил беседу. Они говорили о том, что какого-то их приятеля назначили работать на хорошее место и как это приятно, потому что этот приятель очень достой-

ный человек. По всему было видно, что им и впрямь приятно, и у обоих по этому поводу хорошее настроение. Я уже давно заметил, что Рашид и его друзья очень часто говорят о том, кого куда собираются, или уже назначили на работу, или, наоборот, сняли. Неполитному человеку может показаться, что все эти разговоры никакого особого смысла не имеют — ничего особенного, сидят два человека в свободное время на балконе своей дачи и в холодке беседуют о том о сем. Как будто все просто, а на самом деле слушаешь разговоры, и кажется, что разгадываешь какой-то сложный ребус или очень интересную головоломку. Я сколько раз пытался отгадать, вначале ничего не получалось. Но через некоторое время мне несколько раз удавалось кое-что угадать.

Вот, например, назначили их приятеля управляющим делами трамвайно-троллейбусного парка, а они радуются. Не только потому ведь, что он, по их словам, достойный человек, а еще потому, что это им на пользу. Начинаешь думать, какая им может быть выгода от этого управляющего — не подарит же он им трамвай или троллейбус, и на экскурсию в этот парк им идти нет никакого смысла? Тем более, что этот парк находится на другом конце города, вернее, за городом. Никакого интереса. Верно? Неполитный человек так и решил бы. Раньше и я бы так подумал... А получается, что есть польза. Во-первых, в этот парк можно будет устроить на работу племянника одного из друзей Рашида, которому для поступления в институт нужен стаж, работа такая, что он будет только числиться, даже приходиться туда не каждый день нужно, и опять же зарплата, хоть и небольшая, но на карманные расходы хватит, и дай ему бог, потому что мальчик он способный и в будущем, в институте, докажет это своими успехами, во-вторых, теперь в самую сильную жару у Рашида на даче не переводится чешское или немецкое пиво, которое хоть и в небольшом количестве, но регулярно получает магазин трамвайно-троллейбусного парка — сам Рашид небольшой охотник до пива, но ему приятно, что он может им угостить людей, которые понимают в нем толк и по этой причине в рот не берут бакинское, в-третьих, через нового управляющего Рашид достал на август бесплатную путевку в желудочный санаторий в Ессентуки больному человеку, матери другого своего друга, который в свое время сделал Рашиду много хорошего, и Рашиду приятно, что благодаря путевке, хоть это и сущий пустяк, ему удалось добром ответить на добро, в-четвертых... Надоело, а то, была бы охота, я бы перечислил до двадцати — тридцати всяких полезных вещей, которые Рашид и его друзья получили после того, как их приятель стал управляющим. И так почти каждый раз, когда они о чем-то разговаривают. Понять, что им будет от этого польза, можно сразу, но какая именно польза, сколько ни думай, все равно в конце концов оказывается что-то совершенно неожиданное. Очень здорово!

Дядя Кямил никогда не слышал разговоров Рашида с приятелями, но и он как-то сказал, что восхищается его жизнеспособностью и умением все употреблять на свою пользу. Он так и сказал — «восхищаюсь», но все равно, по-моему, Рашиду это не понравилось. В тот день в газетках появилось сообщение о том, что учеными разработан проект, по которому некоторые крупные северные реки поменяют свое течение, а одна вообще целиком повернет вспять, и вольется в Каспийское море.

Дядя Кямил прочитал вступ, что благодаря этому станет обмеление нашего моря и уровень его воды в ближайшие годы поднимется до прежнего. Дядя Кямил отложил газету и сказал, что это один

из самых грандиозных проектов в истории человечества и ему очень интересно посмотреть, что произойдет после его осуществления.

Рашид тоже взволновался и задумался, а потом сказал, что это действительно очень важное и ответственное для народного хозяйства событие, хотя бы потому, что благодаря ему увеличится поголовье ценных пород рыбы и усилится судостроение, но вместе с тем, после того, как проект осуществится и уровень моря сразу повысится на несколько метров — а раз написали в газетках, то так оно и будет, — тогда, по всей видимости, набережная часть города будет затоплена. Через некоторое время, конечно, все войдет в норму. Банковест не допустит, чтобы граждане терпели неудобства, но вначале, как и в любом новом деле, возможны всякие случайности. «И слава богу», — сказал он, обращаясь к Аделе, — что мы еще не успели обменяться, как уже договорились, на квартиру на Набережной. Жаль, конечно, там и метраж больше и вид прекрасный на море, но теперь об обмене и речи быть не может. Поживем пока у себя в Нагорной части.

Пока Рашид все это говорил, дядя Кямил смотрел на него с удивлением, а потом и сказал, что восхищается им. Тогда Наиля сразу же перевела разговор, потому что стало заметно, как Рашиду неприятно, что им восхищаются. Одна Аделя ничего не заметила, тараторила и тараторила, не останавливаясь до самого ухода. Наиля, когда мы остались втроем, сделала дяде Кямилу замечание за то, что он обидел своего гостя, тот повинился, но все-таки добавил, что гораздо лучше себя чувствует, когда не видит Рашида. Наиля сказала ему, что Рашид безобидный и добродушный человек, а то, что он чересчур сильно любит вещи и изю всех сил хочет казаться интеллигентным человеком, это, конечно, недостаток, но не такие уж и страшные. Мне стало очень интересно, что ответит ей дядя Кямил.

Тут дядя Кямил самым торжественным голосом заявил, что считает своим гражданским долгом объяснить двум наивным и темным простакам, то есть нам с Наилей, что Рашид и ему подобные люди — это явление, которое нуждается в специальном научном изучении.

Наиля засмеялась и сказала, что он сильно преувеличивает — такие люди, как Рашид, верное, существовали во все времена, всегда занимались своими делишками и всегда знали свое место, и поэтому для порядочных людей они никогда никакой опасности не представляли и представлять не будут. И никакого они не явление. Что ей ответил дядя Кямил, я уже не услышал, потому что в это время, можно сказать, на самом интересном месте, явилась моя бабушка и потребовала, чтобы я немедленно отправлялся домой — время-то, оказывается, давно уже за полночь.

Я набрал в миску риса, попрощался с приятелем Рашида на балконе и ушел. Я уже поднимался по нашей лестнице, когда услышал, как хлопнула дверца и завелся мотор, — он уехал.

Вернулся, отдал рис, Аделя расквашивает, а я сижу, слушаю (делать-то до обеда все равно нечего) о том, как Рашид заподозрил, что у него начался диабет. Он вообще-то на больное не похож, здоровый очень, зарядку по утрам делает с гантелями, но все время с какими-то лекарствами возится — витаминки принимает, таблетки, которые нервы успокаивают. А чего ему их успокаивать, я ни разу еще не видел, чтобы он сердился или волновался. Оказывается, Рашид очень переживал из-за того, что у не-

го, может быть, диабет.— Аделя объяснила нам, что эта болезнь мало того что тяжелая, она еще неизлечима, — и решил все проверить окончательно. Сперва кровь в поликлинику сдал на анализ, а потом повез с собой утром в город и мочу в бутылочке — тоже на анализ. Рашид в этот день, сказала Аделя, с утра сильно нервничал из-за того, что его вызвали к начальнику в министерство, это в другом здании, и он заехал туда по дороге к себе на работу. Рашид беспокоился, когда ехал, потому что у начальника этого характер крутой и строгий, хотя, по словам Адели, Рашиду беспокоиться-то нечего по причине его хороших знаний и безупречной работы. В кабинете у начальника выяснилось, что беспокоиться и впрямь не из-за чего — мало того, что он, говоря о делах, был очень приветлив, так еще, когда Рашид уходил, наемнику он, что подумывает о его повышении. Рашид на работу приехал в связи с этим в хорошем, можно сказать, прекрасном настроении. И оно у него продержалось до самого обеденного перерыва, когда надо было идти в поликлинику, делать анализы. Тут Рашид вспомнил, что оставил бутылку на столе у своего начальника. Домой он приехал в очень плохом состоянии, и Аделе пришлось ему срочно сделать укол. Она его все успокаивала, но ничего из этого не вышло.

Рашид сказал, что, по всей видимости, ему лучше уйти на другую работу, потому что этот начальник со строгим и коварным характером совершенно точно сейчас думает, что Рашид придумал очень хороший способ его беззаконно унизить и оскорбить. Рашид всю субботу и воскресенье советовался с Аделей, как ему поступить — подождать, пока ему бутылку вернут официально, или попросить ее назад самому. Он думал об этом и в понедельник на работе, пока не позвонила секретарша начальника и не попросила, чтобы Рашид приехал за бутылкой. Она и по телефону и когда он приехал за бутылкой разговаривала вполне приветливо, но Рашид все думает о последствиях и при этом, по его словам, чувствует, как увеличивается в крови сахар. Он сказал, что дело не в этом случае с бутылкой. Просто он всегда боится и беспокоится, что из мелкой неприятности может получиться крупная. Анализ он все-таки сделал — выяснилось, что никакого диабета у него нет.

Стол мы накрыли на веранде. Сегодня на обед были самые любимые мною кушанья — долма и разные кутабы с мясом, зеленью и тыквой. Наконец и Рашид появился, принес с собой сетку, полную бутылочек боржома. Он говорит, что боржом — очень полезная вода, потому что в ней содержится самые нужные для организма вещества.

Сына он взял у Адели, посадил себе на колени — гусянок мой, говорит, зайчик. Он его очень любит, каждое утро, прежде чем уехать на работу, подходит к его кровати и здоровается — «Доброе утро, дорогой товарищ начальник!» — и очень осторожно, чтобы не разбудить, целует.

Аделя попыталась отнять у него ребенка, чтобы он не мешал есть, Рашид не дал: «Мне», — говорит, — приятно так обедать, когда сын у меня на коленях, и, кроме того, я хочу, чтобы ты отдохнула от всех своих хлопот», — и пожелал всем приятного аппетита.

Сыншিকা спокойно сидел, всем улыбался, сытый, его Аделя уже накормила, очень славный мальчуган, веселый-веселый, я ни разу не слышал, чтобы он плакал или капризничал, потом ему надело все-таки сидеть и смотреть, как мы все едим, и он встал на ножки, но Рашид посадил его обратно, дай, говорит, папе поесть, ему на тебя работать надо, тогда

он полез к Рашиду в нагрудный карман, Рашид засмеялся, подмигнул мне, деньги ему, говорит, пондобились — бери сколько хочешь, из отцовского кармана можно, мне для тебя ничего не жалко. Мальчик вынул оттуда какую-то бумажку, в руках вертит, а Рашид никакого внимания на это не обращает, он как раз в это время занят был — поливал долму мацони. Аделя бумажку отобрала и положила рядом с собой на стол, потом глянула на нее, а там какой-то номер был записан телефонный, просто номер, без всяких имен, и задумалась. Рашид спрашивает, ты о чем это думаешь, смотри, аппетит пропадет. Аделя ахнула с места, с бумажкой этой в руке подошла к подоконнику, а там ее сумка лежит. Она эту сумку повсюду с собой таскает — и на пляж, и в магазин, и в кино, все время она у нее на глазах, ни разу еще дома ее не оставила, она в нее свои кольца складывает, браслеты, а может быть, еще что-нибудь, тоже ценное. Подошла к подоконнику, вынула из сумки записную книжку, что-то нашла там, еще минуту постояла, а потом повернулась к нам, а лицо у нее все побелело и трясется, и говорит Рашиду, я даже голос ее не узнал, до того он сразу стал хриплым и грубым, как у мужчин:

— Свинья! Ты опять за старое принялся?
Рашид сразу проглотил ее, что у него во рту было, чуть не подавился.

— Что случилось? Что с тобой?!
И тут такое началось! Я никогда еще до этого не слышал, чтобы женщина такими словами ругалась, я, конечно, все эти слова знаю, но оказывается, когда женщина их говорит, они совсем другими, в тысячу раз ругательнее становятся. А она ведь не просто говорила, а орала своим новым хриплым мужским голосом так, что, наверное, на берегу было слышно. Рашид попробовал к ней подойти, да не тут-то было, она ему чуть глаза не выцарапала, случайно промахнулась, только на щеках две красные полосы остались. Дети плачут, я стою, не знаю, что делать. Вдруг смотрю, бабушка подходит к ней со стаканом воды и говорит спокойно так, будто у нас в доме каждый день такое случалось:
— Вам лучше отойти, у нее истерика, — и начала поить Аделю, как маленькую.
Та отпила немного, — я даже удивился, что ей все-таки удалось два-три глотка сделать, зубы у нее о стакан стучали так, что казалось, что она хочет его разгрызть, — и снова за свое.

Сперва я ничего понять не мог, а потом все стало ясно. Оказывается, на бумажке был записан номер телефона Наиля. Аделя проверила по своей записной книжке, Наиль ей сама туда его записала.

Бабушка отошла от нее, а она говорит Рашиду:
— Я тебе объясню, кто я такая. Посмотришь. Забыл, что все на мое имя — и квартира, и машина, и сберкнижка! Забыл! Ничего, напомни! Я тебе все объясню, где полагаются. — Потом пошла, села на тахту и заплакала, обхватила голову руками и тихо плачет. Жалобно-жалобно, как будто с ней какое-то страшное горе приключилось.

Тут Рашид и подступился к ней со вторым стаканом.

— Успокойся, — говорит, — воды выпей.
Она его оттолкнула.

— Ты сам успокойся. Иди, иди, подай еще раз на развод! Постоишь на коленях. Вспомни, как тогда стоял, но уж в этот раз я заявление не порву, не надейся. За все сразу получишь.

— Как тебе не стыдно, — Рашид ей сказал, как только она замолчала. Тихо, ласково, как будто терпеливо объясняет непонятное что-то. — Как ты могла обо мне так подумать! Я для чего хотел позво-

нить? Чтобы помирить их, мне же не хотелось, чтобы у них семья разрушилась. Я хотел позвонить, а потом раздумал, думаю, полезут людям в голову всякие мысли нехорошие, и не стал звонить. Если тебе, самому родному человеку, так показалось, то что с других спрашивать. Я не позвонил — клянусь тебе здоровьем всех наших детей, пусть они на моих глазах все по очереди умрут, если я позвонил... Не веришь? Ты же меня знаешь.

— Я тебя хорошо знаю,— сказала Аделя, но плакать уже стала тише.— Эту сказку ты им рассказываешь, может быть, поверят.

— Успокойся,— сказал Рашид; он был очень расстроен.— Я тебя прошу, посмотри, до какого состояния ты себя довела. Какая ты все-таки мнительная. Ладно, я согласен, ошибся, теперь понимаю, что надо было с тобой посоветоваться, а еще лучше, надо было нам вместе позвонить. Ну, я тебя прошу, успокойся.— Он хоть ласково с ней говорил, но мне показалось, что ненавидит он ее страшной ненавистью...

И они ушли. Впереди Аделя идет с Рашидом, он одной рукой сына к себе прижимает, другой Аделю за плечи придерживает, а сзади дочку идущей. Мы сидим с бабушкой за столом, друг на друга смотрим — пообедили, называется!

Мы молча убрали со стола, а потом я спросил у бабушки:

— Ты знала, что Рашид у дяди Кямила хотел дочку купить на имя своей сестры? — А она как будто и не слышит меня, сама сидит напротив, а мысли ее где-то далеко, по глазам видно.— О чем ты думаешь? Бабушка!

— Шахлар-беке вдруг вспомнила. Мир его праху,— сказала бабушка.— Вспомнила, как сидел покойный на балконе и сердился, когда Зарифа у него выигрывала.

— Он, наверное, и нашу хочет купить,— сказал я,— раз с дядей Кямилом не получилось.

— Может, и хочет,— сказала бабушка.— И купит через год-два, кому она будет нужна, если родители твои, как дикие козы, каждое лето по горам и холмам разбредаются.

— Родители! А мы с тобой? Нам же нужна она. Ты на следующее лето с ними отправимся. Верно? А мне через год-два... Я и так обойдусь.

— Нет,— сказал я.— Ты будешь здесь жить, а я к тебе буду приезжать. Ладно?

— Ладно,— сказала бабушка и погладила меня по голове.— Ладно,— она улыбнулась,— а Рашиду, если он придет ко мне, скажи, что мы ничего не продаем и никогда не продавали. А ты лучше иди, принеси мне воды... Маленький ты еще о таких вещах думать.

Это я маленький? Может быть, и маленький, но хотя бы не суеверный.

— Бабушка, а ты точно знаешь, что человек умрет, если к нему сова повадилась по ночам?

— То, что умрет,— не обязательно. Я же говорила тебе: или умрет, или стрясется с ним что-то нехорошее.

— И никаких исключений не бывает?

— Не бывает.— Бабушка внимательно посмотрела на меня, потом подошла и села рядом.— Да ты не беспокойся, мой хороший, ничего с тобой не случится, пока я здесь с тобой. Прилетела сова или нет — к тебе не относится. Понял? — Погладила меня по голове.

Вот, договорились. Значит, мало того, что она думает, будто я поверил в примету с совой, так она еще думает, что я за себя боюсь! Очень интересно получается. А себя она, кажется, считает каким-то

громаднейшим возле меня, которому достанется все плохое, что мне причитается? Грех это или нет, но как только дядя Кяmilл приедет, я его попрошу сова застрелить. А вообще странно, что его нет. Обычно он минут через сорок, в крайнем случае через час после приезда Рашида появляется.

Я почитал немного, телевизор посмотрел, к этому времени совсем уже темнело, а дядя Кямила все нет и нет. Я вышел на балкон, сел там, жду.

Дождь пошел. Сперва обычный шел, а потом как хлынуло — давно такого ливня не было, сегодня все одно к одному — утром туман, вечером ливень. Бабушка тоже вышла на балкон, говорит, не вовремя этот ливень — инжир плохой уродится. Даже не знаю, примета это или нет? С одной стороны, примета, если бабушка говорит, а с другой — вполне можно считать как прогноз. Поглядим дней через десять, какой инжир уродится. А дядя Кямила все нет, так поздно он еще не приезжал... Молнии одна за другой. Так и кажется, что кто-то наверно время от времени втыкает в розетку ионизицы. Я однажды сдуру проделал такой фокус — сперва искры, потом захлопало так же, как сейчас, озоном, сперва бабушка меня ругала, потом мама, когда с работы вернулась, словом, все было, кроме света... Может быть, с дядей Кямилом случилось что-нибудь? В такую грозу всякое может быть! Я видел в прошлом году коричневое стекло в песке — от ударившей молнии след! А если такая в человека уродит? Это легче всего потом сказать, что из-за совы. А ведь и впрямь кажется, что-то с ним случилось — нет же его до сих пор.

Бабушка опять вышла.

— Ты чего здесь сидишь в темноте? Одень что-нибудь, ты же совсем от холода съезился..

— С дядей Кямилом что-то случилось..

— С чего это ты взял?

— Ну так... До сих пор его нет.

— Не придумывай... Ничего с ним не случилось, вон он идет! Твой дядя Кяmilл.

До чего я обрадовался. Чему, спрашивается? Взрослый человек вернуется из города к себе на дачу, идет как ни в чем не бывало под дождем и даже не торопится, через лозы перешагивает, а я сижу и радуюсь! Хорошо, хоть никто не знает об этом.

— Ты куда?

— Я на минутку, я одну вещь спрошу только и вернусь.

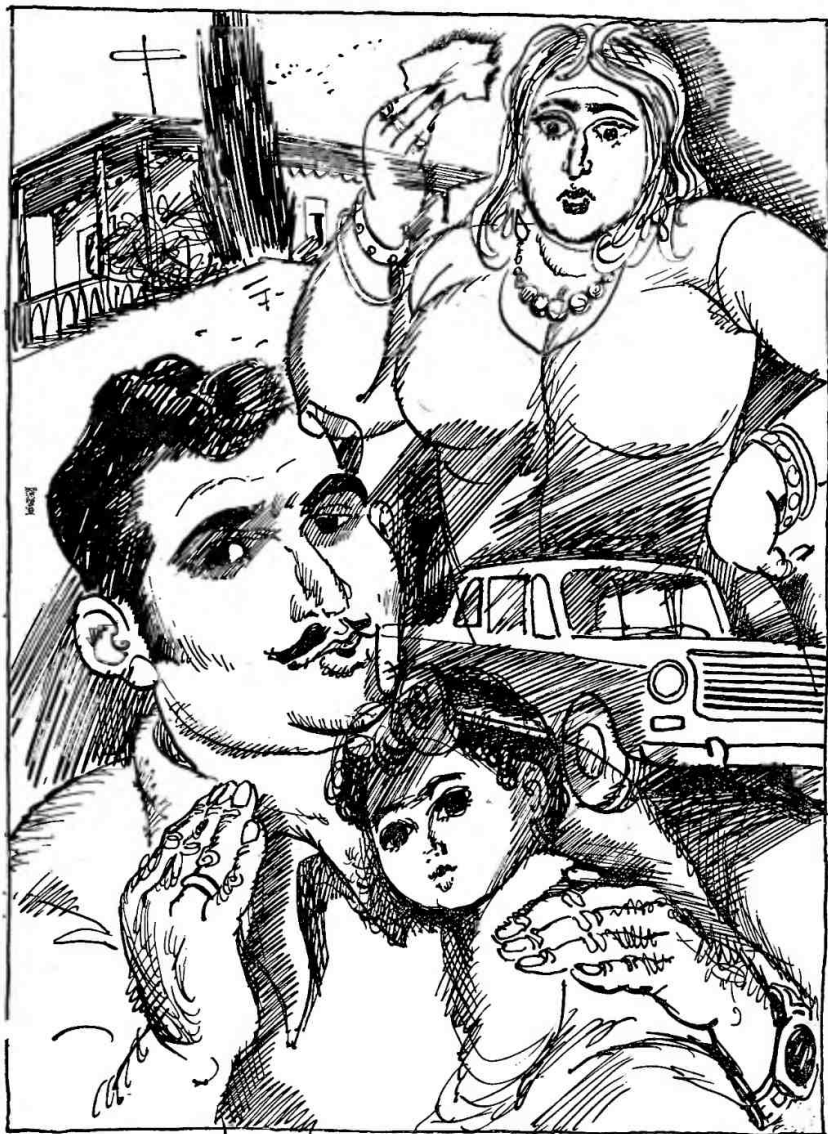
— Никуда не пойдешь, пока не оденешься. Мне с тобой потом возиться неохота.

Совсем это рядом, но пока добежал, промок со страшной силой. Только под навесом на балконе остановился. Пока через двор бежал, все видно было при свете молний, они одна за другой всхливали, а здесь темно, в двух шагах ничего не видно. Дверь в комнату открыта, но толку от этого было мало, внутри еще темнее, чем на балконе, в доме как будто никого и нет — чернота сплошная, я встал на пороге и стою. Только и слышно, как ветер шумит и дождь по виноградным листьям, как по картону, стучит.

— Добрый вечер! — Он подошел и включил свет, а потом снова сел в кресло. Как сидел в мокрой одежде в темноте, так и теперь сидит. Смотрит на меня и не улыбается, а лицо очень уставшее.

Я говорю с порога.

— Дядя Кяmilл, вы умрете? — спрашиваю и чувствую, какую глупость говорю, а остановиться не могу. До того глупый вопрос, что я просто обалдел, прежде чем последнее слово договорил.



.. Он усмехнулся, говорит:

— Еще как!

Я думаю про себя — вот сейчас скажу «до свидания» и уйду.

— А что, есть какие-нибудь сведения на этот счет?

А чего говорить!

Я промолчал. Он встал, подошел ко мне, обнял за плечи и говорит:

— Ты совсем промок. Снимай куртку, а я чай поставлю.

Мы поговорили немного, он сказал, что поздно так приехал из-за того, что на службе задержался, дела запустил, а в понедельник месячный отчет сдавать. Пока он говорил, я чувствовал, до чего ему эта служба противна.

Потом ни с того ни с сего говорит:

— Конечно, умру. А ты как думал? Только не скоро. Мне, знаешь, сколько еще сделать осталось? Если даже очень захочется, — не помру, пока всего не сделаю.

Ясное дело, что он не о службе своей говорит. Тогда, значит, он до самой смерти так и собирается на машинке стучать день и ночь. Раньше он хоть вслух читал. Теперь и послушать никому...

— А зачем? Вы все пишете, а печатать никто не печатает.

Он мне чай наливал, когда я сказал ему это. У него над глазом жилка дрогнула, и он нахмурился. Поставил передо мной стакан, поглядел на меня и покачал головой.

— Ничего себе! — усмехнулся и налил второй стакан. — Ничего себе у меня приятель.

Обычно, как только десять, бабушка начинает меня домой кричать, а сейчас времени-то без четверти одиннадцать, а ее не слышно.

— Потерпи. Меня будут печатать. Не знаю, когда нечнут — завтра, через месяц или год, но будут. Вот увидишь, а до этого поверь мне на слово. Хоть ты поверь, я тебя очень прошу. — Он серьезно просил.

Я того рыболова вспомнил в матроске. Я ему тоже сразу, каждому слову поверил, хоть видел его в первый раз, когда он сказал, что третьего осетра поймает.

— Я вам верю. Честное слово, дядя Кямил.

— Печатать-то будут, — сказал он задумчиво, как бы про себя, — только, оказывается, и это уже не самое главное. — Он спросил у меня: — А ты знаешь, что самое главное в жизни человека?

— Не знаю. Что?

— Даже не догадываешься?

— Ну... Нет, — подумав, сказал я.

— Плохо, — огорченно сказал он. — Два умных человека не знают ответа на очень простой вопрос. — Он подмигнул мне, и я понял, что он шутит.

Я ему все подробно рассказал про сегодняшнюю рыбную ловлю. Он ни одного вопроса не задал, пока я рассказывал, но слушал внимательно.

— Ты его еще встретишь, — сказал он. — Такие люди, как этот мальчик в матроске, просто так не исчезают. Вы еще встретитесь. Ты ему все объяснишь, и он поймет. А переживать не надо. Получилось неплохо, но ты в этом не виноват.

А я ему не говорил, что переживаю. Мы сидели и молчали. Ничего, кроме одного освещенного окна в нашем доме, вокруг не было видно. И ничего слышно не было, кроме шума дождя и рокота моря. До самого утра я бы просидел так — молча или разговаривая, все равно.

Дядя Кямил сидел, задумавшись, и лицо у него

опять стало уставшим. Я вдруг вспомнил, что собирался попросить его застрелить созу.

Вдруг мне показалось при короткой вспышке, что в темноте что-то мелькнуло.

— Кто-то идет, кажется.

— Да нет, показалось тебе. — Он встал и, облокотившись руками о барьер, стал всматриваться в темноту. — Нет никого.

— Все-таки идет сюда кто-то.

Мы увидели, что это Наила. Когда до нее оставалось несколько шагов, она остановилась перед лестницей и так и осталась там стоять. Она была вся мокрая, но почему-то не поднималась под навес. Я посмотрел на дядю Кямилу, а я не понимал, почему он молчит. Как будто не видит ее.

Он молча сделал шаг к лестнице, и я за ним, так вместе с ним и спустился вниз. Мы подошли к ней, дядя Кямил так и не сказал ни слова, даже когда она спросила:

— Хочешь, я уйду?

Вот чудак, не догадываются зайти в дом, стоят под проливным дождем и целуются, в трех шагах от своего собственного пустого дома. Смешно.

Я пошел домой, хоть бабушка меня так и не позвала. Она сидела и вязала. Я ей сказал, что Наила вернулась.

— Ну, что я тебе говорила? — сразу же обрадовалась бабушка. — Убедился! Верная примета.

Я просто никаких слов от неожиданности найти не смог, до того удивился.

— Бабушка, в чем же я убедился? Ты же говорила, обязательно плохое должно случиться, а тут к человеку жена вернулась. Чего же плохого?

— А чего хорошего? Вернулась. Что еще хуже этого с ним случиться может? С избытком хватит.

Стою и думаю — серьезно она говорит или шутит. Не стал с ней спорить. Я еще днем решил больше с ней не спорить — в конце концов не могут же все люди обо всем, что происходит на свете, думать одинаково.

В доме было тихо, бабушка тоже легла, только за стеной по-прежнему шелестел дождь. Мне очень хотелось что-то вспомнить, но, сколько я ни старался, не получалось. Во всем виноват был дождь — из-за него глаза сами собой закрываются.

— Бабушка, — из последних сил вспомнил, сказал я. — Что для человека самое главное в жизни?

— Главное? — переспросила Бабушка и задумалась надолго, я думал, что она уснула. — По-моему, — наконец сказала она, — в Гаялах это знает только один человек — Рашид. Утром у него спросишь, — посоветовала она, — а теперь спи и не задавай глупых вопросов. Покойной ночи. — Я не видел ее, но мне и не надо было, я точно чувствовал, что она улыбается, я-то ведь ее хорошо знаю.

Сова в эту ночь не прилетала.

Вадим Шефнер



Забывают

Забывают, забывают —
Будто свай забывают,
Чтобы строить новый дом,
О великом и о малом,
О любви, что миновала,
О тебе, о добром малом.
Забывают день за днем.
Забывают неумело
Скрип уключин ночью белой.
Вместе встреченный рассвет.
За делами, за вещами
Забывают, не прощая,
Все обиды прошлых лет.
Забывают торопливо,
Будто прыгают с обрыва
Иль накладывают жгут...
Забывают, забывают —
Будто клады зарывают,
Забывают — как сгорают.
Забывают — будто жгут.
Забывают кротко, нежно,
Обстоятельно, прилежно,
Без надежды и тоски.
Год за годом забывают —
Тихо-тихо обрывают
У ромашки лепестки.
Не печалься, друг сердечный:
Цепь забвенья — бесконечна,
Ты не первое звено.
Ты ведь тоже забываешь,
Забываешь, забываешь —
Будто якорь опускаешь
На таинственное дно.

Первая потеря

У Каннель-ярви, за болотом,
Где прочного укрыться нет,
Застигнутые арталетом,
Мы оба бросились в ювет.
А в спину ветер бьет горячий,
Удар — разрыв, удар — разрыв...
Здесь были шансы на удачу
Одни и те же у двоих.

Но мы судьбы не разделили,
Хоть вместе по дороге шли,—
И был один я в целом мире,
Когда я поднялся с земли.

Черта отсчета

Ты оглянись — видны чуть-чуть
В пыли дорожной
Те годы, что нельзя вернуть,
Но помнить можно.
Хорош был или не хорош
Рубеж исходный —
Ты от него всю жизнь идешь
В свое сегодня.
Куда б дорога ни вела,
В какие дали —
Черта отсчета пролегла
Тогда, в начале.

Трещинка

Посмотришь — на взморье огромная
льдина
Навеки с землею спилась воедино,
Их не различить ни течению, ни ветру,—
А тонкая трещинка еле заметна.
Ах, трещинка эта, смиренная с виду.
Тонка, словно лезвие давней обиды;
Упала на лед она черною нитью,
Сигналом разлуки, приказом к отплытию.
Хрустальный массив разделен и пронзан
От края до края, от верха до низа
Весеннею трещинкой, тонкой, как волос,—
Фактически льдина уже откололась.

В старой гостинице

Едва я дверь открыл, едва я свет зажег —
В испуге за окно отпрыгнул мрак
ночной,
И сводчатый старинный потолок,
Как белый парашют, раскрылся надо мной.

Надежный старый стол и лампа в сорок
ватт,
Скрипучий венский стул, протертый ворс
ковра...
Я сброшен, как десант, в таинственный
квадрат,
В загадочный просвет меж завтра и вчера.

О, скольким, кто теперь неслышным
и незрим,
Дарила отдых ты, усталая кровать!!
На ленту бы заснять все сны, что снились
им,—
Хватило бы песь шар земной окантовать.

Будь, Время, до утра податливо, как воск,
Бессонница, явись благословить
мой труд,—
Склонившись над строкой,
словесный строю мост
Меж теми, что ушли, и теми, что придут.

Сергей Мнацаканян



СТИХИ ИЗ АРМЕНИИ

1.

Клонился над обочиной сугроб,
и небосвод был полон равнодушья,
когда в неразберихе горных троп
ревел автобус, медленно идущий.
На повороте, где дорожный знак
водителю велит остановиться,
шли овцы, словно снег идет, впопыхах
к автобусу повертывая лица...
И шел пастух в пахахе до бровей,
которая качалась и дымилась,
посвистывая на дудочке своей,
что в мире ничего не изменилось...
А может быть, навсвистывая пастух
о переменах, ведомых кому-то,
о том, что время переводит дух,
когда его в горах заносит круто.
Шершавый снег царапался, как соль...
К живому на морозце прирастая,
из сумрака рвалась чужая боль,
врывалась в душу музыка простая.
Но мы, дыша той музыкой взлелеб,
постигнуть не могли и не умели,
о чем в неразберихе горных троп
свистел пастух на дедовской свирели.

2.

Я услышал как-то ночью
голос вкрадчивый и древний —
хриплый голос волчьей стаи
белоснежную зимой,
он метнулся к небосводу
над армянскою деревней,
над высокогорным снегом,
над историей самой...

В час ночной, когда закрыты
крепко-накрепко ворота,
эхо из-за поворота рвет потемки,
рвется вдаль...
Есть в промозглом этом крике
человеческое что-то:
и смиренность, и безумье, и страданье,
и печаль.

Отголосок волчьей стаи
сплелся с попевком поземки,

вслед отзывались овчарки,
и звериный этот вой,
отраженный небосводом,
словно зеркалом, негромко
проносился над деревней,
над моею головой.

Предместье

Этот белый покой, где молчат
одинокие люди.
Где! — за темной рекой, растворяясь
в автобусном гуде...
Хорошо на душе — омраченное небо
кружится,
хорошо на душе — и с тобою легко
подружиться.
Дорогая моя, я люблю, наконец-то
мы вместе:
грусть и нежность тая, мы с тобою
столкнулись в предместье.
Если б так навсегда — мимо белых домов
и пекарен
возвращаться туда, где твой облик
прекрасный печален!
Никуда не спешить, никогда не тужить
о прошедшем,
только жить, только жить, как заснеженный
сумрак прошепчет.
Ничего нет у нас, только нежные
наши надежды,
свет возлюбленных глаз и разбитые
стекла подъезда.
Нет у нас ничего — не об этом ли
в юности плакал! —
лишь мерцает черно твоя шубка —
потертый каракуль...
В жизни, может быть, раз выпадает
такая удача —
свет возлюбленных глаз, отголосок
счастливого плача.
Он уходит во тьму — и, вечерний покой
нарушая,
мы стремимся к нему, но не знаем:
удача — чужая.
Но затем и живем и качаемся
в красном трамвае,
чтоб однажды вдвоем оказаться,
моя дорогая...
Среди русских снегов вдруг врываемся
в душу такое,
что на веки веков нас лишает тоски
и покоя.

Романс зимой

Вовек с тобой расстаться не смогу:
порою встреленусь — дома в снегу,
подъезд, ступени, из-под двери свет —
из комнаты, тебя в которой нет.

Куда бы ни метнулся, ангел мой,
мне чудится, что всюду ты со мной,
твое дыхание, тихий голос твой,
твое тепло, шаги по мостовой.

Тебя в толпе устал я узнавать.
Вот снова предо мною снегопад
стирает белоснежным рукавом
оттенки за автобусным стеклом.

И стоит позабыть тебя на миг,
чтоб тотчас облик твой вдали возник.
Зачем же он — почти неразличим —
лицом обертывается чужим!

Не жалуясь, но все-таки скорбя,
спохватываюсь я, что нет тебя
со мною по утрам и вечерам,
и это горше всех моих утрат...

Так и живу — чуть-чуть не в полусне:
ты снова не даешь покоя мне...
Зне это ль с сотворения земли
любовью звали и за нею шли!

Ирина Снегова



Полустанки

И побегут полустанки,
Только мелькнет штукатурка,
Холм да — бетон в серебрянке —
Крашенные фигурки.

Братской могилки ограда,
Будто метнулась, и — нету,
Но уже вынесло кряду
Эту, и эту, и эту.

Смутны на зимней равнине,
Тени их поезду машут...
Как вам там спится под ними,
Бедные мальчишки наши!

Здесь хоть свистки да гуденья,
А на безлюдье, как в жмурки,
Кружатся в белой метели
Крашенные фигурки.

Кормушка

Веселая кормушка
Качается в песу,
Не нищенская кружка —
Пирушка на весу.

Веселая кормушка,
Ей любо, ей не лень,
Ей, видно, так и нужно
Качаться целый день,

Чтоб жданный и неожиданный
Стучал в ее ладонь —
И громкий, красноштаный,
И тихий, как огонь,

Чтоб взмыла и померкла,
Осыпавшись в снега,
Звенящим фейерверком
Синичья мелюзга.

Чтоб там, в словых патлах,
Как самосвал тяжел,
На пир зеленых дятлов
Зеленый дятел вел;

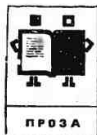
Чтоб столько и полстолько,
Чтоб писк, сорочий гром,
Чтоб розовая сойка
С лазоревым пером;

Чтоб поползень, с дельфиньей
Улыбкой, и снегирь...
Чтоб снег был очень синий
И очень белой ширь;

Как будто день — награда,
Как будто снят покров,
Как будто все как надо
В сем лучшем из миров.

Веря

Веря, Веря,
Улица резная.
Вяжет вязь колея.
И — как сроду, знаю.
Сплошь в снегу Веря,
В чистом, без помарок...
Веря, будто я,
Вся — тебе в подарок.
Это миг или век,
Завершен иль начат!
Стук машин, санок бег!
Милуют иль плачут!
Веря, Веря,
В белом — как венчалась...
Где! Когда!.. Жизнь моя
Вся перемешалась.
С колоколен ли стон,
Звон дымов из печек...
Синь овраг, розов склон —
Сумерки не вечер.
Веря — крутизна
Над рекой Протою,
Как из детского сна,
Блеск над головою,
В дальней черни леса —
Где-то да когда-то...
Да звезда, как слеза,
В зелени заката...
Вот и вся Веря,
Ах, какая жалость!..
Веря... Жизнь моя
Вся перемешалась.



Мария ПРИЛЕЖАЕВА

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА МАЯ

ПОВЕСТЬ

Часть вторая

В ДОРОГУ

19

Сельцо Иваньково сорок верст от города, двенадцать от разъезда. Дальний поезд мимо разъезда проходит без остановки. На товаро-пассажирский надежда плохая: вагоны забиты, люди стоят на площадках, виснут на подножках, лежат и сидят на крышах. Горожане едут в деревни менять одежду и всякую домашнюю утварь на хлеб.

В товаро-пассажирский не втиснешься, и пробовать нечего. Оставалось караулить в базарный день попутную подводу. Тоже непросто: на базар в страдную пору из деревень приезжают мало: покосы, жнитво, молотба. Однако карауль, другого выхода нет.

Полгода назад Катя не подозревала о существовании сельца Иванькова. Какое полгода! Всего месяц и услышала о нем, а теперь, что бы ни делала, чем ни была занята, из головы не уходит мысль об Иванькове.

Они отправятся туда с бабой-Кокой, когда подстерегут на базаре подводу. Приказ унаробраза подписан, Катина судьба решена.

Как ни удивительно, главную роль в ее судьбе сыграла Людмила Ивановна. Многие изменилось в судьбе и самой Людмилы Ивановны с того дня, когда она пришла в класс читать Тургенева вместо урока учителя физики, который, как и некоторые его коллеги, недовольные Советской властью, объявил саботаж. Людмила Ивановна саботаж не объявляла. Не могла она бросить своих гимназисток, которые после революции назывались «товарищи учащиеся». Не могла разлюбить двухэтажное белое здание бывшей гимназии, а ныне единой трудовой школы II ступени, длинные коридоры, классы, звонки, шумную толкотню перемен и различные события, которыми всегда полна школьная жизнь, а сейчас уж тем паче.

Необыкновенное событие произошло в один прекрасный день: Людмилу Ивановну вызвали в отдел народного образования.

Она и раньше трепетала перед начальством — при встрече с пухлой начальницей гимназии вся обмирала — и тут пошла в гороно, трепеща, ожидая разноса неизвестно за что.

А там вместо разноса:

— Вы честно работаете в советской школе, товарищ, мы вам доверяем, а потому получайте командировку, чтобы глубже усвоить направление нашей политики.

Рисунки
П. ДИКИСЕВНЧА.

Продолжение. Начало см. № 2 за 1975 год.

И послани на трехмесячные курсы по переподготовке учителей. Наверное, не бывало на свете курсанта усердней Людмила Ивановны! Она схватывала на занятиях каждое слово. До поздней ночи, не подняя головы, вычитала брошюры и лекционные записи и после трех месяцев неустойчивой, испуганной учебы вернулась в единую трудовую дружку человеком. Вернулась учительницей литературы. Подготовленной, правда, наскоро, но воодушевленной, на курсы. Бывшая красная дама, последнее лицо в гимназии, ниже ее разве швейцар да уборщицы, ей и за учительским столиком в классе не полагалось сидеть — сиди у стены, блюди дисциплину на чужих уроках. И вдруг...

Год за годом Людмила Ивановна довела класс до выпуска. В ее выпуске было шестеро мальчишек, появившихся в классе осенью восемнадцатого, когда, согласно декрету, женскую гимназию объединили с мужской и городским ремесленным училищем. Мальчишек Людмила Ивановна сторонила, мальчишеская психология была ей чужда. Девочки ближе, даже нынешние девочки, вступавшие в новую, еще не вполне понятную Людмиле Ивановне жизнь.

Раньше просто: для большинства один путь — кончила гимназию, жди жениха. А ныне в вестибюле и классах плакаты и лозунги. Призывают ненавидеть богатых, с мировой буржуазией беспощадно бороться, дружными рядами идти в социализм. А один лозунг едва не аршинными буквами словно вколачивал гвозди: «Кто не работает, тот не ест».

Снова Людмилу Ивановну вызвали к начальству, теперь в унаобраз, что значит, если перевести на нормальный русский язык, уездный отдел народного образования.

Снова страх: зачем! Для чего?

Зав. унаобразом, женщина средних лет, в солдатской гимнастерке и красной косынке, чадая из самозвонки махоркой, занятая по горло — звонил телефон, входила секретарша с бумагами, — зав. унаобразом, бегло их пробежав, размашисто, без долгих раздумий подписывала, а между тем, хрипло покашливая от табачного дыма, излагала Людмиле Ивановне суть дела.

— На школьном фронте в нашем уезде кризис. Видите карту уезда? Черные точки видите? Недействующие школы. Стоят на замке. Нет учителей. Сельская ребятня без учебы. И это, когда товарищ Ленин на Третьем съезде комсомола призвал молодое поколение учиться! А мы? Бельих гадов раздавили, интервентов отшвырнули почти отовсюду, конец войны видится, товарищ Ленин призывает к коммунизму и учиться, учиться, а у нас пол-уезда неграмотных. Позор! Делаем вывод: нужен учитель для села. Незамедлительно. Срочно. К концу уборки чтобы были на местах. Называйте, кто из девчат в вашем выпуске... Дур не надо. Давайте смысленных. Безусловно советских.

Людмилу Ивановну кинуло в жар и холод от такой сложной задачи, поставленной без обиняков, напрямик! Такой безумной ответственности! Записывая, она стала называть своих девочек, стараясь каждую обрисовать асторононе, ужасно боясь ошибиться. Эта с характером, не полюбится, пожалуй, детискам... У этой развитие не то.

— Развитие не то! А вы где были? — стукнула кулаком по столу зав. унаобразом. — Э-э, может, вы их от трудового фронта скрываете?

— Да разве я посмею, товарищ заведующая?

— Так неужто ни одной беспорной не вырастим?

Людмила Ивановна среди первых назвала Катю Бектышеву.

Так на Катином горизонте явилось сельцо Иваньково, в сорока верстах от города, в глубинке уезда. «Учили бесплатно? Обеды в школе кормили? Постылый суп из селедки да полوشка непомасленной чечевичной размазни, сыт не будешь, но и ног не протянешь, и за то спасибо по нынешнему тяжелому времени. Обязана отблагодарить народную власть? Долг народу отдаешь, не милость оказываешь». В таком духе поговорили с Катей в уездном отделе народного образования.

Правда, не встретил просьб и отказов, помогачели, напутствовали ласково. «Товарищ Бектышева, вы молодая смена, на вас опирается партия в деле просвещения народных масс, освобожденных от власти капитала и гнета царизма».

Единая трудовая позади. За годы учения Катя и Баба-Кока изголодались, обносились донельзя, почти до нитки распродали имущество. Письменный столик Бабы-Коки из красного дерева с потайными ящичками, маняще толстые книги в академически строгих и цветных переплетах, диван, пуховое одеяло, перина, даже икона в золоченом окладе — все за три с лишним года упылю в обмен на картошку, крупу и каравай хлеба.

Только две вещи берегла Баба-Кока пуще глаза: швейную машину и шкатулку с нарисованной по черному лаку несущейся тройкой, распустившей по ветру гривы.

В шкатулке хранились письма любимых. Последним был тот старший, почти молодой ученый, рассеянный, весь ушедший в науку, вместе с которым Ксения Васильевна увозила Фросю из Медян.

Все реже открывалась шкатулка. Реже перечитывала письма Ксения Васильевна. И весь тот день была молчалива.

Стала она вообще молчаливее. Убавилось прежней уверенности в Ксении Васильевне, и той спокойной важности нет. Она скупала о многих милых привычках, отнятых суровыми обстоятельствами жизни. О медном кофейнике, бархатном кресле с высокой спинкой, в котором любила отдохнуть. За день напоявшись в очередях, настаивая у керосинки, и как приятно утонуть в мягком кресле, привычно потянуться за книгой и, еще не начав чтение, еще с прикрытыми глазами, посидеть, отдыхая, а уже хорошо на душе! Хорошо, что от кафельной печки тянет теплом. Что не ломит поясницу, не слепнут глаза. Что ест Катя...

Ксения Васильевна не признавалась, как страшит ее сельцо Иваньково. Чужое, закинутое куда-то на край уезда. Темней осенних ночей. Зимние выюги, вой ветра в трубе. Может быть, волчий вой... Нет! Она не отпустит Катю одну. Нет, нет! Но на сердце скребло. Слишком круто поворачивалась жизнь. С прошлым порывалась последняя нить — Ксения Васильевна оставляла свой кров. И что же оказывается? Эта сводчатая келья ей дорога. Особенно с тех пор, как приехала Катя, вернее, Ксения Васильевна сама ее привезла, еще не зная, что из этого выйдет...

Сюда привезла и несчастную Фросю. Видно, пришла к Ксении Васильевне полная старость, воспоминания беспрестанно ведут ее в прошлое, а ведь это знак старости. Обрывки давних дней стоят в глазах, волнуют душу когда-то пережитые чувства.

Да, Фрося... Униженная, нищая, прибежала с ребенком:

— Ксения Васильевна, примите!

Пережитые унижения долго не отходили, не отпускали обиды. Баюкая Васеньку, тихонько, как старушка, раскачиваясь взад-вперед, Фрося долго позабыть не могла постылые Медяны.

— Ой, лихо мне было! Ой, Катенька, Ксения Васильевна, лихо! Дивилось, как не померла. Бить не били, разве невестка науськает братника под пьяную руку, а срамил, бесчестили на все село. Бабы сойдутся под окошком и слушают, а мне позорнее ихнее хуже смерти. Кабы не маленький, утопились бы в озере, там и тятя с мамой могилу нашли, и лежала бы с ними под илом...

Через несколько месяцев Фросе дали ордер в особняк купцов Гириных. Октябрьская революция реквизировала особняк. На то и Советская власть, чтобы из дворцов богачеве вон!

Понаставили перегородок в купеческих комнатах, поделили на клетки. Теснота в особняке! На общей кухне у плиты с утра до ночи споры и очереди сварить похлебку или вскипятить воды; в коридоре и на барских верандах играют, дерутся золотушные ребятишки, гам, шум. Но, хотя Фросе с Васенькой отвели в особняке всего лишь чулан с крохотным окошечком под потолок,— это был ее дом. Впервые у Фроси был свой дом, она в нем хозяйка, никто ее здесь тронуть не смел.

Ксения Васильевна не нравилась Фросин дом. Теснота, за перегородкой галдеж, окошечко крохотное, высоко, неба не увидишь.

Уезжая в Ивановку, она решила переселить Фросю в свою келью—апартаменты по сравнению с чуланом!

Еще тайлас у Ксении Васильевны осторожная мысль: если придется из деревни вернуться, где приютиться? Фрося пустит, как когда-то Ксения Васильевна пустила ее.

Но хитрая комбинация такая не получалась по советским законам. Давно келья не была собственно Ксении Васильевны и вообще перестала быть кельей. Не было больше ни келий, ни келейного корпуса. Была взята на учет горсоветом жилплощадь. «Успенский Девичий Первоклассный монастырь» закончил почти трехсотлетнее свое существование.

К ликвидации монастыря Ксения Васильевна отнеслась без сожаления. А на горсовет рассердилась. — У трудящейся гражданки Ефросинии Евстигнеевой есть угол,— сказали ей,— другие и угла не имеют, надо тех в первую очередь обеспечить жилплощадью.

Ксения Васильевна не согласилась с Советской властью в этом вопросе. Где это видно, чтобы угол считался устройством?

А слово «жилплощадь» прямо-таки возмущало ее.

— Все перекаивают, надо не надо. Есть людские названия: квартира, комната. И называли бы так! Нет, изобрели словечко «жилплощадь». Не уродство ли! Только бы новшества!

Были, впрочем, новшества, к которым Ксения Васильевна относилась с сочувствием. Например, детская консультация «Капля молока». Такое гуманное новшество с трогательным названием, конечно, одобряла Ксения Васильевна. А Фрося заливалась слезами.

— О моем Васеньке кто бы позаботился так! Нищими стали в Медянах. Хозяйство у бабки Степаниды порушилось, корова пала, и дошли до сумы. Кусками только и жили. Бабка Степанида пойдет христаричать и нас возьмет просить под окошком, с маленьким-то на руках больше жалеют. Ксения Васильевна, Катя, а стыдно!..

— Что было, то прошло,— строго останавливала Ксения Васильевна.— Довольно себя жалеть, нажалелась, за дело приниматься пора.

В горсовете подыскивали для Фроси подходящее дело: определили работать в «Капле молока» стряпухой.

Житие кончилось. Копали картошку. На гумнах молотили свежую рожь. Обозы, правда, недлинные—уезд не сильно был хлебороден,—свозили в назначенные места зерно по продналогу. Подводы тесно заставляли базарную площадь. Пока мужики управлялись со сдачей зерна, лошади хрупали сено, откачиваясь хвостами от кусачих осенних мух. Город пропах деревенскими запахами, обещавшими хлеб. Но норма по карточкам оставалась ничтожной—четыре фунта на человека.

...В хлебных местах, по всему Поволжью, с первого дня весны и до осени не выпадало дождей. За все лето ни тучки на выцветшем небе. Почва закаменела. Трещины глубиной в аршин изрезали твердую, как гранит, неживую, белесую землю. Листья увяли, травы высохли. На сотни верст выжженные солнцем поля. Голод. Безнадежный, неслыханный. Смерть.

В счастливых губерниях, не пораженных засухой, деревни понемногу оправлялись после пятилетней войны и разверстки, выметавшей хлеб и ее продукты подстилку для фронта и города. Разверстку отменили—оживали деревни.

Как весело видеть выезжающие из сел обозы с красным флажком на переднем возу, подводы, нагруженные гугими мешками с рожью; весело слышать сухой шорох зерна, струящегося в сухие амбаров,—излишек, оставленный по закону на житье, на довольство: как весело было бы!.. Но перед глазами, казня и мучая, стоит образ Поволжья. Но на вокзалах снимают с поездов обтянутые кожей скелеты изможденных людей, тронувшихся из выморочных мест за куском хлеба неизвестно куда... Но в газетах, как набат: «На помощь, товарищи! Миллионы едят глину вместо хлеба. Погибают каждый день, каждый час. А впереди еще осень, зима и весна. Товарищи, на помощь, на помощь!»

...В конце сентября Кате дали знать: завтра чуть свет будет оказия.

Все лето ждала, а пришел день—и налетел такой страх, руки дрожат, вещи валяются из рук. Вот так трусица!

Каждый день прибегала Фрося провожать. Суесть без толку, собирала вещи, примеряла, как увяжется в узел постель. Глаза распухли от слез. Ксения Васильевна, чтобы заглушить беспокойство, томившее, чем дальше, все больше, отчитывала Фросю:

— Заливаетесь! Словно в Америку провожает. Уйми слезы. Не на век расстанься, увидимся. «Капля молока» Васеньке не даст умереть, и ты кое-как в стряпухах прокормишься. А у нас с Катей другого выхода нет...

Ксения Васильевна не договорила, что она, старая Катина бабушка, устала от нужды, очередей, добытия правдами и неправдами десятка картофелин и фунта крупы. У них с Катей ничего нет, решительно ничего, все распродали, выменяли, и как дальше бороться, как жить? Хоть ложись и умирай.

Вслух Ксения Васильевна не произносила такие невеселые речи: жалела Катю. Худенькая, как прутик, Катя замкнулась. Значит, нелюбка на душе. О чем она думает?

«Я еду поневоле в деревню. Баба-Кока в городе не выдержит больше. Но я не хочу только спастись. Я еду в деревню, потому что должна платить долг. И хочу испытать, сильная я или нет. На что я способна? А вдруг что-то большое, яркое ждет меня? Но что? Все мечты.— бедные будни. Мне

надо зарабатывать на хлеб. Я должна кормить бабу-Коку, пришла моя очередь. Я должна и поэтому еду в сельцо Иваньково...

Так рассуждала Катя, реально и трезво, без романтических грез.

Утром к крыльцу подъехала телега, запряженная жеребцом, тяжелым, широкозадым, рыжей масти, с белой метиной на лбу и черной бахромою над копытами.

Ксения Васильевна и Катя ожидали, готовые в путь. И Фрося с Васенькой здесь.

На этот раз в самом деле проводы, никуда не денешься. И Фрося лихорадочно прижимала сынишку к груди, а Катя понимала, как грустно Фросе их прожывать.

Послышались быстрые шаги по ступенькам, и решительным шагом вошел человек лет тридцати пяти, сероглазый, русоволосый, простецкой, ничем не выделяющейся внешности. Синяя ксоворотка на нем вся слинявшая, пиджак мышиного цвета засален и вытерт, зато брюки галифе военного образца и начищенные сапоги, резко пахнущие детгем, придавали ему молодецкавый вид.

— Здравствуйте, хозяйский! Сюда ли попал?

— Если вам нужна учительница Екатерина Платонова бектышева, значит, сюда, — ответила Ксения Васильевна.

— Она и нужна. Будем знакомы: иваньковский предсельсовет Петр Игнатьич Смородин. Войну с четырнадцатого года прошел, с германцами воевал, опять же с белыми в гражданскую. Год тому отозвали на трудовой фронт. Мирную жизнь налаживать надо, сама не наладится. Стало быть, так. Будем знакомы.

Он протянул Ксению Васильевну руку. Кате и Фросе бегло кивнул.

— Садитесь, — предложила Ксения Васильевна.

И то сяду, — согласился он, опускаясь на единственный в комнате стул. — Советание было в уюме по вопросам налога, а в отделе образования задано бумагу с печатью вручили. Учительница в сельцо к нам назначена. Ждали-ждали, дождался. Раздобыл учительницу, от души отглаго. Иваньковская ребятня две зимы проболталась без школы. По революционному времени вроде бы и неловко в темноте прозябать, а что будешь делать? Наш-то добровольцем на гражданку ушел. По годам и уклониться бы можно, а совесть прятаться не велит. Школка Иваньковская при царском режиме церковноприходской была, поп командовал, наш Тихон Андреев за себя постоять не больно умел, в полном у попа подчинении. А тут будто подменили, откуда храбрость взялась! Вот как революционные идеи человека могут возмывать. Стало быть, Катерина Платонова...

— Собственно, я... — хотела перебить баба-Кока.

— Стало быть, без лишних слов, вы хоть и стероваты против учителя нашего, и он был в годах, а вы и вовсе ему в мамаши годитесь, однако грамотности, по всему видно, не занимает, а нам чего и надо... Одна запятая...

Предсельсовета оглядел келью, узкие окна с широкими подоконниками, сводчатый шатер потолка.

Медленно поглядил усы.

— Запятая, гм... да... Договориться надо на первой встрече, чтобы после конфликта не вышло. Монастырский дух нам нежелателен. Божественное прочь, наотрез. Такие наши условия, Катерина Платонова.

— Послушайте, вы ошибаетесь...

— Очень даже прекрасно, если ошибся. Условилась, стало быть, так: жизнь наша в корне переменялась на новое. Главное дело, с Советской властью

держат нерушимый контакт. Я вам затем объясню, что в ваших летах пережитки прошлого, Катерина Платонова...

Тут Катя встала. Она неслышно сидела в уголке. На месте ее уютного дивана теперь за отсутствием мебели воздужен круглый чурбашек, накрытый пестрой тряпицей, — на этом чурбашке она и сидела, пока предсельсовета высказывался. Она встала для самой себя неожиданно. Что-то подняло ее. Баба-Кока увидела: бледна, губы вздрагивают, кулаки сжаты для смелости.

— Я Катерина Платонова.

Председатель ошел. Оценепение нашло на него. Не веря глазам, глядел на тоненькую девчонку, сердито насупленную, с двумя упавшими на плечи косичками. Короткие толстые косички на концах завивались в колечки.

— Я Катерина Платонова.

Он молчал.

— Если я вам не гоужсь, давайте бумагу, разорву — и кончен разговор.

Председатель молчал.

— Давайте вашу бумагу.

— Не моя бумага. Бумага не простая, с печатью.

— Пусть с печатью. Если я вам не гоужсь...

— Гм. Наверно, и семидцати нет?

— Скоро исполнится.

Председатель медленно гладил большим пальцем влево и вправо усы и мысленно обсуждал ситуацию: «Влип. Одна стара, вся в пережитках, но пережитки возьмем под контроль, справимся, зато образованность за версту видно. Другая... О чем говорить! Пигалица, длинноногая цапля, что еще в ней? Удружили в нароbrate, спихнули с рук, им и горюшка мало».

— Ты хоть грамоту-то знаешь? — угрюмо брови, спросил он.

— Школу второй ступени окончила.

— Ну, а с ребятами можешь... как это... если сказать по-научному, про педагогичку чуток понимаешь?

Катя не ответила, а Ксения Васильевна, слушавшая его вопросы, то бледнея, то зло вспыхивая, вздрог превратилась в прежнюю гордую, даже надменную даму.

— Вам, представителю Советской власти, следует знать, что учительнице не тыкают, если хотят, чтобы ученики ее уважали. И еще доложу, едем мы к вам с нелегким сердцем, а вы чем бы встретить приветливо...

— И вы к нам в сельцо? — оживился он.

— Я бабушка Екатерины Платоновны и, конечно, ее не покину, тем более в таких трудных обстоятельствах.

— Каких-таких обстоятельствах?! Надумают еще обстоятельства! — Он вскопчил. — Посидели, обычный справили, время трогаться. Сорок верст — дорога немалая. Имущество ваше все тут?

Он легко подхватил корзину и узел с постелью, задержался, еще раз испытующе взглянул на девчонку с очень уж строгим взглядом из-под сердитых бровей и двумя короткими толстыми косичками на плечах. Из-за этих косичек она казалась совершенной, совершенной девчонкой. Вдохнул. Ладно, хоть бабушка с ней.

Уложил вещи в задок телеги. Подбил сено. Вынесил стул — подсадить Ксению Васильевну. Катя без стула забралась.

— Но-о, Лыцарь! — тронул Петр Игнатьевич.

Катя и баба-Кока, прощаясь, замахали платками. Фрося за руку с Васенькой печально стояла на крыльце.

Слезы застилали Кате глаза, она видела всех, как сквозь туман.

Тде-то горели леса. Сухой ветер налетал рывками, неся едкий запах гари. Сизая мгла завесила небо. Изредка сквозь мглу неясно выступал блекло-желтый круг солнца и снова тонул в серой пелене. Жаром дышало небо. Даже в лесу было душно. Облака сизого дыма, прилетавшего с ветром, висли между деревьями, цепляясь за ветки. Тревога сосет сердце от этой дынной мглы, угарного ветра и зноя. А ведь осень, конец сентября.

— От засухи горим, — сказал председатель.

Пошевелил вожжами. Жеребец легко шел укатанной дорогой среди сжатых полей. Позади телеги клубилась белая туча пыли.

— Нам сейчас засуха не гибель, с весны дожди прошли да и летом в норме выпали, — сказал председатель. — А в Поволжье беда. Страх, какая беда! — Он обернулся к примолкшим спутникам. — Народу повымерло, ужасть! Стариков косой косит. И среднее население. А дальше еще похужеет, от зимы милости не жди, мужика лето кормит. Ребятишек больно уж жалко. В газете считаешь, волосы дыбом...

— У вас дети есть? — спросила Ксения Васильевна. — Троица. Старший нынче в школу пойдет, науки изучать у Катерины Платоновны.

Он с любопытством покосился на Катю. Тут бы ей и вступить в разговор и войти в отношения, во всяком случае, как-то себя с положительной стороны показать, а она отвела глаза и сдержанно ответила:

— Наверное, не ваш один придет в школу.

— Гм! — неопределенно хмыкнул председатель. И подумал: «Не ловчит».

Он одобрял, что она не ловчит. Вообще председателю нравилось, что везет в Ивановскую школу бабушку с внучкой. Не просто учительницу, положительную, в возрасте, как ожидал, как в других школах, а именно внучку с бабушкой. Причем бабушка, несчастливая и важная, с высоко поднятой головой и темными невылинявшими глазами, особенно прилась ему по душе. Жаль, что учительницей едет не она, а девочка. Но он надеялся, что такая культурная, по всему видно, разумная бабка не даст девочке сплеховать. Словом, предсельсовета считал себя в выигрыше.

— Но-о, Лыцарь! — подхлестнул вожжей жеребца.

И так как пассажиры помалкивали, что Петру Игнатьевичу было понятно — перелом судьбы, переживания, живые же люди! — беседа вел он. Не с каждым он так откровенно при первом знакомстве делился заботами своей нелегкой председателской жизни. Но Ксения Васильевна расположила его. Слушает хорошо. Участвовало, а без жалости. С большим интересом слушает!

Что касается учительницы, ее коротенькие косички на плечах мешали Петру Игнатьевичу отнестись к ней всерьез. После, может, привыкнет, а пока, беседа, обращался исключительно к Ксении Васильевне.

— Командировали, значит, из армии на трудовой фронт, как нужда подказала. Спасибо не на чужбину — на родину. Ивановскую землю деды и прадеды пахали, здесь каждая жемца и овражек знакомы, и пришло, значит, время налаживать жизнь. А она вся в разрухе. Хлеба недосыта, о прочем и говорить не приходится. Оборвалась деревня, голая, босая. Да разве об одежонке горюем! Инвентарь износился, вот нужда так нужда. Без плуга-то ступай попоши. Опять же колесам позарез нужен деготь для смазки. А его нет. Вы не судите, что у меня сапоги солнцем сияют. Авторитет требует. Председателю без авторитета нельзя. Ну, урвешь чуток дегтю от



своей же телеги... А главное, что декретом ВЦИК 21 марта 1921 года Советская власть перевела деревню на налог. Чтоб народ обеспечить и государство поднять. Так товарищ Ленин на Десятном партийном съезде высказывался. Да что объяснять, небось, в газетах читали, знаете... Кто не знает! Заграница, и та подивилась. Дивись не дивись, а жизнь свое берет и доказывает. Стало быть, до сей поры мы к задачам войны приноравливались. А теперь надо приноравливать к задачам мирного времени. Верно Ленин подметил! На все сто процентов! На то он и Ленин, вождь революционного класса. Есть у товарища Владимира Ильича поперечники, речисты, только языками супротив дела спешат. Настоящий большевик не за теми, за товарищем Лениным следует... Теперь что же выходит? Опять же новая на деревню нагрузка в смысле изменения политики. Приноравливайся, Петр Игнатич Смородин! Крути головой, как по справедливости на крестьянские двора налог разложить. Не один Смородин мозгами раскидывает. Партийная ячейка и сельсовет целиком в это дело вошли, а ты все от заботы ногами не спишь... Опять же круговую ответственность закон отменил. Это как понимать? Так и понимаем, что каждый крестьянин за себя отвечает, а ты, ежели ты Советская власть на селе, гляди в оба, чтоб государство сполна обеспечить налог, утечки чтоб не было. А не в каждом до конца озвонена сознательность. Эх, молодое наше государство, делов-то, делов-то! Только бы покрепче на ноги стать, а тут напасть — половина губерний пропадает от голода. Задумаетесь с Головой вроде все усвоил, а на практике не все как по маслу.

— Петр Игнатич! — сказала Ксения Васильевна. — На вас, я поняла, лежит большое государственное дело, и мы с Катей... Катериной Платоновной хотели бы помочь, но не умеем, горожанки, далеки от деревни. Но мы обещаем, за школу не беспокойтеся, да, Катя?

...А по сторонам дороги, то близко, то отступя к горизонту, светятся свозы мглистую дымку оранжевым светом, стояли леса. В торжественной осенней красе стояли леса. Черные жирные полосы пара перемежаются бархатной зеленью юзики. Белеют высушенные солнцем, высушенные дождиком стерни. Пестрое стадо мирно пасется на выгоне. И жарко горят, огненными кострами пылают под окнами встречных деревенек рябины...

Русская деревенская осень! Даже когда дали зашевели дымной мглой далеких пожаров, как полна ты очарования и прелести!

Телегу и на ровной дороге трясло, на ухабах и во все подкидывало. Катя с бесполокостом видела: баба-Кока устала, а в лице умиротворенность, и, кажется, даже морщины разгладились.

— Но-о, Лыцарь!

До сельца Иванкова добрались поздней ночью. Смутно виднелись темные избы. Улица была широка, и деревня казалась пустынной, будто покинутой. Ни огонька.

К ночи мгла рассеялась или пожары остались в стороне — в черном бездонном небе светились звезды. Отчетливо опрокинулся ковш Большой Медведицы. Серебряной пылью рассыпался Млечный Путь. Царственное небо висело над ночным сельцом Иванковым. И тишина.

Впрочем, нет. Где-то во дворе брехнула собака. Как по сигналу, из десятков дворов хриплым и залихватным лаем отозвались разбужженные колесами псы. Ночь ожила. Но нигде не засветилось окошко. Избы по-прежнему стояли темно и безмолвно.

Посредине села в темноте белела церковь. Против церкви, чуть поодаль, также среди улицы, дом

под железной крышей. Петр Игнатич остановил жеребца возле этого дома. Одиноко, по-сиротски глядел он, без двора на задах для скотины, как у всех изб; без нутов сирени или акации в палисаднике, только у крыльца как-то нелепо и странно, высоко вверх вытянулась длинная тонкая береза с голым стволком и пучком ветвей на макушке.

Школа. Одна-одинешенка посреди широкой улицы, адалеке от жилья.

Петр Игнатич отвер замком на двери, взял с телеги пожитки.

— Входите.

Они вошли в сени. Не видно ни зги. Петр Игнатич чиркнул спичкой. На секунду осветились бревенчатые стены, шербатый некрашеный пол. Спичка погасла. Темнота стала черней.

— Шагайте, не робейте, не спотыкнетесь. Давайте руку.

Петр Игнатич взял за руку Ксению Васильевну, она Катю, и так на ощупь, шаря ногами половицы, они вошли в какое-то другое помещение.

— Кухня, — сказал Петр Игнатич, — а по ту сторону сеней класс, завтра осмотрите. Тут в кухне русская печка. Натопишь — жарится. Нынче наверняка-то не ждали, не топлено. Из кухни в комнату ход.

Он ввел их в продолговатую комнату. Здесь было светлее от звезд. В три окна вдоль стены глядело звездное небо. Стены и здесь бревенчатые. Один угол занимала голландская печка.

— Стало быть, так, здесь будете жить, — сказал Петр Игнатич. — Кровать одна. Учителнице одну ждали, узка, однако, будет для двоих. Нынче ночь перебьется, а завтра дам команду, топчан смастерят, железной кровати другой по всей деревне не сыщешь, и эту у пола реквизируют. На топчане тоже неплохо, сенник свежим сеном набьете, как хорошо! Поужинать запасились? Вода на кухне. Дайка, проверю, есть ли вода.

Он быстро вышел, что-то повалилось, загремело за стенкой; он тотчас вернулся.

— Цельное ведро. Вода у нас колодезная, считай, ключевая. Авдотья — толковая деваха, хвалю — запаслась. Вот так. Чем богаты. Крыс в школе нет, не пугайтесь. И мышам поживиться нечем. Так что прощайте, спокойной сна.

Он ушел, стуча сапогами.

— Но-о, Лыцарь! — послышалось с улицы.

— Катя! — позвала Ксения Васильевна. — Давай устраиваться, Катя. Господи, что же это?..

У нее сорвался голос. Катя в потемках шагнула, ощупью нашла бабу-Кокку, уткнулась в плечо.

— Баба-Кока, что это, что это? Темно, холодно, жутко. Всё чужое. А если бы вас не было? Если бы я одна?.. Не умею жить, не могу, не умею. Баба-Кока, зачем мы приехали сюда? В какое-то чужое далекое место! Бросили нас, никому до нас нет дела. Почему Клава Пирожникова осталась в городе, устроилась секретаршей с пайком? У них даже свет электрический есть. А Лина заведует красным уголком, но ведь в своем селе, дома, а мы?.. А Надька Гирина с отцом во Францию...

Она испуганно и жалобно плакала. Баба-Кока глядела ее растрепанное, спутанное ветром волосы и не отвечала, потому что боялась, голос снова сорвется. Как бы и ей не заплакать.

Вдруг под окномом раздался громовой:

— Тррр-у-у! Дурак стороосовый, стою!

В комнату, стуча сапогами, вбежал председатель. Налетел на дверной косяк, чертыхнулся:

— Черт! Спички забыл вам оставить. У нас со спичками плохо, полкоробка как-нибудь выделю, зря-то не жгите, жалейте. А, да что говорить, ежели

голова на плечах, соображаете сами... А еще...— Он покашлял, помаялся.—...А еще, позвал бы к себе ночевать, да положить негде, избенка тесна, пятеро нас, сами впопалку спим. Вы думаете, сельсоветом да крестьянским обществом управлять принцев из дворцов приглашают? Как же! Нужна Советская власть богачам! Советская власть есть диктатура пролетариата плюс крестьянская беднота. Бедней моей избы во всем Ивановское нст. Добавьте пролетарскую идеиность — это я самый и есть! Значит, прочитана для ознакомления лекция. А вы духом не падайте. Приобретите, еще и полюбится. Завтра школьная сторожиха Авдотья к вам приблизит. Обижена девка судьбой, немая, убогая, а безотказная, за ласковое слово расшибется в лепешку. Ну, ночуйте как уж нибуды, с грехом пополам. Утро вечера мудренее.

И под окном бодро раскатилось на все ночное Иваново:

— Лицарь, но-о!
Некоторое время баба-Кока и Катя молчали.
— Где ты там! — позвала Ксения Васильевна.
— Не буду плакать, — ответила Катя.
— Францию вспомнила! — упрекнула в потемках Ксения Васильевна.
— баба-Кока, не браните меня. Не браните, забудьте.

— Чего уж там! Давай на ночевку устраивайтесь; уезл с постелью развязывай. Хлебка по кусочку на ужин съедим. Спички зря тратить не будем. Хныкать не будем. Крыша над головой есть! У Робинзона поначалу и крыши не было. Утро вечера мудренее. С новосельем, учительница!

22

Навреля Катю в Ивановскую школу, в уездном отделе народного образования, кроме напутственных слов, возбудили тоненькой брошюркой под названием «Религия — опиум для народа». Других пособий не было.

— Раскватали. Потянулась учительская масса к новому слову, добились перелома! — с гордостью сообщила Кате в унаробразе. — На данный момент центральной задачей поставлено партией перед профсоюзом, комсомолом и работниками просвещения — ликвидация неграмотности. Товарищ Бактышев, держите курс на выполнение центральной задачи. И всесторонне развивайте юное поколение крестьянского класса.

С таким напутствием отправили Катю в неизвестное плавание.

Какется, ясно? Учи грамоте и развивай всесторонне. Но как? Вот этого и не объясняли в унаробразе. Непрерывно шли совещания, заседания, обсуждения планов, программ, и чего-то еще, и чего-то еще, а попросту рассказать новичку, как подступиться к уроку, не хватило догадки.

Как? Она перерыла школьный шкаф с учебниками. Бедный шкаф! Облезлый, без запора — приходилось всовывать меж дверцами закладку из газеты, чтобы не распахивались нестезею. На пыльных полках два десятка задачник, букварей и книг для чтения Ушинского, несколько грифельных досок и тощая стопка тетрадей, выданных Петру Игнатьевичу в уно по разверстке. Больше не будет, не ждите.

В тот сентябрьский день конца месяца, какой назначен был сельсоветом для начала занятий, Катя и баба-Кока проснулись, естественно, рано. Впро-

чем, сколько времени, неизвестно. Часов нет, еще в прошлом году обменяли на три фунта пшена.

Должно быть, солнце взошло недавно: на востоке рдела полоска зари, разливаясь выше нежно-розовым светом; голубизна неба была еще бледной. Утро едва начиналось.

— Что же, приспособимся узнавать время по солнцу, — неунывающе сказала баба-Кока.

Катя вышла на кухню. Там из окошка видно крыльцо. Так и есть, у крыльца, возле длинной, тонкой безрези с золотой в луче солнца листовой на макушке, собралась толпа робятишек. Один, два, три... пятнадцать, двадцать. Больше двадцати, бог ты мой! Солнце чуть встало, а они все уже тут.

Катя разглядывала их, прятаясь за оконный косяк. Девочки в платках, немногие в ситцевых платьях, а больше в холщовых юбках и кофтах, с узенькой вышивкой красным и черным крестом. Мальчишки в холщовых портах, без ремней. Вместо ремня бечевка. А то просто невыпуск рубаха.

Надо отодвинуть в сенях дверной засов, не держать же их у крыльца.

— Здравствуйте, Катерина Платоновна!

Разноголосо, нестройно:

— Здравствуйте, Катерина Платоновна.

Полные любознательности, они ожидали, что будет. За два года привычки, школа стоит под замком, отпирившимся только для сельских сходов или в каких-то особых случаях.

Впервые школа открылась для них. Они вступали в класс тихо, робея, и садились, где скажет учительница.

Три ряда черных, облезлых парт. Класс большой, темный. Не располагающий к жизнерадостным мыслям.

Но у Кати продумано все. Обсуждено с бабой-Кокоей каждое слово, даже запланированы шутки.

— Младшие сядут здесь, ближе к окнам. Здесь светлее, садитесь. Старшим ряд первый от входа. Средние в среднем ряду. Складно: средние в среднем!

Немудрящая шутка. Видно, они и не поняли. Без улыбки занимают места. Сидят. Как неживые. А ведь живые. По глазам видно, живые.

Уф! Начало положено. Смелей, Катерина Платоновна! Вглядись, какие славные рожицы, пыливо-внимательные! Не мигая, изучают учительницу. Как идет, как стоит. Красива ли? В каком платье?

Платье шито-перешито бабой-Кокоей из старого, а ничего, держится: темно-лиловое, с серым газовым шарфиком. Сущий пукатк этот шарфик на шее, а в нем самая необыкновенность и есть. И какие умницы с бабой-Кокоей: догадались изменить Кате прическу. Расплели косочки. Волосы на затылке перевязали черным шнурком (ленточки нет) — пучок не пучок, гривка не гривка — во всяком случае, больше подходит учительнице, чем две коротких косицы.

Хотелось Кате перед встречей с ребятиками поглядеться в зеркало, но зеркала тоже нет. Даже окошка зеркала нет.

Верте не верте, пришлось глядеться в ведро с водой, а это уж почти что из сказки об Аленушке или другой героине фольклора.

— Хорошо! — одобрила баба-Кока.

Милые ребята! Неизвестно, как пойдут дальше, а начало обнадевало Катю: дисциплина в Ивановской школе идеальная. Может быть, потому такими милыми ей и показались ребята?

Ужасно трудно: три класса в одной комнате. Сообразно, как их одновременно учить.

— Вы будете решать задачу номер сто тридцать два, — велела Катерина Платоновна старшим, разда-



воя заеднички по одному на двоих.— Будете решать задачу в уме. Поняли?

Среди́м она дала старые газеты, собранные когда-то учителем Тихоном Андреевичем, слезавшиеся в шкафу до желтизны. Эта оригинальная идея пришла бабе-Косе.

— Голь на выдумки хитра,— заявила Ксения Васильевна и подсказала Кате газеты.

Это значит, сре́дние будут отрывать от газет белые поля. Осторожно, осторожно. Заготовят полоски. Зачем? Как зачем! Вместо тетрадей.

Тетради лежали в шкафу. Чистенькие, в клетку и косую линейку. Аккуратная стопка. Довольно тощая стопка, едва ли хватит на ученика по тетрадке, но в целом — сокровище! У Кети дух захватывало при виде тетрадей. Как хочется взять в руки, открыть, разглядеть по гибку и писать на этой чистой, прекрасной бумаге!

О чем? Катя не знала. Что-то бродило в душе. Конечно, она не решится, никогда не станет писать дурные повести, как без конца сочиняла в далеком отрочестве. Она не писательница. У нее нет таланта. Что же томит и тревожит ее? Печаль? Но о чем? Мечта? О чем я мечтаю? Чего хочу? Если бы знали!

Вон в бледном небе летит белое облако с розовыми кружевными краями. Что в этом облаке? Говорят, если долго глядеть, увидишь доброго волшеб-

ника в короне на седой голове. Или женщина в развевающейся одежде движется, скользит, ускользает. Или выплывет из синевы океана тяжелый и вместе легкий блуждающий айсберг.

Но сколько ни глядела Катя на облако, ни волшебника, ни айсберга не видела. Что же с ней? Почему она тоже летит? Кого-то любит. Над кем-то плачет. К кому-то тянутся руки...

Катя опомнилась. Куда ее понесло при виде тетрадей в школьном шкафу? Чуть не соблазнилась украсть учебническую тетрадку...

Младшие ждали. Первый день в школе. Учительница их оставила, листает у шкафа тетрадь. Наверное, так надо. Они ждали.

Учительница вернулась к ним с какой-то смущенной и виноватой улыбкой. Качнула головой, словно прогоняя ненужную и напрасную мысль. Качнулась перевязанная шнурком у затылка волнистая метелка волос.

— Ребята, вы хотите научиться грамоте?

— Хоти-и-и! — несмело протянулось в ответ.

— Я научу вас читать и писать. Вы прочитаете много книг. Есть книги, где показана вся жизнь, вся! Вы узнаете умных и великих людей. И плохих узнаете. В жизни не только благородные люди, есть и плохие. Надо научиться узнавать людей. Книги научат вас любить и ненавидеть, чувствовать. Чувствовать! — выразительно повторила она.— Вы увидите разные

земли и страны. И смешные книги бывают, обхохочешься! Но сначала надо потрудиться, одолеть грамоту и многое еще. Согласны?

— Со-о-глас-ны-и.

— Таким образом,— приступила Катя к уроку,— сегодня будем овладевать буквой «И». Почему буквой «И»? Ее легче писать. Начнем с легкого. Следите внимательно.

Она взяла мел и подошла к доске, укрепленной на двух здоровенных деревянных ногах и третьей складной, позади. Ребята следили за учительницей восхищенными взглядами, словно в предчувствии чуда.

— Пишу палочку,— говорила Катя ясным и нежным голосом, потому что сердце ее заливало нежность к малышам — русоголовые, с выгоревшими добела бровками, круглыми носами в рыжих веснушках. Вон один — навалился грудью на парту, рот раскрасил, передних зубов нет. До чего смешон! — Тебя как зовут?

— Алёха.

— А фамилия?

— Смородин.

Батюшки мои. Алёха Смородин! Петра Игнатьевича старший. Беззубый. Волосы на макушке веерочком. Мужичок с ноготок. Юное поколение крестьянского класса.

— Будешь прилежно учиться, Алёха?

— А то!

— Итак, пишем палочку. Ведем сверху вниз. Внизу закруглем. Тянем тоненько вверх. Еще палочка. И еще закруглем. И что же? Перед нами буква «И»,— радостно объяснила Катя.— Теперь пишите сами букву «И» на грифельных досках.

Младшие заскрипели грифельми. Довольная своим методом обучения, Катя пошла вдоль парт наблюдать, как идет у малышей дело. Ахнула. Вот так караули!

— Стирайте сейчас же. Плохо написали. Пишите снова, ещ!

Снова караули. Некрасивее, неуклюжее представить нельзя. Удивительные неумехи е беззубые младшие! Бестолковые, может быть, просто тупые!

— Как ты удержишь грифель? Нельзя держать в кулаке! Разве пишут кулаком? Так надо держать. Смотрите все. Вот так.

Она рассердилась. Они испугались, притихли, боялись дышать. Ей стало стыдно. Сама виновата: не сообразила научить сначала держать грифель. Ведь они первый день в школе. Однако хлопот с ними! Наверное, минут пятнадцать, а может быть, больше она учила их держать грифель.

Об остальных учениках она позабыла, все внимание ушло на младших, хоть бы с младшими справиться.

К счастью, дисциплина в Ивановской школе отличная. Все занимаются своими делами. Серьезно, истоно. По сторонам не gazeют.

Ох, трудно овладеть буквой «И»! Ох, трудно держать как следует грифель маленькими, непривычными пальцами! Билась, билась Катя, а младшие так и не освоили букву. Палочки валялись набок, нажима не получалось, получалось уродство.

Только одна девочка с бледным, тоненьким личиком, светлыми, как спелый лен, волосами, аккуратно запроверенными за уши, без слова протянула грифельную доску показать ровные, даже красивые строчки.

— Молодец! — обрадовалась Катя, ласково погладила ее лыжные волосики.— Как зовут?

— Таика.

Наверное, пора отпустить младших на перемену, тем более что средние кончили заговаривать бе-

лые полоски из газет, а старшие решили в уме задачку.

— Уражняйтесь,— велела Катя младшим, не решаясь отпустить их на перемену, не зная, как они себя поведут на свободе.

Средние терпеливо ждали, когда учительница подойдет, но она притворилась, что не замечает их ожидания, и направилась к старшим. Пора проверить задачу.

Она вызвала ученика, не узнав имени, не разглядев даже как следует.

— Иди к доске ты.

Двое других подтащили доску ближе к старшим, их первому от входа ряду.

Ученик писал на доске цифры, сложение, умножение и прочее, бойко постукивая мелом о доску. Видно, он был доволен, что вызвали, и готовился смело объяснить решение задачи. Катя присела на край парты. «Хорошо, хорошо,— радостно пело сердце.— Ничего, что малыши не овладели буквой «И», в конце концов овладеют. Зато старшие-то как здорово соображают!»

— Землевладелец продал пятьсот десятин земли,— заключая задачку, стукнул мелом о доску ученик. «Отжившее. Вздор! Какой-то землевладелец, где они, землевладельцы? Устарелый задачник. Надо сказать Петру Игнатьевичу: неужели нельзя раздобыть новый, советский!» — подумала Катя.

Она увидела протянутую руку. Кто-то из старших поднялся, стараясь привлечь внимание учительницы.

— Что ты? — спросила Катя, не чуя беды. Напротив, радуясь сообразительности и бойкости старших.

— Он неверно решил,— сказал мальчик.— Землевладелец продал четыреста десятин.

— Как четыреста! Что такое ты говоришь!

Катя почувствовала, сердце ёкнуло, заколотилось, в глазах зарябило, все задрожало внутри — так она растерялась. Она машинально следила, как ученик стукает мелом о доску, но не вникала в смысл действий. Доверилась ученику. Что он там наreshал! Неужели не пятьсот, а четыреста? Проклятый землевладелец! Неужели продал четыреста? Катя не понимала задачку. Что делать? Она погибала.

— Он решил верно. Землевладелец продал пятьсот десятин,— сказала не своим, казенным голосом.

Старшие принялись торопливо листать задачник, один на двоих, сверяясь на последней странице с ответом. А мальчик, первым поднявший руку, ткнул палец в страничку и, удивляясь и смущаясь, сказал: — Здесь, в ответе, написано четыреста.

Тишина наступила в классе. Младшие, средние, старшие — все безмолвно устали глаза на учительницу, ожидая развязки. Ужас, ужас! Что делать? Скорее найти выход, никто не поможет, спасайся сама.

— В задачке неправильный ответ,— сказала Катя, не видя, не различая младших, средних и старших своих учеников.

Все лица слились в одно, расплывчатое, зыбкое и осуждающее. Грудь давило отчаяние. Но что случилось? Почему ошиблась? Ведь вчера она сама решила задачку.

Вдруг точно молнией ударило: она задала им не ту задачку. Она задала номер 132-й, а вчера, готовясь к уроку, решила и вызубрила другую, номер 131-й. А там вовсе не землевладелец. Там «Один путешественник отправился в путь»...

Несчастная! Перепутала, назвала не тот номер задачи. Перепутала землевладельца, продающего десятины, с путешественником! Смотрела, что пишется на доске, и не видела. Размечталась... И крах, полный крах!

— Урок окончен,— сказала Катя.— На сегодня занятия окончились. Идите домой.

— **Б**аба-Кока, ау!

Так начинались воскресные утра. Можно вволю понежиться на сеннике. Сенник слезался, потерял первоначальную пышность, но стал даже мягче, уютнее. Однако в будни не разлежишься. В будние дни Катя вскакивала с рассветом: ученики чуть не затепоно дождируются в классе! Они с бабой-Коккой и входную дверь не запирали, чтобы не морозить ребят на улице. Ох, прилежные иваньковские школьники! Прямо какие-то выдуманные. Разве сравнишь с учительницей Катериной Платоновной, когда она сама, совсем недавно, ходила в школу второй ступени главным образом затем, чтобы рисовать плакаты и участвовать в драматическом и литературном кружке! Да еще за миской похлебки. Иваньковские школьники в будние дни учительнице лишнего поспать не дадут.

Зато воскресья — е! Катя выглянула из-под одеяла. Знакомая комната. Уже привычная комната, обжитая, шагов десять в длину. У одной стены Катин топчан упирается изножем в изразцовую печь; у другой железная кровать бабы-Кокки. Между топчаном и кроватью Катин стол с учебниками и невысокое сооружение вроде тумбы, сколоченной из свежего теса, — кажется, еще дышит свежим запахом зимнего леса.

Тумбу сколотил отец Тайки, той светленькой девочки с зачесанными за уши льяными волосками, которая на первом же уроке показала себя лучшей ученицей из младших. На тумбу баба-Кока поставила швейную машину и шьет иваньковским девушкам платья и кофты. Зарабатывает кринку молока или горшочек топленого масла, гордясь, что кормит себя да отчасти и Катю.

«Ау!» — хотела позвать Катя. Но не позвала.

Баба-Кока успела одеться, сделала свою обычную прическу в виде венца надо лбом, для чего подкалывается под волосы специальный валик, чтобы поднять волосы выше, и сидела на табурете у печки. Что такое? Почему с утра топит печь? Обычно они у горщей печи сумерничают, пока раскаленные угли не начнут угасая, темнеть.

— Баба-Кока, почему вы топите утром?

Ксения Васильевна подошла, села в ногах на топчан. Странно — на пальце кольцо. Она давно не носила кольцо. Как чудесно переливается густым цветом багряный рубин! Живет. Тот потемнел, то просиял чистым, радостно-красным.

— Не тепло, сжигаю разное ненужное... как-то грустно сказала Ксения Васильевна.— Нахлынуло прошлое. Накатило неизвестно с чего. А годы проходят, о смерти подумать пора.

— Что вы, баба-Кока! — воскликнула Катя, рывком садясь на постели.— Что вы говорите такое!

Слезы задрожали в голосе, лицо искривилось; она стала дурноухой, жалкой девочкой, с нечесаными волосами, рассыпанными по плечам.

Баба-Кока ласково погладила голое плечо Кати, припрыка одеялом.

— Ну, ну. Не будем об этом. Я смерти не боюсь. Заболеть страшно. Хахтит паралич, вот это страх! И об этом не думаю. И о смерти не думаю. Из гордости не желаю думать о смерти. Не понимаешь? Как это из гордости? Да так... Не собираюсь умирать — вот и все. До девяноста доживу. Правнуков хочу повидать, твоих деток, плечен. А когда встретишь любимого... когда встретишь, вся жизнь озарится поновому. Значит, что это — любовь? Радость, жалость, страдания, жизнь!.. Когда полюбишь, подарю тебе это кольцо.

Она сняла кольцо. Держала на ладони и вглядывалась в огромный кроваво-красный рубин. Пристально. С грустью.

— Последняя память о человеке, его одного я и люблю. А отслала сама: уходи.

— Почему?

— Не отслала. Увели его от меня. Девочка такая, как ты. Худенькая, глазищи огромные. Пришла тайком. Ручонки сложила на груди, вся дрожит. «Мой любимый папу». Ненавидела я эту девочку глазастую... А кончились тем, что вынесла себе приговор: «Уходи, милый. Прощай, а перстень этот...»

Солнечный луч протянулся в окно, рубин вспыхнул.

— Мой талисман, — сказала Ксения Васильевна.— Я под декабрьскую вьюгу родилась. Кто в декабре родился, для того рубин талисман. Потому он мне и подарил это кольцо. Потому я его и храню. Когда срок придет, передам тебе, и хоть ты не декабрьская, береги. В память обо мне. Это кольцо мне самых драгоценных сокровищ дороже. Пусть бы вовсе нужда нас додела, ни на что не обменяю, за десять пудов муки не отдам, — неожиданно повернула на прозу Ксения Васильевна.

И с досадой махнула рукой. Что ты будешь делать! Как занозы засели в сердце недавние мытарства, не прогонишь из памяти.

А пора бы прогнать.

В газете «Беднота» про иные деревенские школы писалось: учителя бедствуют, ни жалования, ни хлеба, ни дров. Про одну учительницу писали, что ходит ногами на крестьянское поле, картошку крадет, тайком накопает ведерко... Срам! Не учительские срам, а крестьянам, тем, что нарушают советский закон.

В селе Иванькове другое. Иваньковская учительница хлебом и прочими продуктами обеспечена...

В тот первый день Катиного учительства, злогополучный, на всю жизнь памятный день, когда, споря от стыда, спотыкаясь под недоуменными взглядами тридцати трех учеников, сбитых с толку ее, Катиным, невежеством, она, прервав урок, раньше учеников вышла из класса — спрятаться, скрыться, — в сенях почти налетела на председельство Петра Игнатьевича.

— Что скоро отучила, Катерина Платоновна? — без задней мысли спросил председатель.

А ей послышалась насмешка.

— Я знаю, когда надо кончать урок! — дерзко отрезала Катя.

В сенях, отделявших класс от половины учительницы, было темно. Он не разглядел ее пылающих щек.

О! Как она после жалела, как терзала себя, что именно в эту минуту обрезала его, вообразив в нем начальственный тон! Он шел к ним довольный и радостный, спешил обеспечить их от имени Советской власти и крестьянского общества, а она...

— Молода, а с норовом, — удивился председельство.

Это Катя-то с норовом! Катя, которая все детство не смела сказать матери «нет». Катя, которую любимый брат Вася жалующим голосом называл послушной. «Послушнее не открывают Америку».

Ошибается председельство. Или что-то новое в Кате, самой ей неясное?

Стуча сапогами, смазанными дегтем, Петр Игнатьевич вошел в комнату, сбил буденовку и громко, во всю мощь, как на сходке:

— Здравия желаю, Ксения Васильевна!

Хотелось Петру Игнатьевичу в сердцах ругнуть учительницу, чтобы не задирала нос с первого дня, еще не заслуживши почта. Но сдержался. Помнил: председельство во всех случаях — образец поведения, с о в е т с к о г о, не какого-нибудь. Только тем показал Петр Игнатьевич недолюбовью девочкой-

«Долго мы так читали, но однажды баба-Кока проходила с нами мимо класса, услышала и после мне! — Что это они мычат у тебя? Не вели им тянуть: «мы», «ры». Пусть сразу складывают, ведь буквы-то знают!»

Подказала, и, представь, в два дня мои младшие научились не тянуть, а сразу складывать. И читают как следует.

Сама не пойму, как это я их научила.

Прекрасная советница — моя баба-Кока! К ней даже Петр Игнатьевич приходит советоваться или поговорить на разные темы. У нас в комнате голландская пещка, мы с бабой-Коккой любим попить ее в сумерки.

В это время Петр Игнатьевич иногда и зайдет. Приядет у пещки на корточки, курит самокрутку, пускает дым в печь. Его интересует история. Слышала бы ты, как они спорят с бабой-Коккой! Для бабы-Кокки Петр Первый — великий преобразователь России, а ему что Петр Первый, что Грозный — он всех царей отвергает.

Он бабе-Кокке признался: «Я, Ксения Васильевна, вначале к вам не с полным доверием подошел, поскольку вы из чуждого класса, но наш великий вождь Владимир Ильич Ленин учит, что каждому овладеть надо всеми богатствами знаний, чтобы настоящим стать коммунистом...»

Последнее время мы с бабой-Коккой заметили, Петр Игнатьевич изменился. Озабоченный. Даже хмурий.

Заметили, но спросить не решались. Он сам бабе-Кокке открылся.

Городская заготовительная контора по сбору сельскохозяйственной завила, что у нашего сельца Иванькова перед государством большая задолженность. Будто у нас на сколько-то десятин больше пашни. За эти десятины надо сдавать дополнительно налог. А десятины-то нет! После революции землемеры землю измеряли, и все было правильно, а теперь вдруг объявили лишние десятины. Я не очень все это понимало... Петр Игнатьевич ругает бюрократов и чиновников из заготовительной конторы. И вот поехал выяснять...

Фрося, когда я была школьницей, мы сердились на учителей, у которых были «любимчики», а «любимчиков» презирали, драдили подлизывали и т. д.

А знаешь, теперь у меня самой есть любимчики. Нет, нельзя так назвать. Все дети милы. Но есть такие, кто мне нравится больше.

Например, Федя Мамаев. Однажды у меня случился позорный провал на уроке — запуталась с решением задачки. А Федя Мамаев поправил меня. И с тех пор он очень мне нравится! Правильный, способный.

Люблю еще Алеху Смородина. Всегда полон фантазии, голова непрерывно работает, будто там заводной моторчик.

Тайка — полная противоположность. Ласковая, тихая...

Немного смущает меня, что мои «любимчики», Алёха и Тайка, как раз дети нашего иваньковского начальства. Но ведь я-то знаю, что это не имеет для меня никакого значения. И, конечно, я не показываю вида, что Федю, Алеху и Тайку люблю больше других.

Милая, милая Фрося, хочу знать, как ты живешь, как растет Васенька. И как я тронута, что ты назвала его в честь моего Васи!

Мы с бабой-Коккой целуем Васеньку и тебя, милая Фрося!

До свидания.

Катя.

Ноябрь 1921 года».

Ребята разошлись после уроков, а Тайка Астахова робко скрипнула дверь в комнату учительницы и, став у порога, потупив глаза, проговорила чуть слышно:

— Катерина Платонова, Ксения Васильевна, ты теперь час нынче в гости зовет.

— С чего это? — удивилась Ксения Васильевна.

— Татьяна с мамой приказали просить, чтоб уважили...

— Причина серьезная... Что ж, Катерина, уважим! Собирайся, идем.

Тайка молча семенела впереди, поскрипывая на снегу еще не разношенными белыми валеночками, бордовые розы на ее шерстяном полушалке нарядно цвели. Снег звонко хрустел. Вполнебна малиново горела зяря. Белая сорока с черными каймами на крыльях и хвосте провожала Тайку с гостями от палисада к палисаду.

Сельцо Иваньково вытянулось в одну улицу вдоль реки Голубицы. К лету берега Голубицы одевали ковры незабудок, оттого и название у реки голубое.

У Силы Мартыныча была изба-пятистенка, с наличниками дивной красоты и узорчатыми перилами крыльца, как кружевными. Изба стояла крайней в сельце. Дальше чистое поле, снежный вольный простор, а еще дальше, где небо склонилось к земле, темная гряда леса отделяла иваньковские владения от соседних.

— «Иваньковский сельсовет», — вслух прочитала вывеску Ксения Васильевна. — Вот так раз! В сельсовет нас привела.

Тайка со смущенной улыбкой, меленькими шажками поднялась на крыльцо, а навстречу появился коренастый, шестаяк, бородастый Сила Мартыныч, мужичина лет сорока.

— Жалуйте, гости дорогие, милости просим. Сельсовет, эта значит, при нас. Или скажем напротив, Сила Мартыныч при сельсовете, так-то вернее. Жалуйте, — пригласил он широким жестом.

Сени просторные, алаво три ступеньки спускались к хлевам для скотины, направо две двери.

— Тута сельсовет, — указал на одну Сила Мартыныч. — А тута мы.

И алаво гостей в свою половину. Чисто. Прибрано. Полы белые. Русская печь вкусно дышит мясными щами. В красном углу стол заставленный блюдами и мисками с кушаньями. Икон не видно. На стене портрет Ленина.

Хозяйка, с тонким и тихим, как у Тайки, лицом, поклонилась молча. А хозяин был шумлив и приветлив.

— Время зря волнить не станем. За столом складнее беседовать. Ксенья Васильевна переднее место. Мы хоша к учительнице нашей Катерине Платоновне со всем уважением, а малу и стару понятно, правит-то бабушка.

— Вот и ошибаетесь, Сила Мартынович. В школьные дела Катерина Платоновна я нисколько не вмешиваюсь.

— Пусть так, — тотчас охотно сдался Сила Мартыныч. — Умный человек с одного слова скажется. Хозяйка, что стоишь? Угощай, потучи. Студенец, пирошка... А за здоровье прекрасной нашей учительницы и ее бабушки браги выпьем. Мы, иваньковцы, от правдедов брагу знаем варить.

Он выпил стакан, и Ксения Васильевна выпила, а Катя чуть пригубила. Сила Мартыныч одобрительно кивнул.

— Крестянский класс за новое грудью, а что ценно в старом, это тоже храним. Девка — барышня по-

городскому — тем хороша, ежели в скромности себя соблюдает. Так при дедах велось, рушить не станем. Вам, Катерина Платоновна, благодарность. Это уж я о другом. Про родительскую вам благодарность, Катерина Платоновна! Одна у нас Тайка. Было двое сынов. Из люльки не выросли, кончились... Дочка растет. Жизни милей. Я для своей Таиски по нынешним временам дорогу бо-ольшую вижу. Выучить желаю, до самого верку. При царском режиме за учение в гимназии полсотни за год плати. Да квартира городская да харчи. Не под силу. А нынче... при образовании вывести можно, даже и девку, в начальство самое высшее, была бы удаль да смелость отцовская... Вот как у нас!

— Может, довольно вам браги? Крепкая, — заметила Ксения Васильевна.

— Увидела! Все как есть насквозь видит! — воскликнула Сила Мартыныч.

— Скажите, а как вы до революции были? — неожиданно спросила Ксения Васильевна, обводя взглядом чистую, светлую избу.

Он поставил стакан. Насмешкой сверкнули глаза. — Скажи, как мода на анкету в нас влезла! Ладно в волости или уезде, и по соседству каждый друг о друге допытывается... Кулаком не был, — спокойно ответил он. — По советским законам кулак есть эксплуататор наемной батрацкой массы. Правильно рассуждаю? — почему-то обратился он к Кате.

— Правильно, — несмело подтвердила она.

— В нашем сельце Иванькове кулаков не водилось. Для нас-то хуже. Будь в сельце кулаки, землицы бы у них поурезали, бедняцко-средняцкому населению прибыль. И помещичьей земли близко нет. С чем до революции жили, с тем и остались. Одну поповскую усадьбу порушили, да там на целное-то обчество всего ничего. В нашем Иванькове земельное равенство, да. Покамест разверстка действовала, урожай подчистую мели — охота пахать у крестьянства упала. Нынешним летом и вовсе засуха пол-России сожгла. Нас, иваньковцев, миловал бог, да еще товарищ Ленин новую экономическую политику мудро удумал. Налог государству отдай, а что осталось — твое. У мужика пахать руки просят. Крестьянину улучшат, и рабочему улучшат. Правильно разбираю политику?

— Мне кажется, правильно, — подтвердила Ксения Васильевна.

И Кате, естественно, рассуждения Силы Мартыныча казались понятны и правильны. А главное, понравилось ей, как любит он дочку, тихую Тайку, с надеждами и нежностью любит! Вот сидит, большой, плечистый, подстриженные скобой волосы кудрявятся, настоящий русский богатырь! В одной руке стакан с брагой, другой обнимает щуплые плечики Тайки, бережно тронет светлые, прямые, как соломинки, волосы.

— У вас красиво, а герань как прекрасно цветет! — любясь махровыми шапками цветов в глиняных горшках на подоконниках, сказала Катя.

Сила Мартыныч с довольной усмешкой медленно огладил пышную бороду.

— Отрочал домину аккурат под самый четырнадцатый. Своими руками, вот этими, плотницкими, избу ставил. Гляньте, мозоли каменные, до смерти не сойдут. Сам да жена, да сестра, старая девка, да холостой брательник, пять годов ставили избу. Квас с редькой — весь харч, про говядину, как и пахнет, забыли. Обещался брата холостого женить, когда избу осилим. Затем и пятстенку старались, ему половина, мне половина. А тут война. Не успел ожениться, с первых дней взяли. И стинул. И могилы не знаем. Сестра животом маялась, скрючило всю, и ей в новом доме пожить не пришлось... Ксения Васильевна, пироги с ливером, Катерина Платоновна...



Тут дверь отворилась, и вошла женщина, нестарая и недурная бы собою, но темная старушечья шляпка, надвинутая на брови, валившиеся от худобы щеки и угрюмый взгляд старили ее и дурнили.

— Здравствуйте. Не вовремя я, гости у вас. Кринку принесла, спасибо.

Поставила порожнюю кринку на деревянную лезжанку у печки и повернулась уйти.

— Постой, постой! — вскричал Сила Мартыныч. — Нин Иванна, постой. Препроше учителя нашего жана, — коротко бросил в сторону Кати и Ксении Васильевны. — Садись гостевать, Нин Иванна.

— Спасибо, некогда мне. Ребятишки не кормлены.

— Тогда постой. Жена, собери ребятишкам гостинца.

Но Нина Ивановна уже вышла из избы, и Сила Мартыныч, схватив два куска пирога и накрыв ломтем студня, вышел следом за ней в сени. За дверью послышались голоса, его, низкий, твердый, и ее, бурный, срывающийся.

— Учителя на войне без вести сгинул, — тихо вымолвила Тайка.

— Сгинул или нет, то нам неизвестно, — возразила мать. — Соседка наша. Мы ее еше в девах, Нинкой, знали. Учитель зятем в дом к ним вошел. Осталась ни мужа, ни родственников. Ни коровы, ни лошади. Обищали. Когда поможем, чем можем. Молока коражку несешь.

Сила Мартыныч вернулся. Сел к столу, сердито ухватил бороду в ладонь.

— Мороча с бабами! Она так располагает: ежели ты сельсовет, корми ее, обувай, одевай. А где у нас средства? Что в наших есть средства — даем.

Он вынул из кармана, налил еще стакан браги и, ближе придвигаясь к Ксении Васильевне, заговорил другим, почти искательным тоном:

— Дельце у нас к вам, Ксения Васильевна. — Я так и предполагала, что дельце, только почему ко мне, а не к Катерине Платоновне?

— Катерина Платоновна молода, и школа на ней. Мы видим, Катерина Платоновна вся в школу ушла. — Какое же дельце?

— Такое, что и вымолвить сразу-то не решусь. — А вы решайтесь. Вы ведь не из робких, как я догадываюсь.

— Ну, ежели догадались, выложу напрямик. Засела в голову мыслишка одна. Надумал культурой вашей попользоваться. Тайку, сверх школы, желаю разным наукам учить, всем языкам заграничным, вот какая задумка.

Он умолк, почти смущенно вглядываясь в спокойное лицо Ксении Васильевны, которая по привычке постукивала пальцами по столу, и на безымянном горел темно-красный рубин.

— Задумка неплоха, да только слишком вы много хвастали. Всех языков я и сама не знаю.

— Так ничего и не знаете?

— Немецкий кое-как. Французский тоже подзабыть стала. Однако попробовать можно, поучу вашу Тайку французскому. Девочка способная, прилежная.

Тайка покраснела, стыдливо потупилась, и мать опустила глаза, пряча радостный смех, а Сила Мартыныч опрокинул еще стакан золотистой пенистой браги, вытер бороду и деловито:

— За платой не постомин, будьте в спокойствии.

— О плате не будем пока говорить, — отказалась Ксения Васильевна. — А одолжения прошу.

— Да мы с радостью! Что запросите, все раздобудем. Из-под земли выкопаем.

— Нам с Катериной Платоновной нужна газета. Скупаем без газеты. Живем, как в лесу.

— Газету-у! — воскликнул он, изумляясь и радуясь исполнимости желания Ксении Васильевны. — У меня эти газеты в шкапу кипами копяты. Айда и сельсовет, без промедления снабдим.

И он привел их в сельсовет. Отворил дверь в смежную комнату, и, пожалуиста, — сельсовет. Люди входили сюда из сеней. Но Ксению Васильевну с Катей, естественно, Сила Мартыныч провел из дома.

Такая же изба, большая, чистая, только без пунцовых шапок гераней на окнах; посредине покрытый кумачовым сатином стол; у стены сложенный Силой Мартынычем шкаф для казенных бумаг и документов. Разумеется, фотография Ленина. Ленин был изображен здесь с Михаилом Ивановичем Калининым.

— Помещение нашей сельской Советской власти, — гордо объявил Сила Мартыныч. — Астахова личная собственность добровольно отдана государству по причине малой семьи. А как дальше пойдет, будет видно. Разбогатеет — отдельный для власти выстроим дом.

На деревянном щитке были гвоздиками прибиты развернутые листы газеты «Беднота».

Ксения Васильевна пробежала загляывая статей и заметок. В правом углу начальной страницы: «Принимается на газету подписка по всей территории РСФСР только от учреждений и организаций».

Жаль! Хотелось Ксении Васильевне выписать газету на свой адрес, лично себе! Есть особенное удовольствие, ставшее за годы привычки, получать утром свежий номер газеты, еще пахнущий типографской краской, никем еще не открытый, читать газету первой. Без спешки, со вкусом.

— Не тужите. Как из почты привезут, буду с Тайкой присылать, — успокоил Сила Мартыныч. — А покамест получайте запас. Читайте, знакомьтесь. Нынче политика вперед семивертными шагами бежит, чутко пропустил — не догонит.

Он достал из шкафа кипу старых номеров «Бедноты», нагнул Катю и вышел на крыльцо проводить, в одной рубашке, с разгоревшимся от браги лицом, довольный удачной сделкой с Ксенией Васильевной.

И Ксения Васильевна возвращалась из гостей довольная приемом Силы Мартыныча.

— Умен. Активен. Повезло Петру Игнатьевичу с помощником. Нашего Петра Игнатьевича слишком вьсь порою заносит. А зтот на земле прочно стоит. А иная? Ты заметила? Будто для него специально придумано — Сила.

26

Кате не исполнилось шести лет в ту весну, когда к земле приближалась комета Галлея.

Всёнами они жили не в Заборье, а в городе: у Васи в реальном еще шли переводные экзамены, он часами горбился над учебниками, но урывал время сооружать с товарищами подзорную трубу собственной конструкции. Девятнадцатого мая будут наблюдать приближение кометы.

Огромное раскаленное чудще с хвостом в миллионы километров надвигалось на Землю.

О комете говорили все, постоянно, повсюду. Катя слушала страшные рассказы на бульваре, куда Татьяна водила ее утром гулять. Нянюшки катали по дорожкам коляски с младенцами или сидели на скамейках и обсуждали неотвратимость беды. Комета летит прямо к Земле, столкнется... и свету конец. Землю разорвет в куски или сожжет дотла во всемирном пожаре. А если комета пронесется мимо, хвост ее плотным покрывалом обовьет Землю и уда-

шит людей, зерей, птиц, растения — все удушит угарными газами.

Так и так наступает конец. Скоро. Через несколько дней.

Катя глядела на ярко-желтые дорожки бульвара и зеленые газоны в золотых одуванчиках, слушала шум весенних ветвей, птичий гамон и в отчаянии замирая: скоро конец. Формочки для песка и лопатка валялись из рук.

— Вася, комета столкнется с нашей Землей?

— Н-не знаю. Может столкнуться.

Ни один человек не утешил ее.

— Сегодня к ночи, сегодня! — без умолку твердила на бульваре в тот день.

Вечером у Васи собрались товарищи-реалисты, то возбужденные, шумные, то вдруг умолкшие: водружали на балконе подзорную трубу. Мама тоже устроилась на балконе в качалке, с папиросой, и в тревожной задумчивости наблюдала суету и волнение мальчишек.

Кате не дали поглядеть в трубу.

— Ты еще маленькая, ничего не поймешь, — нетерпеливо выпроваживал Вася.

— Покойной ночи, иди спать, — велела мама.

Кате хотелось кинуться к ней, уткнуться в колени, прижаться.

— Иди, пора спать.

Татьяна уехала Катю, помогла раздеться.

— Может, последняя ноченька, и не свидимся больше.

Поцеловала и ушла в парадное делиться переживаниями с соседскими прислугами. Все оставили Катю. Она съехала под одеялом в дрожащий комок. И ждала. Вот с грохотом взорвется небо. Волга выплещется из берегов. Рухнут дома, и древние зубчатые стены и городская башня повалятся. Забушует пленный вихрь... Она уснула.

А утром майское небо лучезарно светилось, зеленили деревья, птицы свистели и щебетали, кажется, громче и веселее, чем всегда. Комета не столкнулась с Землей, пролетела мимо и неслась где-то далеко-далеко во Вселенной.

После кометы Галлея Вася никем не мог быть, кроме как астрономом. Астрономия сводила Катю с ума. Он выпрашивал у мамы денег и выписывал специальный журнал и специальные книги. Изучал звездные карты.

Подзорная труба не удалась реалистам. Вася выкопал у мамы полесей бинокль — читать звездное небо. Мечтал открыть новую звезду.

А потом остыл к астрономии. Новое увлечение завладело Васей. Книги Гарина-Михайловича привлекли к другому призыванию. Инженер-путеец! Строить железные дороги — вот его дело! Нашей отсталой России не стать европейской страной без железных дорог...

Катя между тем подросла, скоро двенадцать, ей интересно все взрослое. Так она натолкнулась у Васи на популярную астрономию Фламмарiona.

Она читала Фламмарiona, задыхаясь от волнения. Запом. Тайны Вселенной поразили ее. Что такое Вселенная? Нет начала и не будет конца, что это? Что это? Что такое вечность движения? Мы, наша крохотная по сравнению со Вселенной Земля, и неисчислимые звезды, и неисчислимые звездные спутники — несемась в черной бездне. Куда? Ужас ее охватил. Ее бедный маленький мозг не в силах постигнуть тайн мироздания. Жалкая гимназистка третьего класса, она была в полном сматнении. Непостижимое обрушилось на нее. Придавило ее.

Душевная потрясенность Кати была взрывом, может быть, подобным солнечному протуберанцу. И, подобно протуберанцу, не сразу, постепенно опала, утихла.

Обыкновенная земная жизнь не давала о себе позабыть. В ученическом дневнике благодаря Фламмарionу появился длинный ряд доек, и, конечно, мать не скупилась на язвительные внушения вроде:

— Надо быть уж совсем ограниченной, чтобы с гимназической программой не справляться. Иди в модистки, если не способна учиться.

Постепенно Катю перестали мучить мысли о вечности Вселенной и мгновенности человеческой жизни.

Зато она узнала о звездах. О Млечном Пути, опоясавшем темный свод неба. Зато умела находить Большую Медведицу и Малую, увенчанную ослепительной Полярной звездой. И бриллиантовую россыпь Стожар. И вообще научилась, почти как Вася когда-то, читать звездное небо, особенно в такой ясный морозный вечер, как сегодня в Ивановское.

Сегодня рассказывать при лунине не будет. Вместо кухни Катя собрала ребят на улице с целью отправиться на экскурсию в звезды...

Она здорово вошла в роль учительницы: постоянно ей хотелось выкладывать ученикам запасы своих отрывистых, случайных познаний. Любопытство ребят ее подзадоривало.

Кроме того, к разговору о звездах подтолкнули рассуждения Алехи. Алеха сочинял картины и сказки.

— Солнце одно на все небо да Луна. Для Земли. А звездочки махонькие, то фонарики на ночь зажигаются, чтоб Земле осветить, когда Солнце спать уйдет и Луна притомится. Солнце летом жарче горит, пока ржи да овсы поспевают, а как поспеют, оно и остудится и зиму на Землю найдет.

Катя не хотела вызывать в своих милых учениках тот отчаянный холод, какой испытала в отроческие годы сама от непостижимости мира. Но нужно знать. Нельзя жить слепыми.

— Вы можете считать все снежинки на иваньковском поле! Или летом все колосья?

— Ну да! — раздалось удивленно.

Ребята почували что-то занятное, теснее сгрудились возле учительницы.

— Звезд столько, сколько снежинок на всех иваньковских зимних полях! И еще столько. И еще. И еще. Не слышь.

— Ну да-а?

— У многих звезд, какие мы можем видеть, есть названия. Вот глядите, для начала: Большая Медведица...

И они стали искать и разглядывать семь мерцающих звезд в бездонно высоком, чистом декабрьском небе. Они стояли, задравши головы, и одни находили созвездия, другие — нет, а некоторые, оказывалось, знали Большую Медведицу, и шумно радовались, и хотели, чтобы учительница их похвалила.

Но дальше путешествие по звездам превралось, в этот вечер Катя не успела поделиться с учениками всеми своими астрономическими знаниями. Катя увидела предельсовета. Она незаметно приблизилась, недолго послушала ее звездную лекцию и коротко бросил:

— Катерина Платоновна, дело есть.

Ребята остались на улице, а она последовала за ним в школу, недоумевая, отчего он так строг и чем доволен.

В классе Авдотья зажгла семилитровую керосиновую лампу, что означало объявленный сход. Несколько мужиков уже сидело за партами, над которыми плавал грязновато-серый махорочный дым.

— Звезды звездами, может статься, время настает, и до звезд доберемся, а нынче другая нужда. Не до звезд, — сказал Петр Игнатьевич, входя в комнату учительницы.

Он смотрел хмуро и словно бы осуждал Катю за его отвлеченный, не первой важности урок.

— Катерина Платонова, идем на собрание, будешь нужна, — велел Кате. Баба-Кока ласково: — И вы, Ксения Васильевна, ежели желание есть.

Класс был полон народа, глухо гудел. Мужики сидели за партами и на короточках на полу. Бабы столпились у печки. Кто на лавках, принесенных из кухни, кто стоя.

Едкий запах махорки, сырой овчины и лота висел в воздухе, лампа от духоты горела тускло, лица казались серыми.

За учительским столиком Сила Мартыныч с озабоченным видом перебирал, листая и перекладывая, небольшую стопку газет.

— Сила Мартыныч, ты нынче учительнице секретарствовать место отдай, — распорядился председатель.

У того недоумоменно вскинулись брови.

Но, медленно погладив бороду, он спокойно спросил:

— Что за причина?

— Причина немудрая, в исполнение интересуются, как наша учительница привыкает к общественной жизни. А она по молодости на народ и показаться не смеет, заперлась с ребятишками в классе. Катерина Платонова, народа не беги. Садись, будешь писать протокол.

Сила Мартыныч без слова, выставляя широкую грудь и как-то заметнее, чем всегда, прямя плечи, твердыми шагами отошел к двери, встал впереди людей, отвернул полу шубейки, вытащил из кармана кисет с табаком.

А Петр Игнатьевич откинул пятерней со лба волосы и тем же суровым голосом начал:

— Товарищи иваньковские односельчане! Мы живем, не бедуем. От нашего урожая до весны без голодухи дотянем. А есть губернии... мрут люди. Тысячами. А надежды-то нет. Время-то зимнее. При царском режиме на власть мужик не надейся, а все-таки хорошие люди и тогда находились, к примеру, писатель Лев Николаевич Толстой все силы на борьбу с голодом бросил, ну, не осилил в полном масштабе, а все-таки... Товарищи граждане, я вам лекцию не стану читать, лучше из «Бедноты» почитаю. «Бедноту», товарищи граждане, нашу крестьянскую боевую газету, сам Владимир Ильич Ленин декретом учредил, чтобы каждодневно печаталась для идейного просвещения крестьянского класса.

Катя забыла писать, не успевала схватить его быструю речь и глядела во все глаза на его осунувшееся лицо с запавшими, словно от болезни или горя, глазами.

— «Беднота» № 961, — читал председатель:

«...люди питаются одной только травой, мхом, опилками и древесной корой. Люди ослабли, падают. Товарищи более счастливых местностей, организуйте сборы для помощи голодающим братьям!»

— «Беднота» № 974, — читал председатель:

«Особая Комиссия ВЦИК под руководством М. И. Калинина создана на борьбу с голодом.

Детей переселять в колонии урожайных губерний».

— «Беднота» № 1 002:

«Небывалое бедствие — голод. Идут из деревень люди, на вокзалах, на улицах городов лежат сотни. Питаются падалию. Нужна срочная помощь».

— «Беднота» № 1 007:

«Речь тов. Калинина ко всей России:

«Необходима помощь и помощь. Не только помощь государства, но помощь всего народа, всех Советских республик».

— «Беднота» № 1 028:

«Истощенные, землистого цвета личики. Живые покойники, дети, с огромными, вздутыми животами. Тонкими, как спички, ножками, иссиня-бледные».

— «Беднота» № 1 032:

«Товарищи хлебобродных местностей и губерний, кроюсь спянные братья крестьяне, мы к вам обращаемся. Дайте нам хлеба. Мы умираем голодной смертью на заре освобождения человечества от угнетения, рабства и тьмы».

— «Беднота» № 1 043:

«Речь Калинина на сессии ВЦИК.

Голодом захвачено 21.073.000 людей, из них 7—8 миллионов детей».

— Хахит, может? — резко прервал председатель. — В общем и целом положение ясное, и предложение одно. Наша большевистская партия к нам, к крестьянству, с просьбой. Помогите. Не чужим, своему брату, пахарю...

Молчанье. Говорят, бывает мертвое молчанье. Наверное, такое мертвое молчанье воцарилось в Калином классе.

Наконец, одна, с лицом в мелких морщинах, усталым взглядом, — не старуха, а вся бесцветная, тусклая:

— Сами сколько лет голодали! Только б оправиться чуть. Налог с крестьянского класса берут — даем. А что осталось, дак на каждый пудшико своей нужды-то, нужды!

И со всех парт, ребяческих парт, где сидели сейчас мужики в полушубках и курили махорку, вперевод раздели голоса:

— Разверстку давай! Давали. Налог давай! Даем. Опять же мало, опять давай. А власти что? Все же, что ли, без нас никуда? Все мужик да мужик. Все с мужика!

— Товарищи односельчане! — грозно, моляще и отчаянно сказал председатель. — Где наша пролетарская сущность? Классовое наше чутье где? Люди мрут. Восемь миллионов детей пухнут с голоду, как товарищ Калинин сказал. Есть у нас совесть?

И вдруг Катя увидела — и краска хлынула ей в лицо, и в груди защемило, — вдруг увидела Катя: баба-Кока, сидевшая среди баб возле печки на лавке, поднялась и направилась к двери. Мужики в дверях расступились. Ксения Васильевна была высока, прическа венцом выделяла ее среди иваньковских женщин, те покрывались платками, а она ходила простолобая, не седея, с поднятой головой. Зато Катя втянула голову в плечи, дрожь: сейчас предсельсовета прогемит на весь сход: «Эх вы, чуждый класс!»

— Товарищи односельчане, иваньковцы! — сказал Петр Игнатьевич. — Расписывать свои нуждишки не стану. Сами знаете. Жертвую голодающим три пуда муки. Пиши, Катерина Платонова. Три пуда.

Тут как раз вернулась Ксения Васильевна. Она была спокойна и немного грустна.

— Уважаемый председатель сельсовета. У нас с Катериной Платоновой имущество тоже немного. Было, да прожили. Одно колечко осталось.

Она протянула ладонь с кольцом, рубин вспыхнул темной краской.

— Кольцо золотое, и камень недешев. Примите от нас с Катериной Платоновой в помощь голодающим.

И отдала Петру Игнатьевичу свой драгоценный и памятный перстень.

Сила Мартыныч шагнул вперед из толпы.

— Жертвую голодающим братьям пять пуд ржи. Раскошелюйся, крестьянский народ, кто сколько в силах, давай!

— Пиши в протокол, Катерина Платонова, — велел председатель.

Минувала неделя, другая, а Ксения Васильевна не приступала к обещанным урокам французского. Между тем отцова фантазия превратилась у Тайки в мечту. Тем более что, как ни была она молчалива, проболталась, и скоро все знали Тайкин секрет и каждый день добивались:

— Когда же?
— Что за Франция? Где? Какие там люди? Либо черные, либо как мы? — допрашивал Алёха Смородин.

Все — младшие, средние, старшие — требовали от Тайки ответа, и она с мольбой глядела на учительницу бабушку, а та вроде бы не замечала Тайкиных отчаянных взглядов. Однако договор с Силой Мартыновичем Ксения Васильевна помнила.

— Знаешь, Катя, думала я, думала и вот что надумала. С Тайкой заниматься французским не буду. — Что такое? Какая причина?
— Педагогика, Катенька.
— При чем тут педагогика?
— Именно при том. Сила Мартынович тщесявен, дочку выделить хочет. Во всем семье Ивановке Таисия Астахова особенная. Поняла?

— Баба-Кока! Что вы, что вы? Ведь обещали, и вдруг нате вам...
— Выход есть, да боюсь это ваш... унаро... и не выговорить... унаро-браз, а мне дикобраз представляется, не хмурясь... шушу. Как начальство посмотрит, одобрит ли?

— Какой же выход, скажите.
— Если учить не одну Тайку — всех, кто пожелает.
— Баба-Кока, гениальная мысль!
— Голову тебе за нее не намылят? Приговозят буржуазные пережитки. Капиталистическая держава. Антанга. Мало ли что!.. И в учебных программах про французский не сказано.

Впрочем, сказано или нет, неизвестно. Учебные программы до Ивановской школы пока не дошли. Ни учебники, ни тетради, кроме той скудной стопки в классном шкафу, ни иные пособия. Ивановская школа жила на свой страх и риск. И дополнительные занятия по французскому языку Ксения Васильевна и Катя начинали на свой страх и риск.

Знали бы в уездном отделе народного образования, с каким энтузиазмом все тридцать три Катиных ученика встретили «гениальную» мысль Ксении Васильевны!

Видно, в ней тайно жил врожденный педагог. Ребята разинули рты, слушая ее рассказы о Франции, виденной своими глазами. Не о Булонском лесе, в аллеях которого разрезают верхом изящные амазонки и кавалеры, не о парижских бульварах, Эйфелевой башне, соборе Нотр-Дам. Нет, о плоских, влажных лугах Нормандии, где тучные коровы с подгалазьями, похожими на громадные очки, пасутся в одиночку за низенькими заборчиками, где поселки везут глаз красными черепичными крышами, а море в часы отлива далеко уходит от берегов, оставляя на илстом дне ракушки с устрицами, которые крестьяне собирают в корзины и везут в Париж продавать господам.

Рассказ был вступлением, своего рода подходом к главной цели: научиться говорить по-французски. Писать не на чем, читать — нет учебников. Будем беседовать.

Для начала ивановские ученики узнали два слова, два прекрасных французских слова, надежных и верных, с ними не пропадешь, если бы вдруг на сказочном ковре-самолете перенесся во Францию.

— Bonjour, camarade! Здравствуй, товарищ!

Не думайте, что во Франции каждый встретный — товарищ, но среди рабочих уж наверняка отыщется советскому человеку камарад. И не один.

Ребята узнали на первом занятии и другие слова, а особенно запомнили эти. Орали во все горло, расходясь по домам:

— Bonjour, camarade! Здравствуй, товарищ!

Авдотья бросила подметать класс, вышла с метлой на крыльцо поглядеть вслед ученикам, довольно мыча, и было видно, как мило ей все происходящее в школе.

— Ну что, Катя? — спросила Ксения Васильевна.
— Баба-Кока, отличной!
— Выдумываешь?
— Честное слово, клянусь!

Они условились: Катя весь урок простоят за дверью в сенях, чтобы потом обсудить каждую мелочь, все промахи. Ведь была однажды, что баба-Кока случайно услышала, как тянут Катини младшие нарспев: «Мы-а, мы-а», — словно дырки на венеоциной. Подсказала учительнице: не так учишь.

Катя в уроке Ксении Васильевны не заметила промахов. Идеальный урок! Она восхищалась, пока Ксения Васильевна не остановила:

— Довольно, пожалуй. Хвали, да знай меру. — И с нечаянной грустью: — А пропустила я что-то важное в жизни.

Еще недавно Катя могла не понять. Теперь поняла. — У вас широкая натура, баба-Кока! Вы всегда любили кого-то, а вам мало одной любви, вам все люди интересны, вам хочется что-то делать и значить. Я тоже хочу: делать и значить.

— Верно, Катя. У тебя новая жизнь. И у меня рядом с тобой все по-новому. И никогда мы больше не будем прятаться от жизни за монастырский оградой.

Они проговорили бы долго, но Ксения Васильевна вспомнила:

— А пора тебе, Катя, идти. Иди-ка.

Наступил ранний декабрьский вечер. Просторная ивановская улица вела в поле, а дальше дорога, утыканная вешками, в лес. Солнце опустилось за лес, и над темной грядой разлилась полоса нежно-изумрудного цвета, а над ней еще полоса, малиновая, отчертила синеющий купол, в котором, отражая закат, толпились сиреневые, голубые, зеленые облака. Небо пылало. В одну секунду облако с золотыми краями, подернувшись пеллом, утекло, как дым, и на месте его вспыхивал фантастический желтый цветок. И вдруг алая стрела пронзала густоющую синеву, и выплывали розовые лодки, летели розовые лебеди...

— Что же это? Что же это? — шептала Катя, пораженная сказочным, нереальным каким-то зажатом, неистовым праздником цвета. Волшебство длилось, пока она шла вдоль села на самый край к Нине Ивановне.

Изба вдовы учителя по соседству с Силой Мартыновичем была так же изукрашена кружевными наличниками. (Все Ивановское славилось искусством деревянной резьбы.) Но бедность и неухоженность встретили Катю уже на ступеньках крыльца. Видно, хозяйка нечаянно плеснет, неся от колодца на коромысле ведро, вода намерзает раз от разу, руки не доходят скальвать лед.

После пламенеющей красок закатного неба Катя на минуту ослепла, войдя в темную избу. А когда приглядывалась, узнала знакомую обстановку. Половину избы занимала русская печь с чулунами на шестке и обычной утварью в углу — ухватками, глиняным рукомайником, деревянной лопатью.

Две русые головенки севшились с печи, напо-

мина знаменитую картину «Военный совет в Филях», там тоже свешивается с пелки любопытная головенка, правда, одна.

Нина Ивановна катала на столе вальком на скалке белье.

— Здравствуйте. Проходите.

Переждала, пока Катя пройдет на лавку, молча возобновила работу.

И Катя молчала. Как неуютно! Скрытная, хмурая женщина! Катя не решалась сказать, что привело ее к вдове учителя.

Наконец Нина Ивановна оставила валеки. Села на лавку на другую сторону стола против Кати и неласково:

— Ждала, раньше придете. Три месяца учите.

Сердце сжалось у Кати. Конечно, она должна была прийти раньше. Бездушная! На чье ты место пришла?

— Простите, Нина Ивановна.

— Меня по батюшке один Сила Мартыныч величает и то при гостях,— усмехнулась Нина Ивановна.— В девках Нинкой звали, нынче под старость теткой Ниной зовут.

— Какая же старость! Вы устала очень. Вам трудно одной.

— Нелегко.

— Сила Мартынович помогает? — несмело полуспрашивала Катя, чтобы что-то сказать, и помня, как она с Бабой-Коккой были у него в гостях и Нина Ивановна принесла пустую кринку и сразу ушла, а он побегал за ней вдогонку с ломтями пирога.— Сила Мартыныч — хороший человек?

— Для вас, видать, хорош,— усмехнулась Нина Ивановна. Спохватилась: — А для меня и worse. За что мне на него обижаться? Меня сама жизнь обидела. Хуже злой мачехи мой жизнь! Скрылась бы на край света, они не пускают.

Она кинула на пухляк, откуда свешивались две русые головенки и две пары серых глаз пылливо и серьезно глядели на Катю.

— Про мужа моего Сила Мартыныч ничего вам не сказывал? — настороженно, показалось Кате, спросила Нина Ивановна.

— Нам, еще когда сюда ехали, председатель сельсовета говорил, что ваш муж добровольцем ушел на войну.

— Добровольцем, э-эх! — вздохом вырвалось у Нины Ивановны.— Всё Москва. Послали от уезда в столицу на курсы внешкольного образования. Зачем оно ему, внешкольное? Знай свою школу. Ах, нет. А в Москве агитация. Тогда, летом девятнадцатого, Деникин наступал. Сам Ленин агитирует: все на борьбу с Деникиным! Зажигает людей. И мой загорелся. Зачем бы ему? У него глаза слабые, белоблиетник... Шлет мне в письме: «Настали грозные дни, решается судьба революции». Знаем, слышали, не глухие в Ивановске, да ведь без тебя бы решили, тебе тридцать восьмой, неужто помоложе мужиков на войну не найдется? Ушел. И не свиделись больше. Из Москвы, прямо с курсов ушел на Деникина... А потом-то!.. — вскрикнула Нина Ивановна, ушла на стол головой и забилась, завывала по-бабьи, истосно.

— Нина Ивановна, милая, успокойтесь,— пугаясь и жалея ее, лепетала Катя.

Та умолкла, подняла голову, огляделась странным, потухшим взглядом.

— Нина Ивановна, у вас страшное горе, ничем не утешит, только одно, что он герой, ваш муж, вы им гордитесь, и мы гордимся...

Она произносила слова, какие обычно говорят в подобных случаях, и сама понимала, что повторяет

сто раз уже слышанное Ниной Ивановной и оттого не действующее. И оттого, наверное, Нина Ивановна холодно обворала ее утешения:

— Вы за делом пришли или так?

Катя вспыхнула. Вдова учителя не принимала ее сострадания. Вдове учителя досталась жестокая доля, но даже мама, скрытная, одинокая Катина мама, обожавшая Васю, не говорила ему: «Уклонись от войны».

А вдова учителя... Но не буду, не буду судить! Закат догорел. В избе совсем потемнело. Кате смутно выдилось через стол измученное лицо с черными провалами глаз.

— Ежели дело... — повторила Нина Ивановна.

— Я... мы с Бабой-Коккой хотели вас навестить, и я думала... и моя бабушка Ксения Васильевна... хотели... может быть, у Тихона Андреевича остались книги?

— Книжником был,— угрюмо отозвалась она.

Нащупала в стенном шкафчике спички, заветила копилку и, прикрывая ладонью крохотную дымящую струйку огня, вывела Катю в холодные сени и отгороженный от сени дощатой перегородкой чулан.

И там Катя увидела чудо: книжную полку, тесно набитую книгами. Без переплетов, на дешевой бумаге, без иллюстраций, с мелким, убогим шрифтом — приложения к журналу «Нива». Сочинения Мамина-Сибиряка, Короленко, Толстого, Кнута Гамсуна... Кто такой Кнут Гамсун?

Катя взяла тоненькую книжку в бумажной обертке: «Пан», «Виктория».

Катя жадно набирала книги. Хватала подряд. Руки дрожали от жадности. Вдруг Нина Ивановна оборвет: «Хватит, лишку загребастала, хватит!»

Кнут Гамсун, Ибсен, Достоевский... А это для учеников: «Дети подземелья» Короленко...

Радость, радости!

Нина Ивановна без слов стояла рядом, прикрывая огонек копилки ладонью. За ее спиной чулан тонул в темноте. Катя бегло увидела деревянный ларь и прилоненные к стене грабли и вилы, кучу сена в углу.

— До свидания. Спасибо, большое спасибо! — простилась Катя и понесла домой неожиданно свалившееся сокровище, о котором не смела мечтать; шла, не чуя ног, в предвкушении блаженства и счастья многих-многих вечеров.

Жизнь озарялась новым светом. Ничего больше Катя пока не желала от жизни.

28

Часов нет. Катя не знала сколько было времени, когда ночью дочитала «Пана» Гамсуна. Странная, чарующая повесть. Странная любовь. Чарующая и жестокая. Зачем они мучают друг друга, Эдварда и лейтенанта Глан? Безумно ведут поединку. Вот она кинулась в его объятья и целует, не таясь людей, глаза у нее горят, а у него сердце словно полно темным вином. Он ее любит, каждый кустик вереска любит для нее в летнем лесу, где ночью распускаются крупные белые цветы, потому что ведь на севере Норвегии летом нет ночи.

А потом сумасшедшая гордость овладевает Эдвардом, откуда-то из глубины дико поднимается в ней, и вместо нежных слов она бросает оскорбления в лицо лейтенанту Глану. И они ненавидят друг друга. И любят. И опять ненавидят. Кажется своей мучительной любовью. Зачем? Катя не знала о такой любви.

ви. Исстрадалась над книгой. Прочитала и принялась читать снова с первой странички. И снова страдала. Еще сильнее, потому что уже любила и ждала этих несчастных людей, которые не умели стать счастливыми.

Полгода в руках ее не было книги. И вдруг такая мука и такое блаженство!

Копилка чадила, Катя задула копилку. В окно светило звездное небо. Семь мерцающих бриллиантов Большой Медведицы слали зеленые лучи в Катину прокопченную комнату. Кружила голова. Катя отворила форточку, вдохнула морозного воздуха. Горестную и страстную жизнь она прожила в эту ночь, дыша гарью копилки, наслаждаясь и плача.

Назавтра она проспала. Баба-Кока пожалела, не разбудила.

Светлое небо, без следа вчерашних курчавых облаков, кипящих разноцветием радуги, говорило, что на дворе позднее утро.

Катя услышала на кухне голоса. Бабы-Кои и чей-то мужской. Должно быть, зашел Петр Игнатьевич. Как неловко! Ребята, наверное, давно дожидаются в классе, а учительница спит себе.

Она оделась, вышла на кухню. И в изумлении остановилась. Незнакомый молодой человек сидел за их обеденным непокрытым столом.

— А вот и учительница, Катерина Платоновна! — оживленно представила баба-Кока. — Зовите по-просту Катей. Да, Катя? Вы, правда, постарше. Годика двадцать три? А нам недавно семнадцать. Катя, знакомая, гость из Москвы. Арсений. По батюшке как?

— Не надо по отчеству, я не привик.

Арсений поднялся и, не протягивая руки, наклонил голову. Темная прядь опустилась на лоб у виска. Худое лицо, озабоченное лихорадочным блеском глаз, запахивая от худобы. Скулы резко выдавались углами. Он был прям, высок и красив. Сердце громко застучало у Кати, так непонятно и неожиданно появился у них этот красивый молодой человек, возможно, похожий на лейтенанта Глана.

— Катя, до чего же ты прокопалась! — рассмеялась баба-Кока. — Читала полночи. Проснись, гляжу: читает. Иди отмывайся скорее, нос-то черный совсем!

Она могла бы не подчёркивать, в слух Катин прокопченный нос и не смеяться, чему она смеется. Но Ксения Васильевна не догадывалась, что рассердила Катю.

— Ученики ждут давно, задай им самостоятельное что-нибудь, — весело сказала она, когда Катя умылась из рукомойника за перегородкой у печки, докрасна растерев хлещовым полотенцем лицо. — Но каждый день у нас гость из Москвы, да и суббота сегодня, не грех разок и повольничать, — такой легкомысленный совет дала Кате Ксения Васильевна.

Катя отнесла в класс добытую вчера у Нины Ивановны книжечку «Дети подземелья». Хотелось самой прочитать ее детям, но надо чем-то занять их сейчас, раз уж так получилось.

— Федя Мамаев, ты будешь читать вслух, а вы все внимательно слушайте и запоминайте, — велела она младшим, средним и старшим.

И оставила своих образцово послушных учеников под надзор Феде Мамаева и, когда вернулась к московскому гостю, услышала прерывистый и частый стук сердца, оно встревоженно колотилось в груди и ухало вниз. Давно, в Заборье, так замрило и падало сердце, когда на качелях взлетит высоко, ветер свистит в ушах, и земля то уходит из-под ног, то мчится навстречу.

— Послушай, как он у нас появился, — оживленно говорила Ксения Васильевна. — Расскажете, Арсений,

сначала поешьте, а потом расскажите, ну прямо сказочный сюжет из Царя Берендея.

На шестке, между двумя кирпичами, как обычно утром, разведен был костерик из березовых чурок, и Ксения Васильевна уже вскипятила чугунок супятку, заварила морковного чаю, поджарила на сковороде свиных шварков.

— Ешьте, не стесняйтесь, Арсений! — с веселым радушием угощала Ксения Васильевна.

Видно, он изголодался до крайности и, как ни кричал от смущения, с жадностью ел душистые, фыркающие горячими брызгами шварки, не промолвив слова, пока не подобрал дочиasta растопленное сало со сковороды хлебной коркой. И тогда, сытый, согретый, заговорил, блестя глазами:

— Вы, конечно, догадываетесь, зачем я здесь очутился? Приехал менять. Да мама, сестренка, глядеть на них — жалость, ну и поехал. Сошел на случайном разъезде. Поезд остановился, и я сошел. Надо где-нибудь. До рассвета далеко. Почти ночь. Серенько, сумрачно. Рассвета дожидаться не стал, иду, не зная куда. Заветлело, выкатился огромный рублиновый круг. Солнце. Падай на колени, так царственно! А какая у вас в селе просторная улица, как широко! Над избами из труб дымы. И женщины с коромыслами идут к колодцам. А снег сначала подсиненный, а потом солнце рассыпало искры, и снег весь засверкал. Желтые полшубки на женщинах, у некоторых цветные платки. Кустодиев! Живо Кустодиев! И вдруг... посреди села школа. И вдруг вижу, арка укрывает. Березка в мнее, изогнулась белой дугой. Никакая фантазия не сочинит. Только природа способна сотворить такое чудо! Я понял: сюда, под эту арку, мне и надо войти, и здесь я встречу... И встретил вас. Катю и вас.

Он умолк и с улыбкой глядел на Ксению Васильевну. У него добрая улыбка. Представьте, что-то ребяческое открылось в лице, что-то милое, доброе.

— Ксения Васильевна, — продолжал он приподнять, — если бы надо угадать, кем вы были, пока судьба не забросила в этот далекий угол, я, не колеблясь, ответил бы — актрисой. И вот оставили сцену и славу и живете здесь, полная достоинства и воспоминаний.

— Каково! — краснея от удовольствия, сказала Ксения Васильевна. — Значит, что-то еще сохранилось в старухе. Но никакой во мне нет актрисы, мечтала, да не сбылось. Дара божьего не отпущено. А вы фантазер.

Арсений перевел взгляд на Катю с той же улыбкой и какой-то сквозь улыбку серьезной пылкостью.

— Что обо мне нафантазируете? — спросила Катя.

— Вы нестеровская девушка. Тихий свет в лице, кроткий, неземной, задумчивый взгляд. Будто обрела себя на сит.

— Нет, уж от ситов увольте! — возразила Ксения Васильевна. — Это уж несурозности вы понесли, нам не ситы, а жизнь подавай. Кстати, Арсений, а вы кто такой?

Он смугнулся, неуверенно ответил:

— Художник... И поправился: — В будущем. Сейчас студент ВХУТЕМАСа.

— Мудрено, — покачала головой Ксения Васильевна. — Переведите на русский.

— Полностью: Высшие художественно-технические мастерские, в Москве, на Мясницкой. У нас во ВХУТЕМАСе несколько факультетов. Я на живописном. Самые разные направления, непрерывные споры, борьба. Импрессионисты, кубисты... Но, я признаюсь, меня тянет к реалистической школе, хотя это и не очень модно сейчас.

— Что не гонится за модой, хвалю, — милостиво одобрила Ксения Васильевна.

Кате тоже понравилось, что он не очень уверенно говорит о себе. Ведь мог бы хвалиться воюю. Ведь они здесь, в Иванькове, понятия не имеют о кубистах, импрессионистах и вхутемасовских спорах.

— А вот и Авдотьюшка наша! — объявила Ксения Васильевна.

Авдотья вошла, замычала что-то, понятное только Ксении Васильевне. Они свободно между собою изъяснялись. Авдотья постоянно старалась услужить Ксении Васильевне: натаскает дров, наколет лучины, а Баба-Кока разрешала школьной сторожихе пошить на своей швейной машине.

— Московский художник к нам приехал, — сказала Ксения Васильевна. — Дома голодные сестренка и мать. Собрали разную одежду, немного новой материи, им в Москве матерью по талонам дают, в обрез, а кой-что достается все же. Авдотьюшка, поводя его по дворам, муки наменять. Если маслом или салом кто расщедритса, тоже нелишне.

Арсений вскочил, просительно приложив руки к груди.

— Пожалуйста! У меня еще соли пять фунтов.

— Мы-ы, гум-гум, — с охотой согласилась Авдотья. Они взяли привезенные Арсением узлы.

— Ни пуха ни пера! — пожелала Ксения Васильевна, а Катя молча ушла в класс.

«Нестеровская девушка. Тихий свет, тихий взор. Не знаю, кто Нестеров. Как я невежественна! Ничего не знаю. И кустодиевских картин не видала. Вдруг он догадается, как я невежественна?» — думала Катя, прохаживаясь по классу и слушая и не слыша громкое чтение Феди Мамаева.

Вчера, позабыв обо всем над романом Эварды и Глана, она не подготовилась к урокам и не знала, чем, кроме Короленко, занять учеников.

Время бесконечно тянулось. Долго, скучно. Если бы всегда она чувствовала себя так на уроках, ожидала скорее конца, какой пыткой была бы ее работа в школе!

Но сердце у нее металось и билось, и кровь то прихлынет к щекам, то упадет. Ученики с удивлением наблюдали за ней. Учительница сегодня была на себя не похожа, временами совсем забывала о них, и тогда они начинали «жать масло» и даже свалили с парты на пол Алеху Смородина. Но и это она не заметила. Или не обратила внимания.

Арсений с Авдотьей вернулись в сумерки.

— Полная удача! — ликовал Арсений. — Поздравляйте, выменял все до нитки с помощью тети Авдотьюшки. Спасибо, Авдотьюшка! Мамочка и не мечтает, сколько я всего раздобыл! — радовался он, сваливая с плеч на скамью мешок пуда на два муки, котомку с крупой и что-то еще, что Ксения Васильевна принялась с любопытством разглядывать, оценивать, взвешивать на руке под одобрительное мычание Авдотьи.

Все было празднично сегодня. Баба-Кока закатила на обед похлебку из баранины и олады с подсолнечным маслом. Возбужденный морозом, удачной меной, гостеприимством Ксении Васильевны и немалым интересом и удивлением Кати, Арсений разговаривал. Он уже не стеснялся и свободно чувствовал себя в Иваньковской школе, вернее в школьной кухне, за чисто отскобленным, непокрытым столом, где они после обеда пили морковный чай при свете лучины, что тоже забавляло Арсения. А главное, они так благодушно слушали его рассказы, Ксения Васильевна и Катя, особенно Катя, с ее тихим, все разгоравшимся светом в глазах. Он читал стихи.

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер.
На ногах не стоит человек...



Катя слушала с тревогой и затаенным дыханием. Катя не знала, что в Москве есть театр Мейерхольда. Что за театр? Политический, буффонадный, последнее слово революционного искусства! И Арсений, представьте, иногда удается бесплатно доставлять контрамарки. Подруги что-нибудь для театра. Хотя Мейерхольд отвергает декорации, вместо декораций простейшие геометрические фигуры, эффект поразительный! Но иногда и для Мейерхольда понадобится нарисовать кое-что.

А дальше Катя и Ксения Васильевна узнали, что в Москве есть еще театр импровизаций. А это что? Это вовсе уже небывалое. Представьте, выходит на сцену актер и... фантазирует роль. Вам нужно сыграть страсть? Захватит зрителей, потрясет! Как бы вы сыграли любовь? Не подсказанную, свою, ту, что чувствуете?

Катя, пораженная свалившимся на нее новостями, не отрывала глаз от Арсения, удивлялась, восхищалась и... трудно пересказать, что она чувствовала. Он пришел из другого мира. Почему-то она ощущала себя сейчас маленькой, жалкой. Нет, она не хочет быть жалкой! Его появление нисколько ее перевернуло. Она не знает, что с ней.

Отгоревший конец лучины отвалился в лоханку с водой и, шипя, погас. Ксения Васильевна зажгла от догорающей лучины новую, сменила в свечке. Огонек то вскидывался, то упадал, так бывало всегда, но сегодня игра огня и темей казалась Кате таинственной, фантастичной.

Ксения Васильевна слушала рассказ Арсения, недоверчиво покачала головой.

— Чудите вы с театром, голубчики. В прежние времена актер наизубок выучит роль, а без суфларской будки сама великая Ермолова на сцену не выйдет. Как это? Изобрази, что бог на душу положит. А если ничего не положит?

— Или еще,— улыбнувшись ее замечаниям и пропустив мимо ушей, продолжал Арсений, все больше воодушевляясь,— иной раз наша братия, ахутема-совцы, нагрянем к поэтам, в их клуб на Тверской «Стойло Пегаса». А там что! Имажинисты, кубисты, футуристы, ничевоки... Ксения Васильевна! Я потому рассказываю, что, вижу, вам и Катя любопытно, мне потому и делиться хочется... Конечно, бегло рассказываю, поверхностно. А вот слушайте, один поэт: «Иду. В траве звенит мой посох. В лицо махнет шаль зари». Я за одну эту фразу памятник поэту поставил бы!

Давно был поздний вечер. От лучины в кухне стало жарко и дымно, щипало глаза, Ксения Васильевна устала. Поднялась, опустив плечи, непривычно ссутулившись.

— Устала. Художник меня нынче до света поднял. Слышу, кто-то топчется в кухне. Авдотья вошла. Пришла в класс печку топить, а он в дверь — заиндевелый, промерзший. Из Москвы... Ах, Москва! Сокучилась я по тебе, разбердила душу художник... Вот и чеховские мотивы звились, а они нам ни к чему. Не уйдет от нас Москва, Катерина. И в «Стойле Пегаса» побываем, если продержится. Новости ведь не всегда долговечны. Мудрено что-то: «...в лицо махнет шаль зари». Ну, ладно. Да, Катюша, покажиська, верно ли нестаровская девушка? — Она ласково запустила руку в Катину волнистую гриву, чуть запрокинула голову, поглядывая в глаза. — Нат, художник, она сама по себе. В ней и тишина есть и буря. И ничуть ты у меня, Катя, не робкая. И в обители скрываться от мира больше мы с тобой не хотим. Ну, пойдем, что ли, Катя? Спать пора, ночь.

— Ксения Васильевна, мы еще поговорим, разреши! Катя, я еще хотел вам рассказать... Разреши-те, Ксения Васильевна! — взмолился Арсений.

— Коли так, разговаривайте. Не часто к нам из Москвы гости. Впервые.

Ксения Васильевна ушла.

— Прельст твоя бабушка! — с чувством сказал Арсений, когда Ксения Васильевна ушла. — А ты, Катя... — Он перешел с ней на «ты» и взял ее руку. — Кажется, я давно знал, что встречу тебя. Кажется, даже эту белую арку перед крыльцом видел во сне. Катя, почему ты молчишь? Расскажи о себе.

— У меня обыкновенная жизнь, такая обыкновенная, как и сказать нечего,— ответила Катя. — А у вас...

Он произнес твердо, чеканно:

— У меня одна цель. Одна, навсегда. Искусство. Никто не уведет меня от искусства.

— Кому уведет? Зачем?

— Ах, все полно противоречий, конфликтов! Миллионы голодных, люди полусоток стоят в очереди, добыл две воблы — и весь твой недельный паек, а на Петровке потюряклись частные магазины, лавочки, измайские жирные дамы в драгоценностях — откуда взялось? Хочешь, занимайся писать с них портреты.

— Не хитите!

— Разве только сатиру.

Лучина догорела и свалилась в лохань.

— Не будем зажигать, посидим в темноте,— сказал Арсений.

Но в кухне было светло от луны. Яркая, медно-желтая, она таинственно висела в высоком небе, окруженная морозным сиянием.

Арсений за руку подвел Катю к окну. В лунном свете лицо ее было бледно. Затаенные ресницами большие глаза не мигали. Страх и робкая нежность глядели из Катиных глаз.

— Я тебя нарисовал бы такую. Всю сияющую...

29

А уна поднялась высоко. Обогнула полнеба. Лучи ее лились теперь не в кухонное, а в три маленькие оконца Катини комнаты. Светлые пятна четко рисовались на стене. Сползали ниже. Легли на пол. Угасли.

Туша накрыла луну и звезды.

Закричали петухи. Школа стояла посреди широкой улицы, вдали от изб, но петухи так громко голосили и перекинулись во дворах, что долетало до Кати. Она лежала с открытыми глазами. Скоро утро. Странное творилось с ней. Вчерашний день звенел и сверкал. Какой-то ликующий вихрь налетел, и Катя видела тоненькие деревца с тревожными, несущимися по ветру ветвями.

Нет, это ей представляется увиденная когда-то картина. Она ясно видит те узкие, тонкие деревца с летящими макушками, слышит шум листьев.

Она не запомнила, кто нарисовал ту картину. Теперь будет запомнить художника. А! Не в том дело. Катя помнила вчерашний поцелуй у кухонного окна под лунным лучом, будто сейчас на губах. Томящая, влекущая, страшная... Зачем она вырвалась и убежала! Ведь она хотела, чтобы он ее целовал. Она радовалась и любила его. Она любила его с первого взгляда.

Какой он! Странно, образ его словно задержан дымкой, но она знала, ничто теперь ей не важно, ничто не нужно, ничего нет. Только он! Только он!

Вот что с ней. Вот что такое любовь!

Любовь — это печальная радость. Разве бывает печальной радостью? Я счастлива. Но почему же я сча-

стлива, восторг на душе, а грудь давит тяжесть? Нет, я ничего не боюсь. Я люблю его.

В нескольких шагах, у противоположной стены закрипела кровать бабы-Кои. Проржавевшая кровать скрипит при каждом движении, будто постанывает. Катя услышала: баба-Кока протяжно вздохнула.

— Спишь? — услышала Катя.

Затаилась. Не хотелось отзываться. Отчего-то встреча с Арсением немного отдавала от нее бабу-Коку. Что-то между ними легло. Поцелуй у окна! Память о той острой, несмелой, радостной нежности? — Спишь, Катя? — снова услышала она. — Ну, спи. — Баба-Кока повернулась к стене, проржавевшая кровать стонала и скрипела, пока она укладывалась удобнее на сеничке. — Ну, спи.

Катя глядела в темноту широко открытыми глазами. Он живет другой жизнью. Катя не знала, что жизнь может быть такой яркой и лестрой. Катя — Золушка возле его таинливой жизни. Она Золушка, но к Золушкам приходит счастье. К ней пришло счастье.

За окном начиналось серое, затянутое плотными тучами утро. В кухне что-то стукнуло, будто упало. Арсений спал на деревянной лжанке у печки, должно быть, это он неловко спрыгнул. Слышно: шагает. Зачем он так рано поднялся?

В потемках чуть занимавшегося утра Катя нашла платье, чулки, тихо оделась, чтобы не разбудить бабу-Коку. На щипочках сползнула в кухню, чувствуя сама свою легкость, словно в ней совсем не было веса. Чувствуя вчерашнее сладкое и пугающее замирание сердца.

Арсений стоял, наклонившись над лавкой, спиной к ней. Возился со своими пожитками. Мешок с мукой он перевязал бечевой. Вчера Авдотья дала Арсению эту бечевку, прочно свитую из пенки, как вьют у них в Ивановке пастуший кнут. Когда мешок перевяжется посредине бечевой, легче нести. Котомка с крупной и другими продуктами была тоже увязана. Его куртка из рыжего жеребьячего меха брошена возле котомки, она так идет ему, эта куртка!

Катя прислонилась к двери. Ужасная слабость подкосила ее.

Он быстро обернулся, словно почувствовал на себе Катин взгляд. Кате показался испуг в его лице. На мгновение. Такое короткое, что, может быть, и не было никакого испуга.

Он шагнул к ней, взял ее руки и, крепко сжимая, говорил мягко и ласково, как говорят маленькой девочке, когда хотят а чем-то утешить:

— Славная, славная Катя...

— Вам надо поесте перед дорогой, — помертвевшими губами вымолвила Катя. «Неужели он мог уйти, не простившись?» — Эта мысль ударила ее. Пол покачнулся. — Вам надо перед дорогой...

— Спасибо, разве только что-нибудь скоренько, боюсь опоздать, поезда ходят неточно, и с билетами не знаю как.

Она поставила на стол кринку молока, нарезала хлеба. Он ел торопливо и, кивая на дверь в комнату, остерегал шепотом:

— Не разбудить бы Ксению Васильевну. Передай, что я глубоко кланяюсь ей.

Катя надела пальто из мягкого плюша — остаток роскоши, бывший сак бабы-Кои, — влезла в валенки. Арсений, в куртке из жеребьячего меха и шапке-ушанке, вскинул мешок на плечо, взял котомку. В этой куртке он похож на Амундсена. Да, наверное, Амундсен был таким, высоким, мужественным... Или лейтенант Глан. Может быть, лейтенант Глан. Но она не Эдварда. Она не сказала ему ни одного жестокого слова.

— Прощай, милый дом, — с чувством говорил Арсений, — никогда не забуду тебя, твою Катю и бабушку, твою белую арку у входа.

Арка посерела, как все в это серое утро. Ветер стряхнул иней и трепал голые ветви.

Острый ветер кидал в лицо скользкую снежную пыль.

Косыми длинными струями неслась поперек дороги поземка.

— Будто и не было вчерашнего дня, рубинового солнца и снежных искр, — сказал Арсений, опуская уши шапки. — Нет, был, был! — воскликнул он, взглянув на Катю.

Наверное, она была сейчас дурна. Унылость портила ее и дурнила. Она не умела казаться веселой, когда ей плохо. Другие умеют, а она нет. На лице у нее так прямо и написано: «Мне плохо, безнадежно, все погасло».

— Никогда не забудете этот день! — благодарно сказал Арсений. — А теперь простимся, Катя. Я быстро пойду.

— Я тоже пойду быстро.

Встречный мужик — Катя не знала его, возможно, отец кого-нибудь из учеников — снял шапку, здороваясь.

— Тебя уважают, — заметил Арсений. — Ты чудесная, вся — долг, вся — для людей, тебя уважают!

Он говорил ей «ты». И ей безумно захотелось сказать ему «ты». Она набиралась сил, чтобы сказать: «Я тебя люблю. Я все готова для тебя».

Но слова застревали в гортле. Горло сжималось так больно, словно на шею у нее затаили петлю. Она молчала.

Они миновали сельцо, миновали крайнюю, с заительными наличниками избу Силы Мартыныча.

В открытом поле ветер нахнул сильнее и круче. Теперь уже все поле дымилось поземкой, рябило в глазах от бегущих поперек и вкось дороги снежных, юрких, извилистых змеек.

— Надо же, чтобы именно сегодня эта вьюга! — с досадой сказал Арсений. — А, ничего, — ободрил он себя. — До разъезда верст десять — двенадцать, не знаешь?

— Кажется, десять.

— Зачем ты идешь, устанешь, — проговорил он. И, снова взглянув ей в лицо, с поспешной лаской: — Милая! Спасибо тебе. Был сказочный вечер. Приеду домой, расскажу сестренке и маме и тут же тебе напишу.

— Да? — неожиданно вскрикнула Катя.

Она тронула рукав его жеребьячей куртки. Она хотела сама поцеловать его, сама, здесь, среди вьюжного поля, когда губы с трудом шевелились от мороза и ветра, а на бровях выросли белые полоски снега.

«Я тебя люблю».

Но позади, почти за спиной, раздался тот особенный звук, знакомый только деревне, хрупящий селезенки, когда лошадь трясет. И скрип саней. И бодрый голос с хрипотцой:

— Катерина Платоновна-а!

Сила Мартыныч догонял их в розвальнях, запряженных гнедой кобылой с заиндевелой мордой и плешинами снега на толстых боках.

— Катерина Платоновна, куда в непогоду?

Сила Мартыныч, поравнявшись с ними, остановил гнедую.

Им пришлось потесниться от саней, почти по колесу в снег.

— Гостя, видать, провожаете? — усмехнулся он, пристально и непонятно как-то вглядываясь в Арсений. — Знакомы. Вчерась баба моя наменяла ситцу у вашего гостя. До разъезда шагаете? Далеконо

по вьюге. Чужого не взял бы, а Катерины Платоновны гостя как не уважить? Садитесь. Мне на развед. Подвезу.

— Неужели? — зорал Арсений. — Вот так удалец Неслыханно!

Бросил в розовый мешок и котомку и сам бросился с размаху, плашмя, в сено, ловко перекинув ноги через грядку сани.

— Что же вы? Не простимшись? — удивленно, с укором сказал Сила Мартыныч.

— Все дорогу прощались. Прощай, Катя! Ксения Васильевна привет! — радостно закричал Арсений, не опомнясь от такой уж совершенно неожиданной удачи.

Он хотел вскарабкаться повыше на сено, прикрывавшее какой-то груз, но Сила Мартыныч остановил его:

— Сбочку прикорните, меньше продует.

Щелкнул вожжами, гнедая рывком дернула розвальни и резво побежала, хрупая селезенкой и откидывая из-под копыт снежные комья.

Катя стояла без слез, без мыслей, не понимая. Все произошло слишком быстро. Вынырнула из вьюги лошадиная морда и исчезла.

Сани удалялись. Дальше, дальше. Вот уже смутно видно сквозь пургу темное пятно.

А вот и не видно.

Катя закончена. Назад идти тяжелее, ветер в лицо.

Небо, поле, снежная мгла — все смешалось, клубилось, светило...

...Он кинулся в сани, счастливый, что повезло. Ему повезло...

Он даже скрывать не хотел своей радости. Что скрывать? Разве он ее обманул? Разве он что-нибудь обещал? Разве он ей сказал: люблю?

На улице Катя не встретила никого. Слава богу, из-за вьюги все сидят по домам. К тому же сегодня воскресенье.

Она еле тащила ноги. Еле тащила, какжда по пуду. Не обморозит бы нос. Ресницы потяжелели и слипались от снега.

На крыльце намело сугроб. Она с трудом отворила входную дверь и из сеней пошла не направо, в кухню и комнату, а налево, в класс. Надо немного побыть одной. «Никого не хочу видеть. Ни с кем не хочу говорить».

Холодно в классе. По воскресеньям Авдотья не топил; холодно, мрачно, но Кате надо побыть немного одной.

Она села за свой учительский столик, положила локти на стол, голова бессильно упала на локти. Всю эту ночь она не спала ни минуты. А прошлую ночь читала «Пана». Мучительная, чарующая повесть.

Глаза закрылись. Она уснула внезапно, как провалилась в яму.

Проснулась Катя через несколько часов в страшной тоске. Класс выстыл, дыхание слетало изо рта белым паром. Катю трясло от холода. За окнами, в мутной мгле несло все вкось и вкось мелким колочичным снегом.

Вдруг ужас пронзил Катю. Что-то зловещее, черное непоправимо обрушилось на нее.

Медленно, очень медленно, боясь идти, она пошла в кухню. В кухне, всегда теплой и уютной, сегодня нетоплено. Кринка из-под молока неубранная стоит на столе.

Катя постояла у двери в комнату. Отворила. Да, случилось то, что она уже знала и чувствовала, когда проснулась в невыносимой тоске.

Баба-Кока лежала на кровати, лицом к стене, накрытая с головой одеялом, в той позе, как утром ее оставила Катя, выйдя на цыпочках, чтобы не разбудить.

Бешумно синели сумерки на дворе. Уроки на сегодняшний день кончены. Ученики разошлись по домам. В комнате топились голландская печь. Жарко потрескивали березовые поленья, стреляли угольками. Катя сидела у печки одна. На полу, обхватив колени, как раньше часто сидела в прошлые сумерки. Только теперь одна...

Правда, ее мало оставляли в одиночестве. В первый же вечер после похорон притопал Федя Мамаев с товарищем.

— Председатель прислал домовничать. Да мы и сами.

— Бон-жур, ка-ма-рад! — старательно по слогам выговорил Федина товарищ и захопал ресницами, не зная, в точку ли попал с camaraderem.

— Тетьшка Авдотья просилась, а председатель нам велел. Она понять-то поймет, да не ответит. А с нами поразговаривать можно.

Они изо всех сил старались отвлекать от горя свою учительницу Катерину Платоновну. Как бы она была без них? Пропала бы Катя без них.

Ученики по очереди приходили к ней вдвоем не читать и укладывались валежом на скрипучей кровати Ксении Васильевны.

А топила голландскую печку Катя одна. Сидела у печки, ворошила угли кочеренкой и думала.

Все знали, учительница шибко горюет о бабушке. А другое? Никто не знал о другом. Если бы одно это горе! Если бы одно это горе, внезапное, такое отчаянное, что хочется головой биться о стену!

Рассказание, стыд рвали на части Катино сердце. Никто не знал, что в ту ночь, когда ее красивая бабушка, с прической венцом и горделивой осанкой, когда баба-Кока оклинула ее перед смертью, Катя не отозвалась. Притворилась, что спит. И если бы Арсений в то вьюжное утро, когда она его провожала, позвал... Стыд. Горе и стыд.

Нет! Этого не было. Не могло быть. Пусть бы он упал перед ней, прямо в снег, и обнимал ее ноги в валенках, молил, клялся в любви и говорил необыкновенные слова, какие говорят только в книгах, разве могла она забыть бабушку? Кинуть? Люди, я гляжу вам в глаза, гляжу вам прямо в глаза, не стыжусь, не было этого...

Катя сидела у печки, обхватив колени, тихо покачиваясь из стороны в сторону, мыча, как Авдотья, сквозь зубы.

Огонь плясал и ярился, сухие поленья дружно сгорали, скоро гряда раскаленных углей плавилась, как металл, дыша в лицо жгучим жаром.

В дверь постучали. Она не ответила. Петр Игнатьевич вошел, не дождавшись ответа. Скинул полушубок, бросил у двери. Пахнуло овчиной, махоркой и морозной свежестью улицы. Петр Игнатьевич переставил от стола к печке стул, сел. Помолчал.

— Плачь не плачь, а жить надо, Катерина Платоновна.

— Живу. А зачем?

— Не дури, Катерина Платоновна.

Она подняла на него тусклый взгляд.

— Петр Игнатьевич, один раз я проснулась, а баба-Кока... Ксения Васильевна печку топил. Утром. Мы утром в комнате никогда не топили. Нет, она что-то сжигает, а я не остановилась, не обратила внимания... Не спросила, а она... — Катя всплинула, проглотила плач... «она письма сжигала и штакетку». У нее штакетка была с тройкой коней, она в ней письма хранила. И сожгла. А потом говорит: наверное, скоро умру. И меня утешает, нет-нет, не скоро... А я не догадалась ни о чем...



Петр Игнатьевич опустил руку Кате на плечо. Худое, тонкое плечо утонуло в его жесткой ладони.

— Твоя бабушка с ясной душой век прожила. Ты при ней была все равно, что у Христа за пазухой. Тыфу, понятие старорежимное, не выкинешь никак из Башки! Иначе скажем. От Ксении Васильевны всяк ума нахватается. Бывало, придеши... А, да что вспоминать! Большая беда, Катерина Платоновна, на тебя навалилась. А ты одолей, не то она тебя одолеет. А тебе жить надо.

— Как я перед ней виновата! — отчаянным шепотом выговорила Катя.

— Живой перед мертвым навсегда виноват. Что сделал не так, поглядел не так, после-то во сто раз виноватит.

— Я не могу вам рассказать, Петр Игнатьевич...

— И не надо. Я не поп, передо мной исповедоваться. А ты себя не грызи, помучилась и утихни. Ты то пойми, что народу нужна. Школе без тебя нельзя, тем и держись. Детишки малые сердцем к тебе прилепились. Мой Алеха намердился простыл, кашель привязался, так мать насилу удержала на печке. Пойду да пойду в школу, стих станем заучивать. Вон какую ты им открываешь культуру! Ты у нас на селе первая культурная сила. Были две, осталась одна. На тебя вся надежда. А ты нашего иванковского общества надежду не на все сто оправдываешь. Долг за

тобой. Вправе требовать. Что брови аскинула? Обижаясь? Обижайся, а слушай. Совесть у тебя, Катерина Платоновна, есть, а боевистости мало. Мало, говорю, боевистости, революционного духа, что на героизм толкает. Девушки в твоих годах, случалось, против беляков воевали. Сам видал. Из винтовки бабахнет, а ее стволom в плечо толк, назад инда качнет, а она опять же стреляет. Где твой героизм, Катерина Платоновна?

— Чего вы хотите от меня? — удивленно, даже гневно спросила Катя.

— Барышня, — насмешливо сощурился он, — чуть тронь, и губки надула. Чего хочу? Хочу, чтобы выше мечтала, чтобы в нашем сельце Иванькове темноту одолеть и новую жизнь наладить. Мне в укоме прохода не дают: где ваш ликбез? Лениным со всей строгостью декрет о ликбезе подписан, а вы спите в Иванькове. Спим, отвечаю, до времени спим, учительница наша молода, приобьикнет, объясню я, новую предьявим обязанность. Так вот, Катерина Платоновна, приказ о ликбезе тут у меня. — Он похлопал по карману гимнастерки. — Прописано в нем, чтоб немедленно всех неграмотных грамоте обучать, в самом срочном порядке. У нас в Иванькове бабы все до единой неграмотные. Мужики еще кой-как кумекают азбуку, а бабы ни в зуб... От чугулки в десяти верстах, а будто на краю света живем, темнотища. Чей стыд? Недоработка чья? Ну-ка подымайся, учительница!

Он протянул ей руку и легко, как пушинку, поднял с пола. Исхудавшая и бледная, она, поникнув, стоя-

ла перед ним, и такое глубокое горе, такую прибитость увидел он в ее лице, что от жалости крикнул. И поглядел ее темноволосую бедную голову. Плечи у Кати затряслись. Он ласково гладил ее волнистые спутанные волосы.

— Выплачешься — полегчает.

Потом осторожно отстранился. Войдет ненароком кто, ослаят девочку. У нас языки чешать любят, особенно бабы.

— Буду вести ликбез,— сквозь слезы сказала Катя.

— А еще подкажу я тебе, Катерина Платоновна, по уезду слышно, в иных школах для культурного развития сельской молодежи драмкружки завели.

— Заведу драмкружок.

— А еще, Катерина Платоновна, комсомольскую яечку надо нам обдумать. То дело серьезное. О том особый пойдет разговор.

Вечером Авдотья заправила лампу керосином, зажгла в классе над учительским столиком.

Катя дожидалась за столиком, перелистывая новенькие, присланные с Авдотьей председателем сельсовета буквари для ликбеза. Выдали в городе. Тонкие, тетрадного формата, на газетной бумаге. «Мы не рабы».

Женщины входили одна за другой. Мужчины не шли. Немного их в сельце, а кто есть, хоть по слогам газету осилит.

Женщины входили, неловко рассаживались, с трудом втискиваясь за парты. Прикрывали концами полushалка рты, пряча стыдливый смехок.

— Имя? Фамилия? Возраст? — спрашивала каждую Катя строго, стараясь таким образом замаскировать стеснительность, отчего даже пот выступил на лбу.

— Имя? Фамилия? — записывала Катя в тетрадь. Запись эта еще более смущала и пугала иванковских женщин.

— На кой нам грамота? Корову подоим и без грамоты, была бы корова, — сердито проговорила одна.

— Елизавета Мамаева, — записала ее Катя в тетрадь.

Федя Мамаева мать. Он-то способный, У него быстрый ум. Как он однажды посадил Катю в лужу, ай-ай!

— Ничем не пошли бы, силком согнал председателя, — подхватила другая.

А третья дерзко, озорно:

— Бабоньки, на кой нам ему подчиняться? Чай, не старое время. Не захочем — и basta.

Третью Катя помнит, помнит отлично!

Стуилось это в первый месяц приезда в Ивановку. Тогда Петр Игнатьевич частенько забегал в школу, посоветовать что-то, поспрашивать, в чем нужда, но больше порасуждать с Ксенией Васильевной.

Присядет на корточках перед печкой, курит махорку, пуская дым в горящую печь, и разговаривает с бабой-Коккой. Они любили обсуждать вопросы политики. Петр Игнатьевич толковал декреты за подписью Ленина, новые советские законы и суровую жизнь страны, рисовавшуюся в газете «Беднота» открыто и страстно. Ксении Васильевне нравилось, что открыто и страстно. Не таила «Беднота», что миллионы мрут в Поволжье от голода, что в иных губерниях бандиты грабят и убивают мирных людей. И контрреволюционные мятежи еще не всюду прикончены. А большевистская партия рушит зло, бандитизм, контрреволюцию и будет рушить и добьется полной победы. И народ ведет за собой.

Когда Петр Игнатьевич, выгнанный из карманов газету, рассказывал или читал о бурных событиях жизни, глаза у него сверкали и грудь высоко поднималась

— таким азартным и революционным человеком был иванковский председатель.

И вот один раз настужь распахнулась дверь, иородная, складная женщина, с черными угольными бровями и румянцем, будто накрашенным свеклой, вихрем ворвалась в комнату.

— Вон ты где, соколик мой! Сказался, в сельсовете, а сам в школу. Незадаром уши мне прожужжали: поспеши за своим, к учительке шастает. А ты... я те дам чужих мужиков завлекать!

Она подперла кулаками бока и в упор, разъяренно усталила на Катю. Катя чувствовала, что краснеет ужасно, постыдно, губы вздрагивают, а слов нет.

Но почему-то председателя жена опустила кулаки. Перевела взгляд на Ксению Васильевну, снова усталила на Катю, по-иному, недоумоенно.

Петр Игнатьевич швырнул в печь cigarку. Встал с белым, как бумага, лицом.

— Бешеная! Спроси сына Алеху, каковы они люди.

— Петруха, сама вижу, — растерянно пробормотала она, — зря натрепали. Та стара, а эта... по лицу вижу...

И умчалась вихрем, как ворвалась.

— Извиняйте, — хмуро буркнул председатель.

— Э, Петр Игнатьевич, чего не бывает! Только святых не бывает, — спокойно ответила Ксения Васильевна.

Некоторое время он не ходил в школу. Потом позабылось.

Вот она, та самая, «бешеная», Варвара Смородина, с угольными бровями и свеклольным румянцем, призывает бунтовать против ликбеза.

— Не захочем — и basta. Кто нам прикажет? Чай, не царский режим.

— Ежели сама председателя хозяйка против высказывает, нам и бог велел. Айда по домам! — позвал чей-то решительный голос.

— И вправду. Председателю перед начальством ответ держать, а нам что?

— Гляди, Варвара, будет тебе от мужа, что наперекор власти мутишь, — остерг кто-то.

— Мой ответ, а вы, как знаете, слушайтесь.

Но настроение было сломлено, женщины не желали слушаться. Некоторые уже собрались уходить.

Положение создавалось критическое. Если сейчас разойдутся, после трижды, четырежды, в десять раз труднее будет собрать! И потом, самое главное, что скажут завтра Катини ученики — младшие, средние, старшие? «Не послушались наших мамки учительницы, значит, не больно-то стоят».

Когда что-то по-настоящему опасное угрожает тебе, стеснительность как ветром сметет. Капельки пота мгновенно просохлали у Кати на лбу. Она не стеснялась, не робела. Знала одно: надо спасти положение.

— Товарищи женщины, поднимите руки, у кого дети учатся в школе, — сказала она строгим учительским голосом.

Новое требование озадачило женщин. Могли бы привянуть: на сельских сходках то и дело приходилось голосовать «за» или «против».

Тем не менее озадачило.

Варвара Смородина первой вытянула руку.

— Мой Алеху в младшие ходит.

— А мой в третьих, — сказала Елизавета Мамаева. Еще поднялось несколько рук.

— Что же вы делаете, товарищи матери! — укороженно проговорила учительница. — Авторитет мой хотите сорвать? Разве ваши дети меня слушаются? Это было так неожиданно. Так убедительно.

— Катерина Платоновна, пристыдила, — ахнула и созналась Варвара Смородина. — Молода, а с головой. Согласна, учк.

— Бабы, и вправду нам не худа желают. Жизнь-то новая, привыкать надо.

И начался мирный, довольно будничныи урок. Другая на Катинем месте, вероятно, прочитала бы зажигающую агитационную лекцию, но Катя истратила на выяснение отношений весь душевный заряд и потому без лишних слов приступила прямо к делу. Малышам Катя называла по одной новой букве в урок, а здесь назвала сразу несколько. Можно сказать, обрушила на бабы, не привыкшие к отвлеченным понятиям головы кучу премудростей. Алфавит, гласные и согласные, звуки и буквы, и слоги, и даже знаки препинания. Все было выложено залпом, подряд. Ошеломленные слушательницы только вздыхали.

Но первое, сообщая прочитанное, как и Катиними младшими, слово было: «м а м а».

— Вы прочитайте. Вы прочитайте, — заставляла она.

Они читали. Лица светлели.

Не знала Катя методик. Никто не учил ее, как надо учить. А вот жила в ней догадка. Сердце, что ли, подсказывало?

И бабы глядели на нее жалостливо, а значит, полюбили ее.

Была она тоненькой, слабенькой, длинноногой, усердной, так, видно, ей хотелось научить их грамоте, что иванковские женщины, и раньше учительницу не ругавшие, теперь вовсе растрогались. Недавно бабушку проводила на кладбище. Срок пришел бабке, никого не минует, а девушку жаль. Сирота. Говорят, ни отца, ни матери, ни кола, ни двора.

Разговор после урока возник сам собой. Были среди женщин вдовы. У кого полегли на войне, у кого вернулись калеками. Редкую избу обошло горе.

И они делились с учительницей пережитым в лихие военные годы. Да и нынче не сладко.

— Ты нам своя стала, иванковская, к детишкам нашим со всем сердцем и к народу уважительная, да еще могилка на погосте сродника.

— Бабыньки! — сказала Варвара Смородина, у которой свекольный румянец расплылся так горячо, что казалось, тронь — обожжешься. — Бабыньки, споем, что ли? Учительница на сиделки не ходит, скромна ты лишку, Катерина Платоновна. И песен наших не знаешь.

— Для веселья не случай, — возразили ей.

— А мы не веселое, что душа просит.

Все затихли, и голос, глубокий и низкий, печально завел:

Счастье мое, счастье,
Где ты запропало?
Или мое счастье
В воду камнем пало?
В воду камнем пало...

31

З аписку принесла Авдотья в класс во время занятий.

«Катерина Платоновна, отпускной учеников. Собираю сход. Вопрос важный. Готовься вести протокол.»

Председатель Петр Смородин».

Странно. Почему председатель собирает сход не вечером, как обычно, а сейчас? Почему снова ей, Кате, поручается вести протокол?

Впрочем, второе понятно. Втягивает в общественную жизнь, отвлекает от мучительных мыслей. Хороший человек Петр Игнатьевич!

Последние время Катя редко встречала его. Зато часто стала прибегать Варвара, жена. В дела сельсовета она мало вникала. Говорила о доме, ребятишках, разных сельских новостях. И сокрушалась, что сохнет ее Петруша до дум.

— Жил бы обнаковенным мужиком, как до войны. Бывало, бедность та же, а заботы не те, плечи не гнут. Веселая была наша жизнь молодая! Выйдем на полосу. Я в лаптях, он в лаптях, а нам все ничем, все на радость. Косой махнет, я инда само ввязать кину, не наглажусь, ненаглядный ты мой! Он меня бешеной-то за что прозывает? За любовь. Ревнива я от любви, нрав у меня неспокойный.

Люди собирались на сход. Ученики еще не все разошлись, а класс уже набился битком. Парт не хватало. Принесли лавки из кухни, два стула и табуретку из комнаты учительницы.

На табуретку села секретарствовать Катя, а на стулья перед учительским столиком — Петр Игнатьевич и приезжий человек, не старый, но с длинными, серыми от седины усами, высокий, худой, в красноармейской гимнастерке, с револьверной кобурой на ремне.

— Начальство, — перешептывались в классе.

Петр Игнатьевич представил:

— Член уездного ревтрибунала.

По толпе прошел недоуменный шумок. И утих. Напряженная тишина воцарилась в классе. Понятно, не каждый день увидишь члена ревтрибунала на сельском сходе. В сельце Иванкове такого еще не случалось.

Прямо перед собой, в первом ряду, не на парте, в которую по грузности едва ли мог втиснуться, а на поставленном стойком нерасколотом полена-кругляше увидела Катя Силу Мартыныча. Учительский столик был мал, потому, должно быть, места в президиуме ему не хватило.

«Наверное, обижен, что снова меня назначили секретарем, — мелькнуло у Кати. — Неужели Петр Игнатьевич не понимает, что не надо так, не надо. Не хочу я, чтобы меня так вовлекали в общественную жизнь!»

Член ревтрибунала заговорил глухим, простуженным голосом, не грозным, а каким-то невеселым, усталым:

— Товарищи крестьяне, вы знаете нашу нужду. Нашу общую с вами нужду, всего советского народа горе. Двадцать один миллион человек с лишним на краю могилы от голода. Погибают восемь миллионов детишек. Зерно, что по налогу собрали, посылаем первоочередно в голодные губернии на семена. Весна не за горами, чем сеять? Не посеешь — и будущий год обречен на голод. Бережем зерно на посева. Оттого не хватает прокормить голодающих. И рабочие в городах опять же остаются на нищем пайке. Товарищу крестьяне, каждый пуд, что вы сдадите государству в виде налога, есть чья-то спасенная жизнь.

Некоторое время было молчание. Не перешептывались, не толкались локтями поделиться мнением. Молчали.

Вдруг Варвара Смородина в полной тишине кинула вызывающе громкий вопрос:

— И что-то вы, товарищ ревтрибунал, агитацию понапрасну ведете? Наше сельцо не отсталое. По первому призыву сполна сдали налог. Чего еще от нас требуется?

Румянец ее до темноты погустел, а Петр Игнатьевич, краем глаза увидела Катя, стал бледен и подавленно тих.

Выступление Варвары, словно болт о железную доску, когда сликают на сход, раскачало примолкшее общество.

Незаврачный мужик с жиденькой бородкой, в худом полушубке, шлепая шапкой в такт словам по колену, отчеканивал:

— Учителью дай. Больнице дай. Голодающим дай. Откуда мужику взять-то? Вы будумали что?

И другой, древний старик, опираясь на клюку жилистыми руками, темно-коричневыми, как дубовые осенние листья, неторопливо заговорил:

— Без крестьянского класса ни чье, ни наше государство не выживет. Мы сознаем. Мы не против своей власти помочь. Да только лишку нас жалуют, норовят кишки до последнего вытянуть. Сверх налога sobereshь — еще подавай. Снова дашь — опять же нехватка. Когда довольно-то будет? У нас полсельца бескорневые, самим бы маленько подняться охоте... Ладно, еще одно слово скажу да и кончу речь. Вы, начальники, сами-то много голодающим жертвуете?

Представитель уездного ревтрибунала не вскипел от таких дерзких речей и, хотя на щеках нервно заходили желваки, ответил спокойно и выдержанно:

— Мы не седем, не жнем. Отдаем, что имеем. Дни и ночи имеем, их и даем, что настоящий коммунист, не примазавшийся. А как у вас, в сельце Иванькове, дела обстоят, расскажет председатель сельсовета Петр Игнатьевич Смородин.

Катя строчила, строчила протокол и старалась в то же время не только слышать, но видеть. Увидела, Петр Игнатьевич угрюм и недобр. Если бы Катя всегда его знала таким, боялась бы такого председателя, непреклонного, жесткого, с плечами уж слишком прямыми, грудью уж слишком вперед.

— Дело так обстоит, что позавыл, как ночью спят. Отощал от заботы, штаны падают.

— Ты про свои галифе помолчи, о деле давай, — бросил из толпы.

— Скажу о деле. До последней точки, товарищи односельчане, выложу правду. Пока до сути дознался, отбавлялся. В ухоме из меня душу трут, а я не сдаюсь. Потому — доказательств в руках не имею. Нынче ншел. Виноват, товарищи. Каюсь. Не углядел вовремя, хотя состою на посту председателя. Вор есть среди нас, бесстыжий утайтель крестьянских пашен, эксплуататор и классовый враг.

Председатель выговорил эти страшные слова и умолк. Все подавленно ждали, что скажет дальше. Он не говорил. Тогда с разных парт, в несколько голосов, разом потребовали:

— Кто вор? Называй.

— Он! — пальцем указал председатель на Силу Мартыныча.

— А-ах! — прокатилось по толпе.

Катя опустила карандаш. Не могла дальше вести протокол. Действие начало развиваться с драматической скоростью, Катя всем своим существом в нем участвовала, забыв, что должна вести протокол.

Ни черточки не дрогнуло на щекастом, обложенном широкой бородой лице Силы Мартыныча, не отхлынула кровь.

— Страшен сон, да милостив бог, — выговорил с незлобной улыбкой.

— Не скажу про бога, а пролетарский суд к расхитителям народного достояния не милостив. Да еще в такое-то время, когда люди гибнут...

— Понапрасну не распаяйся, товарищ председатель.

— Я тебе не товарищ.

— Рано отказываешься. Как бы за облыжное позакание отвечать не пришлось.

— Отвечу, да не за то. Что проморгал классового

врага, за это отвечу. В восемнадцатом году такую шкуру, как ты, без замедления бы к стенке, — все страшнее, беднее и задыхаясь, прокричал Петр Игнатьевич.

Представитель ревтрибунала тронул его руку, судорожно сцепившуюся в край стола:

— Стоп, товарищ Смородин.

Председатель оторвал от стола руку, растопыренный пятней расчесал волосы, перевел дыхание и отрывисто приказал:

— Нина Ивановна, выходи.

С изумлением и трепетом Катя увидела: вдова учителя поднималась с парты и тихими шагами вышла на середину класса. Долги показались Кате эти шаги, невнятно доibly. И такой скорбный вид у нее, в черном платке, с черными провалами глаз.

— Нина Ивановна, говори без утайки.

— Товарищи, мужики и бабы иваньковские, преступница я перед вами и перед Советской властью.

Какой жалкий у нее голос, дрожащий и жалкий. Все, пораженные, ждали. Вытягивали шею, боясь не услышать. Сила Мартыныч окаменел, обратив на вдову учителя тяжелый, неподвижный взгляд.

— Муж мой, учитель Тихон Андреевич, в девятнадцатом году ушел на Деникина, знает. После Деникина послали на Врангеля. Врангеля рушили, пора бы домой. Петр Смородин с фронта тогда возвратился. И другие мужики, кто ушел. А моего нету. По своей охоте или по приказу на Дальний Восток подался. Через него и узнала, что есть такой, Дальний Восток. Раньше-то и не слышывала. Год скоро, как Тихон Андреев сгинул. Нет слуха...

Она обворава речь и поникла, низко нагнула голову, пряча лицо.

— Дальше говори, — приказал председатель.

— Не могу я.

— Говори.

Блеклым голосом она продолжала:

— Сила Мартыныч в сельсовете, лошадный, в город то и знай ездит, про мужа узнал... Вдова опять прервала рассказ, и снова все ждали без звука... К белкам на Дальнем Востоке Тихон ушел. Хуже дезертира, говорит, твой Тихон, изменник советскому обществу. Теперь, говорит, красноармейский паек с тебя снимут, а то и вышлют в холодные места с ребятишками. Я в ноги: Сила Мартыныч, что хошь с меня требуй, только народу не сказывай! Тогда и забабил. Батрачила на него. Только молчи, детей моих не позорь. А дальше — хуже. Раз по-соседски приволок ночью три мешка ржи. Валил спрятать в чулане. А зачем, не сказал. Так и пошло. Ночью притащит, в другую ночь отвезет. Мешков тридцать сплавил. Куда? Откуда? Не знаю. Сначала-то не догадывалась. Потом поняла. Да запер он мне рот на замок. Пригрозил: скажешь слово — изменниками всю семью объявлю. А ребятишкам годков-то: старшему шесту, меньшому четвертый.

— Хватит, — остановил председатель. — Астахов, ты отвечай. Встань. Стоя отвечай народу.

— Вроде не на суде мы, вставать-то. Заначалствовались, Петр Игнатьич. Много на себя берешь, — невозмутимо, со смешком ответил тот.

Но встал. Плечистый, крепкий, с окладистой бородой, волосы на концах завиваются кольцами — богатырь!

— Отвечай.

— Врет она. С первого до последнего врет. Про учителя, правда, в городе шулок мутный поймал, да неохоч я до сплетен. И ей по-соседски совету: мол, пока казенного измещения нет, поддержи язык за зубами. Спасибо, соседства, хорошо ты мне за доброту отплатила. Рожь я ей таскал! Да откуда я столько ржи наберусь, посудите!

— А это, товарищи, я объясню,— быстро заговорил председатель.— Объясню досконально. Слушайте, как было. В семнадцатом, после земельного декрета, землемеры наши пашни измерили. А он, Сила Астахов, когда мы его в сельсовет избрали, а я, дурак безмозглый, всю бухгалтерию на него без контроля свалил, он подложных справок для земельного дела настрепал. Неразбериха там, в земотделе, запутались они в первый-то год с новым налогом, не вдруг разберешься, а как разобрались, зачесали затылки: недостает в сельце Иваньково пашен, провалялись сквозь землю. Вот ведь как, братцы, бывает: пропали засеянные десятины, и все. Значит, и налога с них нет. Так и записали в земотделе, что нет. А он, бывший товарищ Сила Астахов, хлебный налог с каждой десятины до пуда собрал, только заместо земотдела к Нине Ивановне в чулан, да поstepенно к дружке на развед. А тот дальше.

— Опять же врешь,— не теряя спокойствия и уже не стоя, а снова опустившись на полено-кругыльш, поглаживая бороду, проговорил Сила Мартыныч.— Поперек горла я тебе, председатель. Сожрать задумал. Кто видел спрятанный хлеб?

— Кто же увидит? Ты, Сила Мартыныч, приказывал никого в мой чулан не допускать, а ворованный хлеб там лежал,— тихо ответила Нина Ивановна.

— Наговорить всякое можно. Облыгатели испокон веку велись, и в наше, хоша и новое время, хватают их, облыгателей,— как бы с самим собой рассуждал Сила Мартыныч, задумчиво оглаживая широкую бороду.— Да и то сказать, сам сплюскал, не молчать бы тогда про Тихона. Бабу пожалел, а она со страху по подсказке нынче на меня небилучи несет, вышь, дрожка дрожит, как оца под ножницами.

Внезапно, как всегда неудержимо и бурно, вскипела Варвара Смородина:

— Никак! Нина Иванна, и где твоя совесть, любовь твоя где? Оговорил злодей мужа... товарищи бабы, а тем более мужики, ослепли мы, не замечаем, как Сила Астахов со дня на день богатеет. С чего богатеть? Неудомек. А ты, Нина Иванна, сразу и поверила, что муж к белкам ушел? Сразу и земные поплосы бить. И-эх! Где твоя любовь, Нина Иванна? Да я бы про своего... кто бы что ни брехал, глаза выцарапено, потому знаю, мой мужик честный, мой мужик не продаст...

— Варвара, молчи!— грохнул кулаком по столу Петр Игнатьевич.— Ты зачем мне акафист поешь? Обо мне разговор? Завела про любовь! Молчи, время знай.

В классе поднялись хихиканье, шум, и представитель ревтрибунала постучал пальцем по столу, призывая к порядку.

— Без свидетеля не докажете. Свидетеля нет,— уже совсем успокоенный неуместным взрывом Варвары Смородиной сказал Сила Мартыныч.

И вдруг... вдруг Катю обожгло: Катя вспомнила книжную полку в чулане, хилый огонек котилки, который Нина Ивановна загораживала ладонью, чтобы не погас от дыхания, а за ее спиной в темноте припосланные к стене вилы и грабли и ворох сена в углу, прикрывавший что-то. Она бегло все это увидела. «Зачем сено в чулане?» — мелькнуло тогда, но не задержалось. Занята была книжками. Раздобыла кипу книг, негаданное счастье...

Так вот, оказывается, зачем там было сено.

— Я свидетель. Я видела.

Волнуясь, спеша, Катя рассказала, как и зачем пошла в темный чулан Нины Ивановны и что там увидела.

— Мешки видела?

— Мешки!

Катя потерянно взглянула на председателя. И он глядя на нее с нетерпеливым, страстным ожиданием во взгляде, но молчал и ни кивком, ни движением ресниц ничего не подсказывал.

— Мешков не видела,— утаившим голосом ответила Катя. И виновато: — Не знаю. Наверное, там были мешки.

Вздых разочарования услышала она в душном классе.

Сила Мартыныч презрительно хмыкнул:

— Наверное! Надежных свидетелей насобирали председатель! Идите, граждане, проверьте, кто хочет, есть ли у соседки в чулане мешки.

— Нет,— тихо ответила Нина Ивановна.— Ты их утром в воскресенье на развед увез. Ночью в сани нагружил, сеном прикрыл, а утром увез. Еще метель тогда поднялась.

— Что-то не помню. Пугаешь, Нина Ивановна. Вроде нигде не ездил я в воскресенье.

Тогда уверенно, громко крикнула Катя:

— Ездил. Я видела. Знаю.

Радуясь, что теперь-то она безошибочно его уличит, этого плещистого, сильного и чужого человека с желтым взглядом. Она не замечала раньше, что у него желтый взгляд. Тяжелый, безжалостный.

— Что ты будешь делать, и тут учительница наша в свидетелях,— развел руками Сила Мартыныч.— Скажи, какая быстрая! Да усердная. Все норвит в пользу властям доказать.— Он задумался, будто вспомянул. И вспомнил: — А ведь и вправду, Катерина Платоновна, было. Догнал вас в поле, точно не скажу, в воскресенье ли или в другой какой день.

— В воскресенье.

Тут замесался представитель ревтрибунала:

— Катерина Платоновна, почему вы уверены, что именно в воскресенье встретили Астахова в поле, вернее, он вас догнал?

— Помню, была метель, сильная вьюга. И еще...

— Вот, вот, вот!— со злобным смаском подхватил Сила Мартыныч.— То-то и есть, что еще... Эх ты, девка, не соблюдаешь себя, а ведь учителька все-таки, или, как нынче называется, шкоаб. Правильно. Еду в воскресенье к свату в Дерюжино, за разведом пять верст. По семейной надобности еду, оттого и воскресный день выбрал, в будни недосуг. А метель — глаза слепнут. Вижу учителька толпает, парня провозжает. Ну, я парня подвез до разезда. Сам оттуда в Дерюжино, к свату.

— Скажите, Катерина Платоновна,— деликатно и мягко обратился представитель ревтрибунала,— нам важно знать, кого и куда вы провозжали?

— Эва, кого!— воскликнул Сила Мартыныч, ворочаясь на своем кругыльш к народу и ища и может быть, уже находя в ком-то поддержку.— Кого? Тейка моя несмышлениш, и та догадается. Чечвал у ней парень, вот что. А сам мешочник. Целый день шнырял по селу.

— Катерина Платоновна, как зовут вашего знакомого? — снова спокойно спросил представитель ревтрибунала.

— Арсений,— сказала она. И... ужаснулась. А дальше?

— Арсений,— записал в книжечку товарищ из ревтрибунала.— А дальше? Отчество, фамилия, адрес. Мы его в сутки разыщем. Это важно, Катерина Платоновна. Не мог же он не заметить, что везет Астахов в санях. Итак, Арсений. А дальше?

— Не знаю,— почти беззвучно ответила Катя.

— Как не знаете?— удивился он.

— Не знаю.

Посидла Катя! Никогда, никогда не подыаться ей в глазах иваньковского народа. В ее классе, ее школе



сошлись отцы и матери ребятшек, которых Катя учит и любит, и вот... Что они будут думать о ней? Как им обьяснить? Раньше она шла улицей и встречный крестьянин снимал шапку и низко кланялся. А теперь?

— Вот ваши свидетели! — уже грозил и наступал Сила Мартыныч, — Кого, председатель, против меня выставляешь? Всем ведомо, учителька по твоей дудке пляшет. А за что? За то, что частенько в школу захаживаешь, да все под вечерок норовишь...

— Ух, гадина, контра! — во весь голос завопила Варвара Смородина. — Куда повернул! Нет, контра, учительницу позорить не дам. Мужика моего не пристегивай, он передо мной чист, как свеча, а что до парня... так в ту пору еще бабушка живая была, когда они парня бедного из жалости переночевать на печку пустили...

— Бабушку вспомнила, — ехидно ухмыльнулся Астахов. — Не на пользу себе бабушку вспомнила, гражданка Варвара Смородина.

Варвара ошешила.

— Чего? О чем ты?

— Где кольцо? — резко повернулся на кругляше лицом к председателю Сила Мартыныч.

— Какое кольцо?

— Ага, побелел? Ты, Смородин, меня в землю живым сообразил закопать, а не вышло. А я тебя покрывать не намерен. По справедливости желаю вывести на свежую воду. Товарищи крестьяне, помните сбор на голодающих был, тута, в классе! Бабушка Ксения Васильевна при всем народе в пользу голодных кольцо отдала. Золотое, с драгоценным камнем, чай, недешево стоит. Где оно?

— С ума своротил, Астахов, — до растерянности удивился Петр Игнатьевич.

— Покамест при полном уме. Где кольцо?

— Да я ж тебе расписку вручил, что вскоре же после того собрания кольцо в комиссию в городе сдал.

— Не вручал ты мне расписки, Петр Смородин, а кольцо, как в карман себе положил, так там и осталось.

Петр Смородин вскочил, схватился за грудь, рванув рубашку, несколько секунд стоял без слов с диким, блуждающим взглядом. Шатаясь, шагнул из-за стола. Прохрипел:

— Убью. На месте прикончу.



32

— Прекратить! — поднимаясь и держа руку на револьверной кобуре, чеканно приказал человек из ревтрибунала.— Прекратить самоуправство, председатель Смородин.

Смородин вернулся на место, повалился на стул, запустил в волосы обе пятерни и загряз головой, и лицо его позеленело, перекошилось, стало некрасиво и жалко от бессильного гнева.

— Товарищи! — говорил представитель уездного ревтрибунала.— С пропавшими пашнями и утаенным налогом разберемся. И с кольцом разберемся, уж, наверное, копия квитанции на сданное кольцо в комиссии есть. Невиновные, будьте спокойны. Виновных накажем. Революционный пролетарский суд без пощады накажет за каждый украденный у голодного населения пуд. Учительницу просим: простите, Катерина Платоновна, что дали негодюю в нашем присутствии вас оскорбить.

...В этот вечер Силу Мартыныча увезли в город.

Лучины и копилки, а где и керосиновые лампы долго не гасли в этот вечер в сельце.

Рано будит мартовское солнце, а еще раньше, задолго до солнца, разбудит предзоревой ясный мартовский свет. День долгий, весь светлый, прозрачный. С крыши над школьным крыльцом свисают ледяные сосульки едва не по аршину длиной. К полудню начнется капель. Дождем польет на крыльцо, натекут лужи, и Авдотья, недовольно мыча, будет сгонять метлой со ступеней воду, не слыша, как капли звенят. Звенят? Или кажется Кате?

А сейчас на березовую арку, что у крыльца, слетелись снегири. Здравствуйтесь, снегири, с пушистыми красными грудками! Обычно вы прилетаете студеной зимой, когда деревья трещат от мороза и обледенелые ветви кустов ломаки, словно стеклянные. Помните, вы прилетали под наши окна в келейном корпусе? Легко, грациозно рассаживались на сирени! Как мы радовались вам! Здравствуйтесь, милые снегири! Что-то поздно вы прилетели. Или проститься перед отлетом на север, зимние птучки? Над нашей речу-

хой уже дымится желтое облако просыпающихся почек ольхи. Красные прутья вербы выпустили борзатные белбыз лалки. А как суматошно кудахчут куры во дворе, совсем похосидили с ума! Петухи взлетают на прясла, хлопаят крыльями себя по бокам и горланят на все село, хвалясь молодечеством. Да, ничего не скажешь, весна...

Катя отвела глаза от окна и снейгиря в березовой арке и вернулась к «Книге для чтения» К. Д. Ушинского. Год первый.

Бывает, что важные открытия приходят не сразу. От скольких блужданий и ошибок была бы она спасена, если бы в самом начале открыла разумность трех книжек Ушинского. Год первый. Второй. Третий.

Обложки серые, беденькие. А под ними богатство. Если бы сразу поняла, как понимает сейчас: простота, искренность, жизнь—это Ушинский!

Просто расскажет о простом, что вокруг тебя, в школе и дома, в огороде, в лесу. Просто о сложном—путешествия воды, кораблях, поездах, воздушном шаре. Даже грамматику умеет объяснить занимательно!

Правда, на одной из первых страниц крупным шрифтом сообщалось: «У бога милости много»,— и дальше порядочно встречалось поучений в таком же духе, но Катя научилась обходить подводные рифы. Умное, энергичное, с пронзительными глазами лицо глядело на нее с сереньких книжных обложек. Ободрало. Ушинский вводил ее за руку в класс. Катя стало увереннее с ним. Не такая уж никудышная она учительница. Возможно, ее призвание и талант как раз в том и есть, чтобы быть учительницей. Во всяком случае, Катя любила своих младших, средних и старших. Не вообще учеников и всех на свете детей, а именно своих, курносых, белобрысых, беззубых, веснушчатых, своих собственных, с которыми проводила почти все время.

Когда дни стали длиннее, Катя завела новый порядок. Теперь она учила в две смены. До обеда—младших. После обеда—средних и старших. Два вечера в неделю либез. На драмкружок пока не отажилась, но и без драмкружка работки хватало—часов-то ведь нет, что утром, что вечером часы шли не меряные. А вечерами при дымном огоньке копилки читала приложения к «Ниве» из чулана Нины Ивановны.

Необычный гвалт стоял в классе. Примерные Катини ученики, которые даже в отсутствие учительницы вели себя негромко, не колошматили друг дружку, а если, сбившись на длинной парте, принимались «жать масло», так и то без особого шума,—сейчас галдели, как грачи в весенних гнездах. Катя прислушалась у двери.

— Дон! Дон! Дон! Третий звонок. Чутунга отправляется в город Москву. Уф-ух! Уф-ух!

Алеха. Вчера ездил с отцом на разрезе. Впервые увидел паровоз, затеял игру в поезда. Понятно.

— Уф-ух! Уф-ух! Дон-н-н. Эй, ты, куда без билета прешься? Я те дам! Я начальник станции, я всех главный.

Алеха Смородин всегда всех главный.

Однако поиграли и хватит, пора за уроки. Катя вошла в класс. Семеро младших цепочкой, друг дружке в затылок, топтались на месте, ухали, шипели, пыхтели, двигали взад-вперед руками, как поршнями,—поезд мчитса на всех парах. Уф-ух! Восьмой—Алеха, начальник станции, он же и семафор, он же и колокол, извещающий об отправлении поезда.

Девятая младшая—Тайка Астахова. Она проболела недели три, пришла сегодня впервые и одна си-

дела на парте, низко склоня голову. Льяные волосы беспорядочно свисали на щеки; крупные слезы текли вдоль носа, она не вытирала их, слизывая с губ.

— Что ты плачешь?—спросила Катя, догадываясь и пугаясь догадки.

— Ворова дочь! Тайка, таратайка, балалайка!—показывая беззубые дыры во рту, выпалил Алеха Смородин.

Ребята при появлении учительницы не разошлись по местам, напротив, столпились у Тайкиной парты.

— Отец хлеба нашего наворовал, нарастил буржуйского хлеба!

— Мы налогу собрали, а он тридцать мешков ржи от голодных себе утянул.

— Его на десять лет засадили. Кобылу отобрали. Ворованное добро отобрали.

Тайка беззвучно плакала, не смея откинуть с лица пряди волос, растрепанные, как несчастья лен. Учительница молчала. Ее молчание сильней распяляло ребят.

— Ворова дочь! Ворова дочь!—все громче и злее стонело из беззубых ртов, ниже прибывая Тайкину голову за парте.

«Ушинский, помоги!»—мысленно взмолилась учительница.

Но не надо советов. Ничьих. Даже Ушинского. Катя знала сама. Сердцем, умом, пробуждающимся и с каждым днем крепнувшим в ней чутьем учительницы знала, что должна делать сейчас.

Отстранила ребят, отвела волосы с заплаканного Тайкиного лица, своим платком вытерла ручки слез у нее на щеках:

— Ты не виновата. Тебе стыдно за отца, но ты не виновата. Ты не крала и никого не обманывала. Вы поняли?—обратилась она к ребятам строго и властно.—Ступайте по местам,—приказала она.

Ученики мгновенно послушались.

— Вы навали на Тайку, а за что? Разве она за отца отвечает? Ведь она не знала о его преступлении. Тайка—несчастная девочка. Большое несчастье—стыд за отца. Но не вина, а несчастье. Вы поняли?

Тихо прошли уроки. Без подъема, без обычных улыбок и живости.

— Вы не будете обижать Тайку,—сказала Катя, отпуская ребят,—вы будете жить всегда честно. И ты, Тайка, будешь жить честно. Идите.

Они вышли из школы гурьбой и тотчас разбежались в разные стороны, а Тайка побрела одна на край села, весь в деревянные кружевах, стоял ее безрадостный, опозоренный дом. Катя следила из окна класса за жалкой фигуркой, пока, обогнув против школы церковь, она не скрылась из виду. Сейчас начнут собираться на вторую смену средние и старшие. Но пока вместо средних и старших Катя увидела на дороге группу людей. Их было трое: Петр Игнатьевич, Нина Ивановна и неизвестный мужчина.

Они направлялись к ней в школу. Катя живо ушла из класса к себе, села на топчан, служивший кроваткой, тахтой, чем хотите, и, для вида взяв книжку, стала поджидать посетителей. Вероятно, явился инспектор унаробраза. Он слегка прихрамывая, опираясь на толстую суконную палку, и был одет в овчинный полушубок, несмотря на мартовскую капелю, на ногах солдатские ботинки с обмотками: красноармейская буденовка с опущенными ушами сдвинута была на затылок. Так, полшутскими-полувоенными выглядели многие приезжавшие из города начальники. Приезжали их в сельцо Ивановко после раскрытия астаховской кражи немало. Разбирались, меряли земли, доискивались, нет ли в чем

еще жальчистова. Клевета на председателя разжевлялась разом: в городском комитете помощи голодающим не забыли золотое кольцо с рубиновым камнем, подтвердили, что сдано, но строгий выговор председателю Смородин получил — и за дело: государственное добро зорче беречи, распятой не будь.

А Нина Ивановне ее подневольное пособничество в воротах Силе Астахову пролетарский суд ввиду смягчающих обстоятельств простил. Пожалели детей.

Что стало с Ниной Ивановой! Что так удивительно изменило ее! Сияние в глазах. Она ли? Что с ней? Вошла, кинулась к Кате, объяла.

— Катерина Платоновна, Катя! Вернулась.

— Кто?

— Муж. Тихон.

Человек в овчинном полушубке, постукивая по полу суковатой палкой, слегка припадая на правую ногу, приблизился, протянул Кате руку:

— Здравствуйте.

— Тишенька! Тихон! Тихон Андреевич! — смеялась и плакала Нина Ивановна. — Катерина Платоновна, я ему сразу сказала, как вы о нем отозвались: «Он герой у вас, и вы должны им гордиться». Вервара при всем народе под защиту взяла... А я? Где моя совесть? Прощенья мне нет.

— Истерзали тебя, бедняжка. Не мучься, не рысь, все позади, — утешал он.

Вот он какой, учитель Тихон Андреевич! Ласковый. Наверное, внимательный к людям. А приложения к «Ниве» — ведь это все его книжки, его должна благодарить Катя.

— Да где же вы были, да что с вами было? Счастье-то какое, вернулись, Тихон Андреевич! Садитесь, пожалуйста.

Председатель сел на табурет у стола и тут же стал свертывать из клочка газеты цигарку и закурил. Раньше он курил, дымя в горящую пещку, а тут задымил на всю комнату. Нервным стал после тех неприятных событий и сейчас угрюмо молчал.

Нина Ивановна с мужем сели на железную кровать Ксении Васильевны. И Нина Ивановна взяла руку мужа и, не отпуская, словно боясь на секунду растасты, принялась рассказывать то, что говорила тогда на собрании. И совсем не то. И совсем не так. Гордятся, расцветают.

Воевал в Тихон Андреевич с Денижником, Врангелем, на Дальнем Востоке. Был политруком, воодушевлял красноармейцев на борьбу с беляками. А потом попал в партизанский отряд, а потом шел с отрядом тысячи верст, пешком, на оленях, через горы и реки, устанавливая в стойбищах вдоль Охотского моря, вдоль Ледовитого океана Советскую власть.

— Беда нас настигла, — сказал Тихон Андреевич, не перебивая, а как-то незаметно вступив в рассказ жены, может быть, оттого, что была она чересчур уж в горячке и трепете и он хотел «немного ей помочь». — Отрезали белые наш партизанский отряд. Полгода в окружении маялись, а как к своим прорвались, тут же домой написал, а до почты верст двести, скачи — не доскачешь. Писал, да, видно, письма не доходили по адресу...

— Или кулак Сила Астахов перехватывал, чтобы в страхе батрачку держать, — жестко отрезал председатель.

— Едва ли. Уж очень рискованно. Братцы, не будем об этом. Что прошло, будем поросло, — миролюбиво сказал Тихон Андреевич.

— Э-эх, Тихон Андреевич, в учителях христоском был, таким и в солдатах остался.

— Напраслино наговариваешь, товарищ Смородин. А злословство зря не люблю.

Что-то было в учителе ясное, доброе. Он нравился Кате.

— А я-то как рада вам, Тихон Андреевич! В самое-самое время помощь мне подоспела. Признаться.. Вам я признаюсь. И Петру Игнатьевичу и Нине Ивановне. У меня не всегда ведь уроки вполне хороши. Иногда в полном смысле провалишь. Ученики не догадываются, но я-то знаю. Тихон Андреевич, мы так с вами будем работать, если вы согласитесь, конечно... Я предлагаю, поделим группы? Вы старших возьмите. А мне хочется маленьких оставить себе. Мне хочется до конца школы их довести, посмотреть, что из них станет, как я их вырастила, что им дала...

Вдруг Катя заметила, они слушают ее исповедальную речь в каком-то странном смущении. Нина Ивановна погасла, потупилась. И учитель, опершись на палку, усталый взгляд в пол, не на Катю. А Петр Игнатьевич, напротив, глядел прямо на нее и неведело.

Катя смешалась, умолкла, не понимая.

— Н-да, значит, так, — угрюмо проговорил председатель.

Учитель, слегка припадая на правую ногу, перешел к Кате, сел к ней на полчан. Заговорил негромко, как бы с трудом:

— Демобилизовался я, в уездный отдел откомандировали из части. Там дают назначение. Куда? Попробую, домой, в родную школу. О вас, Катерина Платоновна, я тогда и не слышал. Кто вы, что вы, не знал.

— Ну и что же? Теперь узнали, — резонно возразила Катя. — А дальше ближе узнаете. Я так рада, что вас тоже сюда назначили! Мы с вами дружно будем работать.

— Сложная штука жизнь, Катерина Платоновна, трудная штука, порой даже очень, — ответил учитель.

— Что случилось? К чему вы меня подготавливаете? — воскликнула Катя, с испугом вглядываясь в их расстроеныя лица, пытаясь понять.

Председатель вынул из кармана бумагу, небольшой лист с машинописным текстом, печатью и штампом, подал Кате:

— Н-да, значит...

«Учительницу начальной школы сельца Иваньково тов. К. П. Бектышеву сим извещаем, что по сокращению штатов увольняется с апреля месяца 1922 года.

Заведующий уездным отделом народного образования...»

«О ком это? Кто увольняется?»

Бумажка с печатью в Катиной дрожащей руке маленькими машинописными буквами выносила приговор тов. К. П. Бектышевой.

«Это я — тов. К. П. Бектышева? Меня увольняют? А как же дети, мои безупречные младшие? Их я уж научила читать, они пишут слова на грифельной доске, а скоро я им обещаю тетради. Чистенькие тетрадки в классном шкафу. Вы хотите меня увольнять? А куда я пойду? У меня нет дома. Комната в Иваньковской школе, а другого нет дома. Здесь, на погосте, могла бабы-Юки под снегом. Я хотела весной посадить на могиле цветы. Незабудки».

Катя жалобно улыбулилась, и, увидев эту вымученную ее улыбку, сквозь которую сейчас хлынут слезы, Петр Игнатьевич крикнул, распоясанный пятерней, как гробником, резко откинул назад волосы.

— Новая экономическая политика, Катерина Платоновна, проща говоря, н-л. Государству надо производство налаживать, приходится экономить во всем. По штату нашей школе один учитель положен. Вот в чем загвоздка.

«Значит, меня для экономии — вон! Осенью послали, тогда было нужно, сказали: должна. А теперь... из экономии вон!» — так думала Катя.

Гордость отчаяния поднялась в ней, она не улыбалась больше жалобной улыбкой.

— «Сохраню ль к судьбе презренье?»...

— Что? Что? Как ты сказала? — изумленно вскрикнул Петр Игнатьевич.

— «Сохраню ль к судьбе презренье?». Не я. Пушкин.

Петр Игнатьевич выталчил кисет, снова взялся набивать самокрутку, с силой приминая большим пальцем махорку.

— Катерина Платоновна, Катенька! — стиснув на груди руки, просительно заговорила жена учителя. — Тихона по справедливости на старое место вернули...

Катя пожала плечами:

— Кто спорит?

— Мы с Тишей нашу будущую жизнь крепко обдумали. Заново нам ее надо налаживать. Хозяйство наше, пока воевал, вовсе порушилось. Мечта у нас: хозяйство маленько поднять...

— Что мне до вашей мечты? — оборвала Катя.

Снова негромко вмешался учитель:

— Возможно, вы меня осуждаете, Катерина Платоновна, но не я это дело решал, в смысле моего назначения. А если бы и я... Не могу я со своей школой расстаться! Здесь моя трудовая жизнь началась. Здесь семья. Куда мне с семьей от своей избы по нынешнему тяжелому времени? Мы с Ниной этот вопрос обсудили: я пока дома побуду, дыры в хозяйстве своим залатаю, а вы, как учили, так пока и учите, так и учите. И в комнате при школе живите по-прежнему. Мы с Ниной Ивановной обговорили этот вопрос. И председатель согласен.

— И председатель согласен? — едко усмехнулась в лицо председателю Катя.

— Согласен, — не принимая насмешки, серьезно и строго ответил он. — Пока остаемся при старом. Веру на себя. Стало быть, так, Катерина Платоновна?

— Не знаю. Подумаю.

33

А что думать? Что придумашешь?

Пока все оставалось по-старому. Новое то, что Тихон Андреевич раза два в неделю приходил в класс, занимался со старшими, но в основном, как и раньше, учила ребят Катя. Только без былого воодушевления. С охлажденной душой.

Ничто не вечно, а все же, когда тебе скажут, что этот темный, со старым шкафом и длинными черными партами, неуютный, но уже привычный, уже дорогой тебе класс стал не твоим, ты в нем незаконно, лишь из участия добрых людей, — душа вянет. И даже дети не так милы, как раньше. Скоро ты их оставишь. Тебе прикажут оставить.

В учебном отделе народного образования пока что отнеслись снисходительно к ненормальному положению в Ивановской школе. Пока, до начала нового учебного года.

Стали присылать из отдела образования педагогические брошюры, инструкции, проекты программ, что-то много стало приходиться всевозможных руководящих бумаг. Среди них вышестоящий приказ учителя Тихону Андреевичу представить на утверждение планы школьных и внешкольных занятий.

Учительницы Екатерины Платоновны в ведении умаробразна не числилось. Нет такой учительницы. Есть Катя Бектышева, у которой ни кола, ни двора, ни родной на свете души.

Одна Фрося. Фрося звала: «Приезжай, Катя, милая, к нам. Уступлю тебе кровать, буду спать на по-

лу, потеснимся мы с Васюней для тебя, милая Катя».

В газетах Катя читала, что Комиссия ВЦЦИК, переосматривая учреждения РСФСР, добилась сокращения чиновников на 60 процентов. Что путем сокращения маленьких губерний и уездов сокращается еще 25 процентов. Что в Московском отделе труда зарегистрировано много безработных учителей. И в других губерниях также.

Государство экономит, государство рассчитывает, государство приступает к выполнению грандиозного плана подъема разрушенного хозяйства страны.

Что касается Кати, она в числе тех процентов...

Робость все глубже охватывает ее. Снова она не верит в себя. Мир огромен, а как неуютно и одиноко в нем Кател..

Она тянула с отъездом. Учебный год окончен, ребята отпущены на каникулы, и делать Кате в сельце Ивановское вроде бы нечего, но она тянула с отъездом. Чем она жила? Как? «Иду. В траве звенит мой посох».

Где ты, где ты, Арсений!

Катя хотела как-нибудь отблагодарить Тихона Андреевича за то, что он дал ей довести учебный год до конца. Ходила полоть с Ниной Ивановной гряды в их огороде. После, в разгаре лета, убирала сено.

Сенокос — работа веселая, праздничная. Какой-то парень разбежался на учительскую делянку на берегу Голубицы, схватил Катю в охапку, раскачал, бросил в речку под обший одобрительный хохот. Катя вынырнула, вылезла, тряся головой, фыркая, как жеребенок, мокрые платье облепило ее, она чувствовала себя голый, ей было стыдно, хотелось спрятаться, но спрятаться негде.

— Приходи вечером к сельсовету погулять под гармонику, — позвал парень.

Катя не захотела знакомства. Она привыкла быть в сельце Ивановское учительницей Катериной Платоновной. Держалась строго и неприступно с парнями. Гордой ее не называли за это. Говорили: лишку тиха.

Наступило жниво. Жниво — настоящая страда. Солнце беспощадно палит. В небе ни тучки.

Нина Ивановна жала серпом, Катя везала за ней снопы. Руки спасались в холщовых рукавниках, а грудь, шея, ноги искусаны колючками, словно комариными жадами. Пот струями течет по лицу, во рту горько от соленого пота. Конца нет желтым, душным, колючим снопам! Катя вяжет их соломенными свяслами, стаскивает по пяти снопами в одно место, ставит в бабки. Бабки ее неказисты: то валяются набок, то расслезли неуколкими конями.

— Ладно, сойдет, — подбадривает Нина Ивановна.

Учитель натрудил раненую ногу, не ступит. Ничего, и один управимся. Пусть ломит спину! Пусть красные искры стреляют в глазах. Рубашка — хоть выжми. Зато как сладко, когда Нина Ивановна обявят обед и, устало шаркая по стерне лаптями, пойдет за коржикой кислого молока, схороненной в меже, а ты растянулась на старенькой дерюжке, прачась от солнца за бабкой, закупила под голову руки и глядишь, глядишь в синеву. Не думать ни о чем. «...Звенит мой посох»...

Рожь убрали в пять дней. До овсов Катина страда окончилась. А дальше? Что дальше? Где ее настоящее дело? Где ее место?

Говорят, страусы, когда грозит опасность, прячут голову под крыло... Ты страус, Катя? Эх, Катя!.. Рассказывал тебе Петр Игнатьевич о героических девчатах? Эх, Катя...

Она снова ушла в чтение. Потеряла счет дням. Иногда, подняв глаза от страницы, с удивлением видела входящее солнце. Или солнца давно уже нет,

над рекой вечерний туман. А пришла она сюда на беречок ранним утром с кингой и крахотой ржаного хлеба, не заметив, как за чтивем ее улупела.

Она выбрала уютное местечко под старой ивой у реки. И читала здесь Короленко, всего, полное собрание сочинений от первого до последнего тома. «Но, все-таки... все-таки впереди — огни!»

Иногда, отложив книгу, она предавалась фантазиям. Нереальным. Разве фантазии бывают реальны? ...Вот она идет серединой улицы в конец селца, где распisanная резными наличниками изба учителя, а на другой, самой крайней избе, красный флаг и вывеска «С е л ь с о в е т а».

Раньше здесь жил Сила Мартыныч. Теперь его жену, с постным, как икона, лицом, и тихую Тайку переселили в половину заброшенного поповского дома.

Медленно идет Катя широкой иваньковской улицей. Тяжесть сжимает сердце в предчувствии беды... Она глядит прямо перед собой. И видит его. Он появляется из поля, в холщовой блузе, с ольбергом.

— Здравствуйте, Катя,— говорит он.

— Я вас не знаю,— отвечает она, продолжая идти. Он меняет свой путь и с ней вместе возвращается в поле, где цветет некошенная душистая вика и высоко в небе реют ласточки с острыми крыльями.

— Вы забыли меня, Я Арсений, студент ВХУТЕМАСа. Меня прислали сюда на практику, рисовать среднерусский пейзаж.

— Да? Но какое это имеет ко мне отношение?

— Катя, вспомните! Пожалуйста! Я вошел к вам в школу, под белую арку. Был волшебный день!

— А-а,— равнодушно вспоминает она,— вы были такой голодный, несчастный. Как жадно набросились на еду, даже ничего пунтого не могли рассказать. Помню, вы, как нищий, весь день ходили по дворам...

— Стыдно, Катя, моя мать от истощения слегла в постель.

— А! Помню, помню, на следующее утро вы чуть не сбегали. Если бы я не услышала случайно...

— Я постучал бы к вам в дверь.

— Надеюсь, ваша мать выздоровела? Вам не пришло в голову написать мне об этом?

— Катя! Я болван...

— Ругайте себя, сколько влезет, все равно я вас презираю. Я презираю вас.

— Катя, я не догадался узнать вашей фамилии.

— О! Достаточно было написать на конверте: сельцо Иваново, школа. Вы могли сообщить о матери, что выздоровела. И довольно. Ничего больше.

— Я не знал названия селца, ни уезда. Я хотел написать, что влюблен в вас. Мечтал написать вам, что вы тихая душа, вы нестеровская девушка...

— Студент ВХУТЕМАСа, вас прислали сюда на практику, отчего же вы не рисуете? Ах, у вас просто нет таланта, ни капли таланта. Почему вас не выгонят из ВХУТЕМАСа?

— Вам нравится меня оскорблять?

— Я буду оскорблять вас всю жизнь. Всю жизнь буду вас ненавидеть.

— Неправда. Вы меня любите, Катя.

Она вытирала листком мокрое от слез лицо. Срывала с ветки листы и вытирала слезы. Вот до чего довел ее Гамсун! Началась она этого Гамсуна! Ведь каждому ясно, все ее диалоги, полные яда и оскорбленной любви,— прямое подражание Гамсуну.

Впрочем, сейчас она читает Чехова — «Даму с собачкой». Спасибо учителю, и Чехова она распала в его темном чулане. Чехов застенчивый, сдержанный. Помните, Маша в «Трех сестрах» все молча наставляет? Тихо наставляет, как грустно...

Что-то плеснуло в бочажке, над которым Катя си-

дела у ивы, свесившей ветви до гамой воды. Должно быть, прошла крупная рыба, плеснула хвостом.

— Катерина Платоновна-а-а! — неслось от селца: — А-а-а!

Ватага ее бывших младших (в новом учебном году они станут средними), ее босоногих, беловолосых, в ошметках рыжих веснушек, с облупленными носами, ватага мчалась к ней через луг под предводительством Алекси Смородина. Орали. Что! Не разберешь, но, должно быть, хорошее. Это можно было понять по сияющим лицам, особенно Алекси Смородина. Он домчался первым и, задыхаясь от бега:

— Кличут в сельсовет... велели скорее... письмо получено... важное.

Они наперебой объясняли учительнице, что письмо такое... такое... Они не знали, какое. Только, что важное.

«Откуда? От кого? Ах, наверно, Фрося снова зовет, а председатель наконец надоело, решил избавиться от меня... от заботы».

Потому Катя вошла в сельсовет с замкнутым и безразличным лицом, на котором написано было равнодушие, что давалось ей нелегко и дурново, совершенно менло ее. Известно, в трудных случаях она не умела собою владеть.

Волна махорочного дыма и резкого запаха гота хлынула на нее. Катя стала у порога.

Шел сход, как всегда, многогочивый и бурный. Председатель во главе стола, покрытого красным кумачом, суля брови, слушал чью-то, должно быть, заковыристую речь.

Летом Катя редко встречала председателя. Он до черноты загорел. Из расстегнутого ворота линялой косоворотки выпирали углами ключицы. Он был весь пыльный и выгоревший, только сапоги, начищенные дегтем, зеркально сверкали. От этого щегольства, этой своей слабости, председатель даже в страдную пору не мог отказаться.

— Обожди,— перебил председатель оратора, когда Катя вошла.

И, протягивая Кате бумажку, со штампом и казенной печатью, произнес торжественно, как на трибуне:

— Товарищи, граждане селца Иваново, перед вами наглядный пример, на том наглядном примере вы можете понять, как Советская народная власть идет навстречу трудящемуся человеку, ежели он, ясное дело, не буржуазный взглядом, всей душой признает революцию. Можете убедиться, товарищи граждане, как Советская власть показывает трудящемуся человеку дорогу.

Катя держала бумажку, но ничего не могла в ней понять, кроме штампа и казенной печати. Будто пленой заволочу глаза, она ничего не могла прочитать. Она хотела убежать от людей и навидне разобраться, о чем эта бумага, какое имеет к ней отношение. Но председатель не дал Кате сбегать.

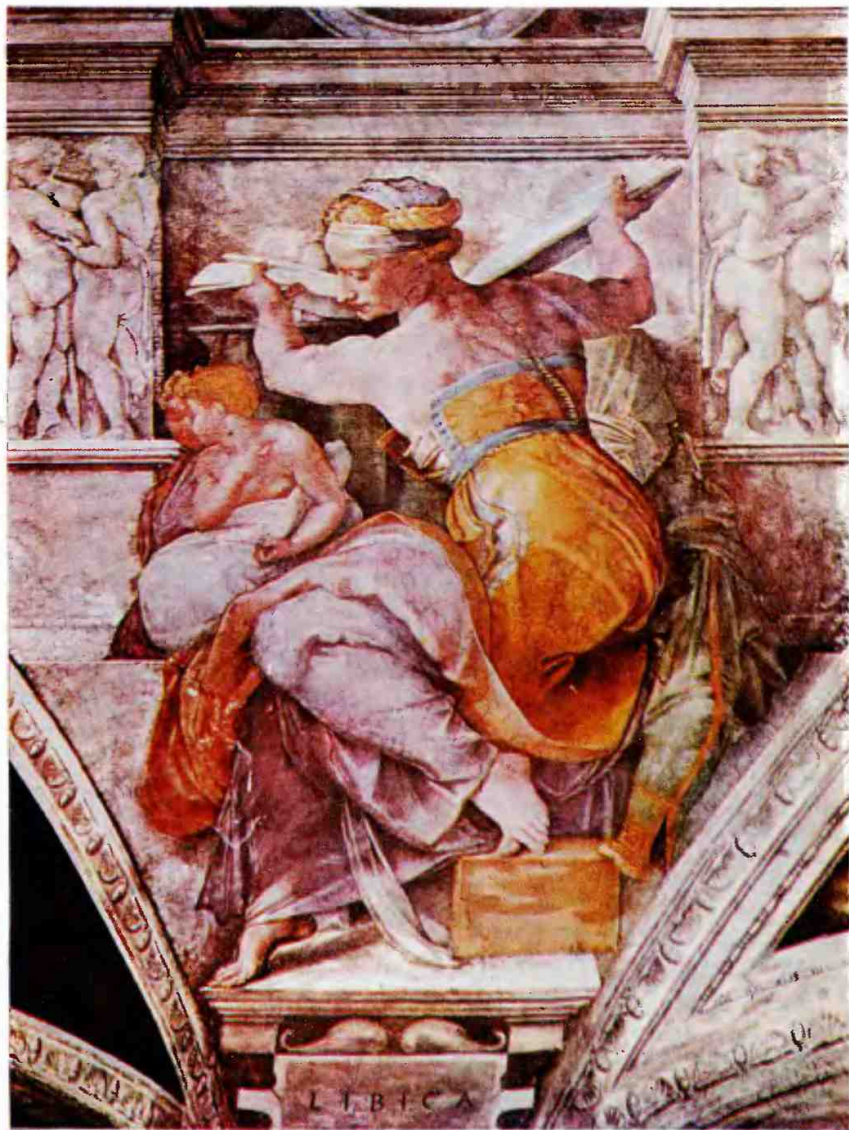
— Стой, Катерина Платоновна, куда заспешила, ишь прытка! Вслух, всему народу читай, потому что это есть пропаганда и агитация советского строя.

Катя прочитала вслух:

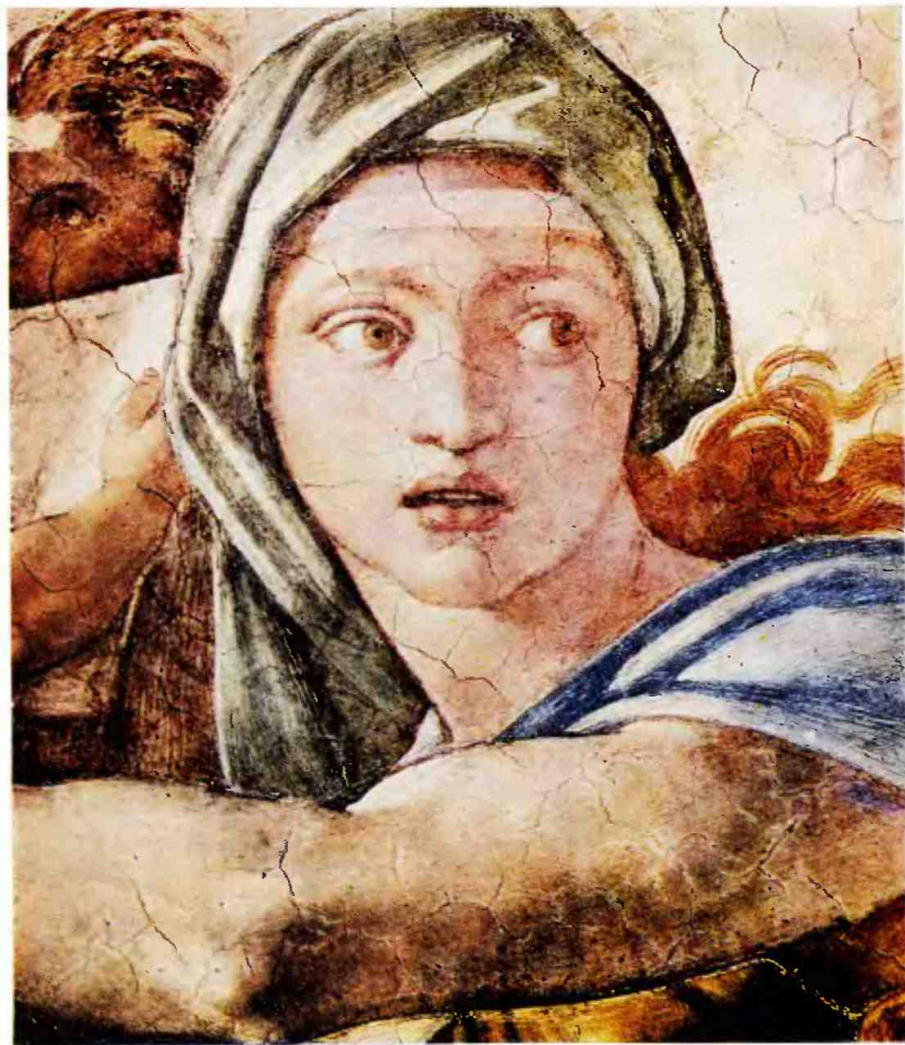
— «Сергиевский педагогический техникум приглашает для повышения квалификации учителей, сокращенных из-за отсутствия педагогической подготовки. Начало занятий 1 сентября 1922 года.

Обучение бесплатное. Общежитие и питание обеспечены»

(Окончание следует.)



Ливийская сивилла.



Дельфийская сизилла.

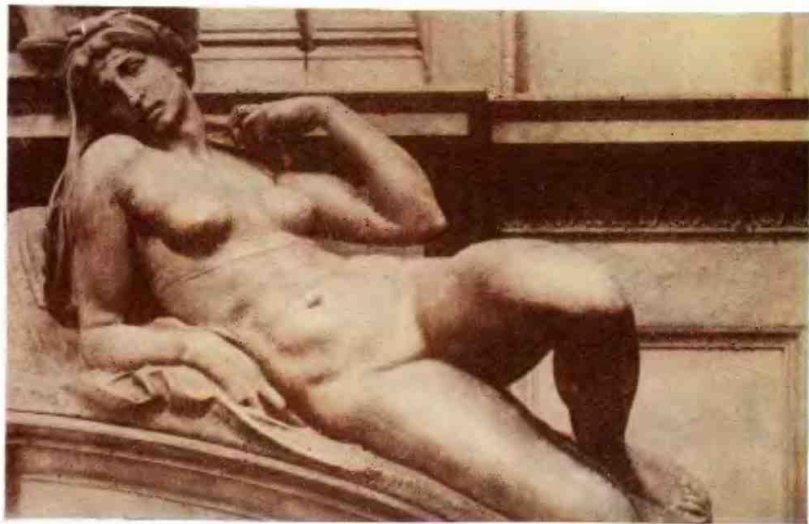
Из произведений МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 1475—1564.

Давид. (Фрагмент.)



Надгробие Лоренцо Медичи.

Утро. (Фрагмент.)





Борющийся раб.



ГРАЖДАНИН ФЛОРЕНЦИИ

500 лет
со дня рождения
Микеланджело

Он часто в письмах не без гордости называл себя гражданином Флоренции. Той самой республиканской Флоренции, которая на протяжении трех столетий — от XIV до XVI — оказывала мощное влияние на судьбы всей Италии и дала миру целую плеяду великих художников, поэтов, мыслителей. Бурные события постоянно сотрясали город; один из выдающихся флорентинцев, Никколо Макьявелли, писал, что таких событий, которые выпали на долю его родного города — войны, бедствий, внутренних распри, — было бы «вполне достаточно, чтобы привести к гибели даже самое великое и могущественное государство». А Флоренция выдержала. «Так велика была доблесть ее граждан, с такой силой духа старались они возвысить себя и свое отечество, что даже те, кто выживал после всех бедствий, этой своей доблестью больше содействовали славе своей родины, чем сами распри и раздоры могли ей повредить».

В этих условиях сложился своеобразный характер художника, сильный, свободолобивый, с обостренным чувством патриотической верности своему городу-республике.

Микеланджело прославил родной город и, когда потребовалось, защищал его с оружием в руках от иноземцев. Он знал, что Флоренция тоже защитит его в трудную минуту. Памятен случай ссоры скульптора с папой Юлием II в 1506 году: по навету записников Микеланджело не был допущен в папский дворец, чтобы получить деньги для уплаты рабочим за доставленный из Каррары мрамор. В один день он велел распродать все свое имущество в римском доме и ушелся верхом по дороге во Флоренцию, передав папе, что он больше не служит в Риме и пусть ватиканский государь разыскивает его, где хочет. Па-

перо папских гонцов с наказом вернуть мастера любой ценой настигло Микеланджело уже за пределами римских владений в нескольких милях от Флоренции, где беглец был уже недостижим для посланцев Юлия. Они умоляли скульптора вернуться, но сумели уговорить стропивого художника только на письменное объяснение по поводу своей обиды. Флоренция тогда радостно приняла Микеланджело, намереваясь заказать ему несколько произведений, но последовали грозные папские послания, настаивающие на возвращении скульптора в Рим. Ссориться с папой даже для Флоренции было делом рискованным, и городская синьория — выборный совет города — предложила Микеланджело звание посланника свободной Флоренции, чтобы умирить гнев Юлия II. Потом они помирились, папа и скульптор: в Ватикане понимали, что значит Микеланджело для Рима и для Италии.

Во Флоренции юный художник пережил, может быть, лучшие годы своей жизни, познав счастье безоглядного увлечения искусством. Ему было четыре-надцать лет, когда он из мастерской знатного живописца Доменико Гирландайо попал в дом Лоренцо Медичи, правителя города, умного покровителя художников, утонченного поэта, ученого гуманиста. Лоренцо Медичи быстро убедился в необычайной талантливости Микеланджело, выделил ему комнату в своем палаццо и отнесся к нему, как к сыну. Главное, что привлекало начинающего ваятеля у Медичи, — роскошный сад при доме, уставленный античными скульптурами. Их начал собирать еще дед Лоренцо — Козимо Медичи. Молодые художники имели возможность любоваться, изучать и копировать мраморы греческих и римских мастеров. Лоренцо был поражен, когда увидел одну из первых работ Микеланджело: голову смеющегося фавна. То была не только копия: молодой скульптор сумел домыслить в мраморе детали лица, утерянные в оригинале. Неторопливые беседы о поэзии Данте и Петрарки, не затихавшие в доме Медичи, разговоры об античном искусстве, неустанные занятия скульптурой под началом опытных учителей, общение с выдающимися людьми Флоренции — все это позволяло пылкому уму Микеланджело чувствовать равно, в шестнадцать лет, стать «с веком равные».

Он понял свое призвание, в полной мере осознал достоинство человеческой личности, почувствовал величие задач подлинного искусства. Два года, проведенные юным Микеланджело в доме Медичи, стали лучшей школой для начинающего скульптора.

На улицах Флоренции в начале пятисотых годов можно было мимоходом встретить Леонардо да Винчи, который был более чем на два десятилетия старше Микеланджело, молодого, остро на язык Рафаэля в окружении друзей, почтенного Сандро Боттичелли... Такое соперничество подстегивало честолюбивую натуру Микеланджело. Он еще с детства был резок и неуживчив с товарищами; его считали трудным ребенком, а позже — трудным учеником в мастерской Гирландайо... И когда в июле 1501 года ему предложили посмотреть мраморную глыбу, уже четыре десятилетия ваявшуюся без дела, и решить, можно ли из нее изваять что-то дельное, Микеланджело согласился. Он знал, что лучшие скульпторы города уже отказались от предложения, посмотрев обольщенную глыбу длиной в пять с половиной метров. Последним среди отказавшихся был Леонардо да Винчи; ситуация достаточно острая и заманчивая для 26-летнего Микеланджело, жаждущего изваять шедевр. И молодой скульптор согласился. К тому времени он уже прославился мраморной композици-

ей «Пьета» (богоматерь, оплакивающая мертвого сына), сделанной по заказу кардинала Риари для собора святого Петра в Риме, но все же возраст Микеланджело вынуждал заказчиков быть осторожными при заключении договора.

Сейчас с восторженным удивлением читаешь этот договор, заключенный дехом шерстяных мастеров с молодым скульптором:

«Господа старосты шерстяных ткачей и господа рабочие, собравшись на совещание этого сообщества, избирают мастера Микеланджело, сына Лодовико Буонарроти, флорентийского гражданина, и совершенно закончит начатую мраморную статую под названием Гигант, вышиною в 9 рук, принадлежащую упомянутой корпорации и когда-то неудачно начатую мастером Агустом Великим из Флоренции... Когда эта мраморная статуя будет закончена, старосты и рабочие, выбранные к тому времени, обсудят, надо ли повысить цену, и постановят должное по своей совести».

«Господа старосты шерстяных ткачей и господа рабочие» остались довольны: когда закончена была только верхняя половина «Давида», плата за работу была повышена «по совести». А установка юноги Гиганта перед дворцом на площади Синьории летом 1504 года являлась праздником для всего города. Мраморная статуя Давида, ставшего символическим защитником Флоренции, простояла на площади больше трех столетий, а потом ее от дождя и пыли перенесли под крышу академии (сейчас на площади стоит мраморная копия «Давида»).

Скульптор использовал мраморную заготовку до предела; на темени и подставке фигуры можно заметить следы реза прежнего мастера; а на спине Давида кое-где не хватало буквально одного духа миллиметров для нужного объема.

О новом произведении Микеланджело заговорили по всей Италии; придворные меценаты французского короля Людовика XII тоже пытаются приобрести его работы. А когда на папский престол взошел Юлий II, дальновидный 64-летний политик, полный грандиозных планов по возмещению Ватикана, лучшие художники со всей Италии были собраны в Риме. Среди них, конечно, Микеланджело. Юлий II решил при жизни построить себе гробницу. А 30-летний флорентийский ваятель, полный сил и творческих замыслов, предлагал грандиозный проект гробницы, которая могла — будь она построена — затмить все дотоле имевшееся на земле. Более сорока статуй должны были украшать папский мавзолей, размещенные не как обычно, у стены, а в середине собора с четырехсторонним обходом.

Потом Микеланджело долго ждал, что взыдет за гробницу. Она стала для него проклятием. Пока скульптор восемь месяцев возился в Карраре, отбирая мраморные глыбы и переправляя их в Рим, папа передумал — не без помощи знаменитого Браманте, выдающегося архитектора, видевшего в молодом флорентинце своего соперника. По прихоти Юлия, сокращения и переделывая проект, скульптор вынужден был отказаться от прежних замыслов. Позднее, после смерти Юлия в 1513 году, договор четырежды пересматривался; скульптора обвиняли в растрате, и не раз в письмах он жалуется на то, что скорее ему самому надо заказывать гробницу, а не Юлию II. Через много лет гробница Юлия все-таки была закончена, хотя и поставлена не в соборе святого Петра, а в другой церкви. Фигуры сидящего Моисея, рвущихся из пут рабов, две символические женские фигуры — деятельной и созерцательной жизни — составили композицию этого всемирно известного ше-

девра. С ним соперничает разве что только гробница Лоренцо и Джулиано Медичи, выполненная мастером через несколько лет во Флоренции.

А пока властный Юлий по наущению Браманте предлагал Микеланджело заняться нелюбимой им живописью и расписать потолок Сикстинской капеллы, имевший форму прямоугольного коробового свода. Недруги уверены, что Микеланджело не справится с заказом: ведь он не живописец. Да и сам автор «Пьеты» и «Давида» отказывается, предлагая поручить сикстинский плафон Рафаэлю. Юлий II в ярости настаивает и наконец уламывает флорентинца. Двадцать месяцев трудится он без помощников на высоких подмостках, расписывая потолок капеллы, и если есть в мировой живописи свой семь чудес света, то среди первых, конечно, — сикстинский плафон, расписанный Микеланджело. Он вложил в эти фрески свои любимые мысли, сокровенные раздумья о людях и вселенной. В библейских сюжетах — от сотворения мира и грехопадения Адама до великого потопа — в изумительных фигурах пророков и сивилл художник выразил духовное могущество и красоту Человека, познающего жизнь и самого себя, переделывающего мир по своему образу и подобию.

Долго еще после окончания сикстинского плафона мастер не мог нормально читать и писать; ему нужно было держать книгу над головой. В письме 1508 года к брату Микеланджело писал, как он с двенадцати лет скитался по всей Италии, испытал всевозможные лишения и унижения, истязал свое тело чрезмерной работой, подвергал свою жизнь тысячам опасностей. Даже если бы он создал только одного Гиганта или «Моисея», только один сикстинский плафон или гробницу Медичи, его имя осталось бы в памяти потомков. Но Микеланджело — автор «Страшного суда» в той же капелле, он построил купол собора святого Петра в Риме, он автор гениальных рисунков и картонов. И сколько произведений затерялось или погибло! Бронзовая статуя Юлия II в Болонье была сброшена восставшим народом с фронтона церкви и разбита. Картина «Леда в объятиях Лебеда» была сожжена во Франции при Людовике XIII по приказу начальника королевских дворцов, усмотревшего в ней нечто безразличное. Еще больше произведений остались незаконченными.

Микеланджело пережила многих славных своих современников и умер восьмидестью годами лет, окруженный славой и признанием. Престарелого мастера звали работать в разные города Италии, его приглашали к себе турецкий султан и французский король. Но художник решил закончить свой путь на родной земле.

Беньенуто Челлини, обдумывая, по поручению Микеланджело, предлагал нести во главе процессии две статуи. Одна — статуя смерти: «Ее поза должна быть скорее гордая и дерзкая, а не убитая и опечаленная». Другая — статуя жизни. Беньенуто, обычно скупой на похвалы, добавлял: «Жизнь должна показывать, что этот великий человек своими замечательными качествами дал более жизни... чем сам получил от всего живущего, так как, прожив 89 лет, Микеланджело переживет себя девятью раз девятью».

Прошло всего каких-то пять раз по девяносто, и сегодня никто не сомневается в правоте слов Беньенуто Челлини.



В. КИСУНЬКО

ПРИЧАСТНОСТЬ

В октябре 1932 года А. М. Горький писал А. В. Луначарскому: «Вы прожили тяжелую, но яркую жизнь, сделали большую работу. Вы долгое время, почти всю жизнь, шли плечо к плечу с Лениным и наиболее крупными, яркими товарищами... Книга Ваша о Вашей жизни объективно нужна. Художественная наша литература все еще — к сожалению — бессильна дать, изобразить революционера, создателя партии, которая ныне сотрясает весь мир и неизбежно разрушит все отношения в нем... Не говорю уже о том, как нужна такая книга для нашей молодежи, от которой прошлое уходит с фантастической быстротой, да, — но оставляет за собой ядовитую пыль, и от этой пыли — сереют души, тускнеет разум...»

В декабре 1933 года Луначарский умер. Книга воспоминаний, бывшая, как писал Горький, «в планах» одного из издательств, не была создана.

Луначарский умер всего лишь на пятьдесят девятом году жизни. Но сколько вместила в себя эта жизнь, эта судьба — одна в ряду тех, что вышланы на долю ленинских гвардий.

Не многие из них успели написать воспоминания. Жизнь каждого из этих людей — страница великой книги истории, и не случайно Горький — пусть по тем временам еще в отрицательной форме, ставя перед литературой лишь задачу будущего, — писал о высокому долге художественной литературы: восстановить эти страницы, восстановить книгу в целом, сделать ее достоянием людей.

Сегодня, когда на полках читателей выстроились в ряд выпущенные Издательством политической литературы более чем три десятка книг серии «Памятные революционеры», можно говорить о том, что сделана попытка выполнить завет Горького.

«Памятные революционеры» — серия, создающая именно единую книгу. По-настоящему и произведение о большевиках звучат именно в общем ряду, потому что серия рассказала читателю о Симоне Боли-

варе, Максимилване Робеспьере, о Виссариионе Белинском, Зыгмуте Сераковском, Гарасе Шевченко, Коста Хетагурове, о Сен Катаяме, об Эрнсте Тельмане.

Так простой подбор имен раскрывает читателю революцию как общее дело лучших умов, лучших людей разных времен, разных народов. Читатель следует за авторами из эпохи в эпоху, из страны в страну, из жизни в жизнь. Все книги серии — повести, романы; герои их — люди реальные, пускай овеянные легендами, пускай вошедшие в духовный обиход миллионов людей. Оттого задача лишь сложная.

Я слышал от покойного писателя А. Дейча рассказ о том, как однажды на обсуждении исторических романов А. В. Луначарский, в частности, сказал, что ему прислали на отзыв повествование о Марксе. Луначарский прочел в рукописи примерно следующее: «Маркс подошел к окну, остановился, вглядываясь в туманный лондонский вечер. Он помолчал, побарабанил пальцами по стеклу, а потом повернулся и сказал». «Что сказал Маркс?» — спросил Луначарский. И ответил: «Маркс «сказал» свое письмо к Кутельману». И даже дату письма назвал Луначарский.

Это не просто курьез, выявленный читателем, безукоризненно знающим материал, обладающим тонким эстетическим чутьем. Это даже не просто «цитатная» болезнь литературы, осповывающейся на документальном материале. Это проблема, проблема немалая, над которой бился и бьются мастера слова. Почитайте воспоминания Александра Корнейчука, Николая Погодина, Алексея Каплера об их работе над сценариями и пьесами о Ленине, и вы лишены раз убедиться в том, как трудна задача сохранить мысль, интонацию, лексику героя и в то же время не подменить писательский рассказ о герое простым пересказом либо прямым цитированием. Здесь и начинается «работат» мера вкуса, мера таланта писателя. Задается она, пожалуй, иной мерой — той, что позволяет отбирать события, ограничивать рассказ о жизни героя. В книгах серии нет строгой заданности хронологических рамок жизни того или иного замечательного революционера. И это делает повести интересными, разнообразными, порой неожиданными по композиции. Это позволяет и самим авторам найти «свой голос» в историческом повествовании.

«Выстрел в Метехи». Михаил Лохвицкий пишет о Ладо Кецохевеи — человеке, предательски убитом в тюрьме, когда ему было всего двадцать семь лет. Автор ведет обстоятельный рассказ, вклинивая в него воспоминания о своих встречах со стариком — нашим современником, который знал, помнил Кецохевеи.

«Мне долго сидели в задумчивости. — Спасибо вам, — сказал я. — После того, как я вас послушал, мне многое становится яснее.

— Мне и самому, — отозвался Вардам, — теперь, спустя столько лет, жизнь Ладо представляется полнее. Говорят же, что издали все лучше видно».

Это не просто фрагмент, взятый из авторского отступления. Это отчетливо выявленный, последовательно проведенный принцип работы Михаила Лохвицкого над повествованием о Кецохевеи: понять, увидеть своими глазами то, что отдалено десятилетиями, увидеть и пластически воплотить. Сейчас получили распространение так называемые «открытые исследования», в которых ход авторской мысли становится полноправным героем повествования. С тем, что делает Лохвицкий, принцип «открытого исследования» может быть косвенно сопоставлен; правда, влияние автора на страницах книги, появление, так сказать, прямое, открытое — всего лишь несколько «ударных», эмоционально насыщенных эпизодов. Ка-

ждому из этих эпизодов найдено точное место, в каждом найден верный тон, и благодаря лаконичности прямого авторского вторжения в повесть лишь действительный результат, лишь большее доверие вызывает автор.

Лев Овалов, рассказав о пяти траурных январских ночах 1924 года, когда страна прощалась с Лениным, о десятилетиях жизни Р. С. Землячки, также сам вступает в прямую беседу с читателем, дает маленькое послесловие «от автора». Не хочу сопоставлять примеры по принципу «положительное — отрицательное», да так уж оно само получается.

Автор повести «Январские ночи» несколько раз видел Землячку. Приходится говорить «видел», слово «встречался», казалось бы, уместное, здесь было бы некстати. Автор и сам пишет: «...Сказать «знаком» было бы преувеличением, но видеть я ее действительно видел, так будет вернее». Видел Овалов раз.

Сначала в октябре 1919 года; Лев Овалов подробно описывает, как Розалия Самоилова... лорнировала его. Описывает также и то, что первое слово, услышанное им из уст Землячки, было «растрелять», подробно излагает суть дела, в связи с которым это куда как непростое слово было произнесено. Автор делает очень важное добавление: «Несколькими часами позже у меня с нею состоялся хороший, можно сказать, душевный разговор, во много воды утекло с той встречи до той поры, когда я понял, что эта черта ее характера именуется не жестокостью, а твердостью».

Запомним это, пойдём дальше за автором. Лев Овалов рассказывает, как в декабре 1928 года он, корреспондент «Крестьянской газеты», писал отчет о сессии ЦИК СССР; как он, «сторонясь в редакции», «бежал сломя голову, перепрыгивая через ступеньки, и вдруг опять незримая сила остановила» автора. Автора снова лорнировали, «укоризненно покачав головой», «споманив к себе пальчиком».

Меня эти страницы книги покоробили. Тем более досадно, что две другие встречи, которые далее описывает автор, действительно дают многое для понимания и его героини и характера эпохи. Вернее повествуют о своеобразном, индивидуально проявленном в связи, соединившей характер героини и характер эпохи.

Остановившаяся на этом столь подробно потому, что частный пример позволяет задуматься о важнейшем — о том, как много значит, удалось или нет найти автору верную интонацию, верную точку зрения на главного героя книги, выходящей в серии с таким ответственным названием: «Пламенные революционеры». Я написал в начале статьи о том, что серия повествует о людях одной, общей судьбы. Но в том и сила самой судьбы, сила этих людей, что каждый из них ничуть не утерял из собственной индивидуальности, делая великое общее дело, что революция позволяла индивидуальности выливаться сплоша. И замысел, и — в целом — исполнение беллетризованных портретов в серии впервые, пожалуй, позволяют так объемно увидеть человеческое многообразие тех, кто был мозгом революции.

Именно потому, что книга за книгой повествует о людях одной судьбы, судьбы эти с неизбежностью перелетаются, герой одной книги непременно фигурирует в другой, третьей... Глеб Максимильянович Кржижановский, о котором идет речь в повести Владимира Красильщикова «в начале будущего», приходит к читателю и в книге Владимира Коношева «Такое голубое небо», посвященная Надежде Константиновне Крупиной, и в книге Василия Аксенова «Любовь к электричеству», повествующей о Леониде

Борисовиче Красине... Наверное, далеко не все читатели читают всю серию подряд. Но нельзя не держать в сознании именно такого идеального, следующего за всеми выпусками серии читателя. Боюсь не хочу призывать к какой-либо унификации характеристик главных действующих лиц той или иной книги. Речь просто идет о том, что по самому замыслу создается не просто серия портретов, но коллективный портрет.

В серии есть книга Эм. Миנדлайна «Не дом, но мир» — повесть об Александре Коллонтай. Миндлайн — автор серьезный, опытный, и ему удалось парировать портрет запоминающийся, привлекательный. Но вот читаю у Льва Овалова (идет описание Десятого съезда партии): «Слонялся среди делегатов и авторы всяких изданных брошюр; с важным видом расхаживал Ризован, в чем-то убеждал собеседников Ларин, от группы к группе переходил Шляпников и Коллонтай...»

Землячку Коллонтай миновала, они недолюбливали друг друга, уж очень разные это были натуры, бесполезно было пытаться настроить Землячку против Ленина. Землячка не любила тратить слова попусту, а Александра Михайловна была по-женски словоохотлива, и только легкомыслием можно было объяснить ее попытку обвинить в легкомыслии Ленина!

Факт есть факт: А. М. Коллонтай привадежала к «рабочей оппозиции». Факт иной тоже бесспорен: «натуры» Р. С. Землячки и А. М. Коллонтай были действительно «разные». Но верно ли нашел автор интонацию там, где, «возвзвывая» образ одной из выдающихся деятельниц партии, сделал это за счет «принижения» образа другой, не менее выдающейся деятельницы? И как воспримет пассаж автора о «словоохотливости» Коллонтай читатель, которому непременно хоть где-то, но приходилось встречаться с характеристикой А. М. Коллонтай как одного из выдающихся ораторов партии времен революции и гражданской войны, талантливейшего дипломата молодой Советской республики?

Революцию делали живые люди, интересные именно неповторимостью индивидуального облика каждого из них. Рисовать отношения между этими людьми как непрерывную идеальную было бы в исторической и художественной неправдой. Но автор книги о Р. С. Землячке опускает, скажем, такой факт, что его героиня (как, кстати, и А. М. Коллонтай) входила в число «левых коммунистов». Допустимо ли это, тем более в сопоставлении с только что приведенной якобы «психологической» характеристикой взаимоотношений Коллонтай и Землячки?

Иногда создается впечатление, что Лев Овалов (а просчеты его повести меня заинтересовали как просчеты, типичные для целого ряда книг серии), избрав в качестве главного характер сложный, не из самых «уютных», как бы спохватывается на ходу и пытается то обойти острый угол, то добавить сладкого там, где все было проще, четче, мужественней, наконец. И читатель будет щетно ломать голову над вопросом: во всем ли была права Землячка, будучи начальником политотдела 8-й армии? Тут уж дело не в личности даже, а в сложности, противоречивости эпохи, в запутаннейшем узле классовых отношений, в движениях миллионов масс людей — движениях, смысл которых постигали в повседневной борьбе за новую Россию большевики. И здесь нужна точность, особая, все собою определяющая точность соотнесения человека и эпохи.

Если говорить о том, как выдержана эта мера в случае из самых сложных, можно припомнить книгу Юрия Чернова «Любимый цвет — красный» о Викто-

ре Павловиче Ногине. Автор вглядывается в судьбу своего героя в звездные часы этой судьбы, ставит в центр повествования подпольную работу Ногина и, конечно же, нелегкую победу большевиков в Москве, в октябрьские дни 1917 года. Но в конце, когда волею автора героя его итожит свою жизнь, он, герой, имеет мужество видеть в этой жизни не только звездные часы, но и ошибки.

Читатель открывает сложность пути тех, кто шел рядом с Лениным, кто не от роду был политическим деятелем, а обрел опыт большевистской политики в горниле живой истории.

Не это ли в конечном счете одна из главных целей такой серии, как «Пламенные революционеры»? Не является ли существенной воспитательной задачей сегодняшнего нашего искусства показать молодости и красоту и трудности пути, пройденного пионерами социалистической революции в России?

Сказав о пионерах социалистической революции, я имел в виду большевиков-ленинцев. Но читатель серии многое не понял бы, не прочли бы возможность на страницах выпусков с буками «П» встретить Белинского, Обнорского, Желябова... Повесть Юрия Трифонова о Желябове стала литературным событием, о ней уже много писала критика, и, как ни вели соблазн поразмышлять об этом произведении, не входит такие размышления в задачу этой статьи. Напомню лишь, что и читателя и критику привлекала в «Нетерпении» острота постановки вопроса о нравственном содержании революции. Не менее важно то, каким предстает в книгах образ врага — а враг героев, давших имя серии «Пламенные революционеры», многолик, он предстает то либеральствующим межданином, то огородившимся фразеологией квазисоциализмом, то провокатором, то полицейским офицером. Можно, говоря об общей удаче серии, специально оговорить, что поиски авторов, создающих галерею таких образов, одна из больших заслуг серии. В «Выстреле в Метехи» у Кедровых достойный противник — печально знаменитый ротмистр Лунич. Интересно выписана личность пытающегося примирить в жизни и в собственной душе исповедание идеала и гадостный низмизм, принципы офицерской чести и жандармскую службу. Кедровели предательски убивают. Лунич тоже убивает предательски, заманив в ловушку, и организатор убийства — провокатор, выдавший охранке Кедровели, порожденный той же средой, которая породила и Луничу. И эти две истории позволяют автору вглядеться зорче в нравственный смысл истории, ее суда, ее приговора человеку.

Наряду с тем, что серия раскрывает — о чем я уже сказал — революцию как дело лучших умов, лучших людей разных времен, разных народов, авторы серии (конечно же, не задаваясь специально такой задачей) пишут параллельную историю человеческой глупости, костности. Эти последние могут рядиться в самые изысканные одежды, блистать интеллектом, бравировать своим заигрыванием с историей. Итог — один.

Владимир Коношев, автор повести «Такое голубое небо», посвященной первым годам революционной деятельности Надежды Константиновны Крупской, точным ходом раскрыл жестокою по отношению к наиразличнейшим охранителям правду, логику истории. Он просто включил в повествование маленькие фрагменты, каждый из которых озаглавлен: «Взгляд из грядущего». Мелькает повседневность, некий петербургский полковник Секеринский, соревнуясь в усердии с Кузьминским, полковником московским, а заодно и вздыхая генеральского чина, устраняет охоту за «Владимиром Ильичем Ульяновым», следующим из Москвы в Петербург. В Коношове без удовольствия выписывает и разговор полковника с высоким

начальством, и даже наводненный паркет в полковничьем, — да нет, почти генеральском кабинете...

А потом — «Взгляд из грядущего». Фрагмент «Воспоминаний о Ленине», написанных Н. К. Крупской. Фрагмент — о приезде Ленина на Финляндский вокзал, о том, как бросал Ленин в толпу: «Да здравствует социалистическая мировая революция!»

Сколько их было, преуспевающих полковников Секеринских и полковников Кузьминских? Сколько из них успели получить генеральские чины? Сколько сил и средств тратилось на одно: на то, чтобы надежной остановить историю?

Пishу обо всем этом, чтобы подчеркнуть важнейшую черту серии «Пламенные революционеры»: впервые так последовательно, так масштабно раскрывает она нравственную сторону не только революции, но и контрреволюции. От выпуска к выпуску читатель видит, чувствует, понимает, что противостояние революции есть не только исторически, объективно реакционное дело, но и дело, разрезающее душу, рашепляющее личность служащих ему.

Одно это уже позволяет авторам лучших книг серии живописать мир не одними только белой и черной красками. Как раз наоборот: полноточность мира, истории одни только и дают возможность выписывать характеры разные, достоверные.

В столкновениях характеров, судеб отыскивается героями книг серия истина. Нет ни одной книги с грифом «Пламенные революционеры», которую нельзя было бы назвать драмой идей. Другое дело, насколько удачно раскрыта, реализована художником эта драма в том или ином выпуске серии.

Ведь задача серии «Пламенные революционеры» не в том, чтобы расписать историю в лицах, а чтобы показать единство истории в ее революционном развитии, нашу сегодняшнюю духовную причастность к борьбе за революционное переустройство мира. И причастность всей революционной традиции в истории тому, что делаем, за что боремся мы сегодня.

...Давно уже это было, а случай пойдет из памяти. В большом студенческом клубе обсуждался фильм А. Михалкова-Кончаловского «Первый учитель», созданный по повести Чингиза Айтматова. Шел жаркий спор, смеялся друг друга выступавшие, и вдруг на сцену вышла девушка и сказала: «Сколько можно? Зачем нам фильмы про революцию, про гражданскую войну, про Отечественную? Мы хотим видеть фильмы про нас, про нашу сегодняшнюю жизнь!»

Зал замолк, словно ошело. Потом студенты сами, один за другим, отвечали девушке, выступая, объясняли ей, что и революция и войны, отстаивавшие революцию, — это «про нас». И это «про нас» могут сказать разом все поколения, если фильм удачен, если соблюдена, если заново, как и подобает искусству, воссоздана правда истории в образах волюнчющих, достоверных.

Спор окончился, а я, вернувшись домой, перечитал письмо Горького Луначарскому: «Не говорю уже о том, как нужна такая книга для нашей молодежи, от которой прошлое уходит с фантастической быстротой, да, — но оставляет за собой ядовитую пыль, и от этой пыли — сереют души, тускнеет разум...»

Разум не посеревший, душа не потускневшая рано или поздно не только осознают, но переживают, как нечто глубоко личное, свою причастность к судьбам тех, чей облик запечатлен на строгих фронтисписах выпусков «Пламенные революционеры».

«**Ф**лагманский самолет советской арктической экспедиции, пилотируемый М. В. Водопьяновым, совершил посадку на Северном полюсе...»

Сейчас это — история.

Такая же история, как спасение челюскинцев, как полеты к полюсу недоступности, как многие другие дела наших полярников. И в каждом таком деле, кроме высокой отваги и мужества, требовалось не меньше знания, здравого смысла, дара предвидения, словом, всего того, без чего невозможно перевести задуманное уникальное предприятие из холодной, далекой категории невозможного в несравнимо более осязаемую категорию просто очень трудного.

Едва ли не со всеми аспектами одного из таких «просто очень трудных» дел — полярных исследований — Мы встречаемся в книге В. Аккуратова «Право на риск» («Молодая гвардия». Серия «Честь. Отвага. Мужество». 1974).

Автор — заслуженный штурман СССР, известный авионавигатор, ветеран освоения Арктики, участник едва ли не всех сколько-нибудь значительных воздушных полярных экспедиций. Во время войны — штурман тяжелого бомбардировщика авиации дальнего действия, выполнивший не один десяток боевых вылетов в глубокие тылы противника. А кроме того — автор нескольких интересных книг, постоянный автор журнала «Вокруг света». Словом — еще одно живое подтверждение известного тезиса, гласящего, что по-настоящему одаренный человек редко бывает одарен только в какой-то одной области.

...Итак, самолет И. П. Мазурука, в составе экипажа которого находился штурман Аккуратов, благополучно приземлился (точнее — приледелся) в районе Северного полюса. Теперь нужно перелететь на «остновую» льдину, на которой останется зимовать четверка папанинцев. До этой льдины — каких-нибудь полтора километра. Суший пульток по сравнению с тысячами километров, оставшимися позади.

Пустяк?... Оказывается, не такой уж пустяк! Неожиданно выплывает весьма весомое препятствие: неизвестно, куда лететь! Сжавшись на Северном полюсе в точку пучок меридианов делает условной саму постановку вопроса о курсе. В самом деле: если курс, то относительно какого меридиана?..

Проблема явно по штурманской части. Справиться с ней должен



ПРАВО И ДОЛГ



был не кто иной, как Аккуратов. И он справляется — оперативно изобретает (попробуй тут не изобрести!) принципиально новый («старых» вообще не существовало) метод навигации в высоких широтах! Метод «условных Меридианов», который в основных своих чертах применяется в Арктике и Антарктике по сей день, но первая практическая проверка которого состоялась в тот момент, когда самолет Мазурука точно вышел на папанинскую льдину, где его ждали три остальных экспедиции.

Снова — в который уж раз — убеждаемся мы в том, как трудно порой бывает заранее представить себе ожидания нас проблемы во всей их конкретности. И еще в том, что вопреки распространенному мнению голова, чувствующая непрочность своего крепления к шее, иногда собирает куда лучше, чем в спокойной кабинетной обстановке...

Проблема права на риск вынесена автором в заглавие книги. Вообще говоря, можно спорить о том, является ли в данном случае самым главным право. Наверное, все-таки в жизни полярника, летчика, хирурга, словом, представителя любой профессии, связанной с необходимостью принятия ответственных решений в сложных условиях, доминирует не столько право, сколько обяза-

тельность рисковать всегда, когда... когда без этого невозможно обойтись. А всегда, когда возможно, стараться действовать наверняка, или уж, во всяком случае, с минимальным риском. В сущности, сам автор и его коллеги именно так и действуют: исполним хотя бы отказ экипажа И. П. Мазурука от попыток искать папанинскую льдину по интению («авось наткнемся») или разумный совет, который автор книги дал смельчак, но мало информированным молодым людям, собравшимся без должной подготовки и тренировок лешком на Северный полюс. Поэтому встречающиеся в книге фразы вроде: «Нельзя рисковать на пять, десять, тридцать процентов. Все или ничего!» — представляются не до конца продуманными, а главное, идущими вразрез со всем содержанием записок В. Аккуратова.

Книга «Право на риск» хорошо написана. Некоторые эпизоды рассказаны так, что, хотя автор и избегает трюмных слов (что тоже следует поставить ему в заслугу), драматизм происходящего ощущается в полной мере.

Читатель видит перед собой уважительно выписанные автором портреты незаурядных людей, начиная с Отто Юльевича Шмидта и кончая Василием Михайловичем Махоткиным, в силу ряда причин незаслуженно малоизвестным полярным летчиком.

Хорошо удаются автору книги и описания удивительной, ни на что другое не похожей — «не дождавшейся еще своего Рerиха» — природы Арктики, например, льдов, которые, оказывается, не монотонно белые, как по невежеству полагаем мы, люди средних широт, а разноцветные: зеленые, бледно-голубые, густо-фиолетовые, палевые, даже сиреневые с золотом!..

А, главное, В. Аккуратов смотрит на то, о чем пишет, — изнутри. Говорит только о людях, с которыми вместе преодолел немало трудного, только о делах, которым посвятил почти всю сознательную жизнь. Кажется бы, это дает ему право на некоторую безапелляционность суждений. Однако он — как большинство умных и много появившихся людей — не спешит этим правом пользоваться.

В такой сдержанности — доверие и уважение к читателю, которые не могут остаться во взаимных.

М. ГАЛЛАЙ



КРАСКИ
РОДНОЙ
ЗЕМЛИ

Рафаэл
АТАЯН

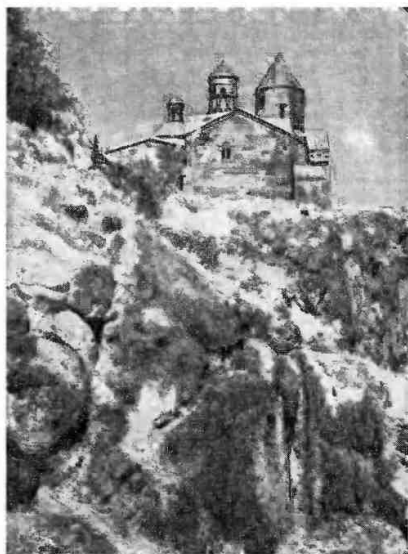
КАМЕНЬ И ВОДА

I

Еще в начале века на склонах Гегамского хребта, с юго-запада окаймляющего Севанское озеро, можно было видеть чудовищных вишапов. Это огромные каменные фигуры рыб, стоящих на хвосте. Установленные очень давно, они охраняли истоки оросительных систем, воплощая собой культ воды, с незапамятных времен царивший у исконных жителей армянского нагорья.

Было это давно... В предгорье, немного ниже обители вишапов, как-то произошло знаменательное событие: забил новый ключ. Люди на радостях взялись за расчистку его истоков. Вода пошла обильнее, но возник спор: которому из соседних сел должно принадлежать первенство в поливке земель? Нашли безобидное решение: кто первым принесет жертву в честь святой воды, тот первым и воспользуется бесценным даром природы. Побежали за баранами. Но отары одного из сел уже были угнаны на горные пастбища, дело было проиграно. Тогда выступил вперед молодой крестьянин из этого села. «Пусть моя жизнь будет принесена в жертву воде», — сказал он и возник острый нож в свое сердце. В память об этом событии — страстном и скорбном — установили хачкар, мемориальную плиту из розового туфа. На нем была точная дата — 1173 год. Легендарный хачкар дожда до наших дней, лишь недавно перенесли его в исторический музей.

И вот ровно через восемьсот лет маляр из села Джржеж раздобыл глыбу ярко-красного туфа, пригласил каменотесов, и в сентябре, когда последний



раз поливают виноградники, на том же месте воздвиг новый памятник с надписью о давно происшедших событиях. А в воскресенье, 23 сентября 1973 года, джржежцы устроили большой пир в честь живительной воды, отпраздновав давнишнее открытие поныне действующего источника, и в честь мастера-односельчанина, 800 лет спустя создавшего прекрасное творение искусства.

Культ воды, осященный камнем, пройдя сквозь тысячелетия, жив и сегодня.

2

Мы, армяне, вопреки всем превратностям судьбы народ счастливый. Суровая и вместе с тем ласковая природа нашего родного нагорья научила нас многому. Могучие контрасты горного рельефа в сочетании с картинами нежнейшей гармонии порождали у наших далеких предков неодолимую потребность духовного самовыражения, постоянное стремление совершенствовать естественную красоту творениями своих рук. Древейшее проявление этого — огромное количество невероятно динамичных наскальных рисунков, обнаруженных в наши дни в Сюишских и тех же Гегамских горах...

...Безраздельный властелин нашего ландшафта — камень. Камень издавна — основной материал чело-

На снимке. Храм села Сягмосавинк (XIII в.).

веческого жилища. Крепости, выстроенные на неприступных утесах из неотесанных глыб базальта и гранита, выражали собой непокорность народного духа. Они, эти крепости, и явились надежными хранителями духовной культуры — рукописей на пергаменте — от опустошительного огня кустов, разжигавшихся вандалами-завоевателями. Выстояли до сей день и фундаментальные каменные здания библиотек в Гоше и Татене, Ахлате и Сапание, выстроенные в X—XII веках.

Из камня — не однородно-серого, а многокрасочного, многоглыбого — возводились, начиная с Дохристианской эры и до XIV столетия, монументальные сооружения, украшавшие нашу землю. Бродяшь по склонам Арагаца, в предгорьях Зангезура и Лори, и тебе все кажется, что свои формы и пропорции древние строения, разбросанные там, позаминували у окружающих скал, являясь, по сути дела, их одухотворенным завершением. Редкая и возвышенная святость природы и искусства!

Изумительного совершенства достигало искусство резьбы на камне. Горос Торомяны, всю жизнь посвятивший изучению отечественной архитектуры, до конца своих дней не переставал удивляться новым находкам. «Невольно поражаешься, видя, какую приобрел живость грубый, бесчувственный камень от прикосновения человеческой руки, — писал он. — Слово природа сама изобрела эту восхитительную гармонию сплетения лежнейших узоров, которые можно было бы назвать скорее рукоделанем, чем резьбой: до того тонки здесь линии, что сразу их и не заметишь!»

Резьба на камне была массовым искусством. Много сотен создателей и составителей (так называли их в старину) применяли и совершенствовали свое чудесное мастерство на хачкарах. Появившиеся в VII—VIII веках как примитивные по форме надгробные памятники, хачкары со временем стали подлинными произведениями искусства.

Но наступило мрачное безвременье — пять веков турецко-персидского ига: мало что строилось, многое разрушалось, навсегда исчезая с лица земли. И все же то, что удалось уберечь, в самом деле похоже на волшебную сказку — безмолвный призыв к разуму и совести людей: охравяйте как зеницу ока творения народного гения!

Недавно в селе Бжи — одном из очагов культурной жизни средневековья — на внутренней стене каменной арки VII века, в укрытом от дождя месте, я увидел отлично сохранившуюся дощечку, тоже ставшую своего рода драгоценной реликвией. Надпись гласит: «Декретом Совнаркома ССР Армении (11. XII. 23) все древности, найденные в Армении, объявляются государственной собственностью. Портреты их лица будут привлечены к уголовной ответственности. Мы призываем всех граждан проявить внимание к древностям и заботиться о них, будь они в сохранности, в руинах или в обломках.

...Комитет охраны памятников. Ереван. ул. Абовяна, № 52...»

До чего же типично все это для времени: простота и безыскусственность, непосредственность и доверие — в этом первом обращении к народу вновь созданного Комитета по охране памятников при Совнаркоме Армении, который возглавив наш прославленный зодчий академик Александр Таманян.

С того времени дело охраны и изучения памятников старины шагнуло далеко вперед. Выросла плеяда талантливых советских архитекторов и этнографов, археологов и палеонтологов. Их исследования — серьезный вклад в историю культуры.

Все это наследие стало теперь общим достоянием советских народов, и обращено оно не только к прошлому, но и к будущему. В самом деле, как много жизненно насыщенного можно почерпнуть и сегодня в традициях отечественного зодчества. Живым свидетельством этого является Дом правительства на площади Ленина в Ереване. Целесообразность пропорций и изящная гармоничность компонентов при монументальности целого сделали это здание шедевром нашей армянской советской архитектуры. Прекрасен и орнамент на карнизах, воспроизводящий мотивы лучших древних образцов; да и все здание в целом говорит о том, что и сегодня живо у нас искусство резьбы на камне, переходившее из поколения в поколение.

А разве не жаль, что в нашем большом градостроительстве порой забываются предисылки создания гармоничных архитектурных ансамблей и зачастую игнорируются «естественные доминанты»? Ведь уже сегодня на наших глазах вырисовывается угроза превращения города в хаотическое нагромождение разнокалиберных зданий. Вспомним, сколько чуткости и вдумчивости вкладывали зодчие в выбор мест и восток — ведь стала для возведения монументальных строений. Не благодаря ли этому они, эти строения, вечно сохранили свою величественность, господствуя над окружающей ландшафтом, приковывая к себе взор путника.

3

Прозные вышпы, когда-то стоявшие на высотах, где до конца лета не тает снег, ныне повержены и лежат в городских парках или на парке музейных залов. Зато уже треть тысячелетия живут своей благотворной жизнью прорубленные сквозь базальтовые скалы Дааминский и Аштаракский каналы, ныне орошающие молодые совхоз-



Развалины храма в Звартноце.

ные сады. С удовольствием взираешь на веселый поток выбегающий из прохладной темницы, где ни капли не теряется даже в летний зной. И тут человеческие руки соединили два враждующих в природе начала — камень и воду.

Сохранились пошые и выдолбленные в скальном грунте длинные потайные ходы, ведущие из горных крепостей к ручейкам-спасителям в дни осад. У обычных источников основывались поселения и строились храмы. Как святыню, берегли наши предки эти источники и жизни для грядущих поколений. Вот один из них, целый и невредимый, — многоводный студеный родник с трехраковой колонадой над ним, построенный в Ахпате в 1233 году. А фронтоном стоящего в руинах знаменитого храма села Птхви (VI век) украшает уникальный фриз — кувшины, типичнейши в Армении сосуд для доставки и хранения воды.

Культ воды — древнейшее поверье, — постоянно возобновляясь, приобрел многообразные формы и с новой силой возродился при советском строе. Из уст в уста передавались в двадцатые годы слова В. И. Ленина, «привезенные» А. М. Мясниковым, первым предсовнаркомом Советской Армении, в 1921 году как наказ коммунистам Закавказья: «Орошение больше всего нужно и больше всего пересоздает край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму». А открытие Ширакского канала, первая нашего гидростроительства, с пафосом описанное Фридрихом Нансеном, было и первым поистине всенародным праздником у нас.

Ныче другие масштабы. Пожалуй, за полвека ни одна стройка не вызвала такой всеобщей заинтересованности у нашего народа, как туннель Арпа — Севан. А Севан не только «голубая чаша, поднятая к небу», как это представляется поэтам; он глубинный резервуар тысяч родников в бассейне реки Раздан, он регулятор погоды всей северо-западной Армении. Более того, Севану, электростанциям на реке Раздан обязана своим существованием большая индустрия в столице и вокруг нее, да и сам Ереван как процветающий город. Водами Севана питаются также молодые сады и виноградники, раскинувшиеся на ранее голой, каменистой земле Араратской равнины.

Но Севан сегодня — через силу поработавший допор. Воды реки Арпа — живительная кровь для него, и камень — самый желанный сосуд — проводник этой крови. Если самый большой туннель Даммин-

ского канала, построенного еще в государстве Урарту, имеет длину 440 метров, то Арпа — Севан — длинейший подземный водовод планеты — 48 километров, 42 из которых уже «пройденны». И вот, пока туннель проходит через скальный грунт, все благополучно. Но в самом глубинном участке шахты, вырытой с вершины Варденисского хребта, порода — песчаник, претерпевший тектонические смещения, и вся гора обваливается, вместе с мощными подпочвенными потоками и ядовитыми газами, закупоривая путь вперед. Все это источник драматических переживаний для жителей республики... А воды Арпа все равно прорвутся к озеру, и Севан заживет новой жизнью.

Битва за воду, ведущаяся уже пятьдесят лет в Советской Армении, — это битва за обогащение природы, за сохранение и умножение естественной красоты нашей жизни.

4

Древние традиции, исходящие из самих естественно-географических условий жизни края, пустили глубочайшие корни в народную душу. Отправляйтесь из столицы по любому маршруту, в Ошакан или Арчи, в Ахпат или Татев, туда, где когда-то очень давно горела святилище духовной и интеллектуальной жизни, и везде вы встретите детей, мужчин и женщин, добровольно взявших на себя заботу о памятниках старины. Порою люди, мало сведущие в искусстве, с гордостью и воодушевлением рассказывают приезжим эпизоды героической борьбы за самосохранение, связанные с историей этих памятников. И диву даешься их бескорыстному и неутомляющему с годами энтузиазму.

А другие идут еще дальше. Вблизи Леннакана, в селе Арчи, заучу восьмилетней школы Григор Саркисян уже много лет собирает при содействии учащихся и родителей реликвии культуры и быта своей местности. Заручившись поддержкой районных органов, он перестроил ветхое здание когда-то знаменитой духовной школы, где учился и Аветик Исаакян, и открыл там этнографический музей. В этом сельском музее богато представлены экспонаты разных эпох, от каменного и бронзового веков до наших дней. Теперь он мечтает о пансионате, где могли бы жить и работать приезжие ученые.

А вот трогательный образец добровольной предпримчивости иного рода. Года три назад у живописного истока реки Касах, не окоеванного еще металлическим каркасом водопровода, нас с группой друзей приятно удивили молодые тополя. Они украшали раньше голый скалистый холмик над бассейном. Когда же села позатраграт, подошла к нам крестьянка средних лет и скромно попросила перенести нашу трапезу в другое место. «Это святой источник», — объяснила она. Оказалось, она сама посадила деревья и ревниво охраняла «оазис».

Это поверье о живительной силе источника и легло в основу подлинно народного движения за создание красивых родников в память погибших героев Великой Отечественной войны. В двенадцатом-тринадцатом веках создатели из Восточного Сюника (ныне — Ехегнадзорский район) шли из села в село и строили прекрасные чакчакры, увековечивающие памятные события в жизни людей, будь то сооружение моста через бурный поток, псаждение богатого сада, свадьба или же преждевременная гибель кормильца семьи. Теперь же искусные



Родник в Ахпате (1233 г.).

каменотесы в Лори, Запегуре и Шираке, переезжая из села в село, по поручению сельских общин или родственников погибших строят родники с каменным обрамлением и орнаментом на перекрестках дорог, в центре села или в излюбленных местах отдыха и развлечения. Среди них, быть может, больше всех прославился мастер Меграб своими родниками в ущелье Ванадзор под Кироваканом и в селах Гургарка. Возникло в народном обиходе и прочно утвердилось в литературном языке новое чудесное слово, емкое и благозвучное: «памяти родник», «родник-памятник». Есть в Ереване родники-памятники, носящие имена Зои Космодемьянской, молодогвардейцев и их собратьев по подвигу — героев армян. Народным умельцам пришла на подмогу и наш недавно скончавшийся высокоталантливый архитектор Рафаэл Исраэлян, безвозмездно спроектировавший и руководивший постройкой многочисленных родников в различных районах республики. «Родники Исраэляна» — уже настоящие произведения искусства, ослепительные по конструкции и ласкающие взор человека.

Так еще раз слились воедино камень и вода — защита природы и почитание прекрасных творений человеческих рук, народная предприимчивость и смекалка и искусство зодчих — явление, имеющее древнейшие корни в своеобразии естественной среды и прератностях исторической судьбы, в поверьях и традициях народа-созидателя.



Образец резьбы на камне

5

Но тут приходится говорить и о делах не очень приятных. Природа наша и вместе с ней памятники культуры имеют и своих недругов. Это главным образом безответственные, привыкшие к легкой жизни люди. Им наплевать на то, что ботаники-экспериментаторы из Севанской биостанции прилагали неимоверные старания три десятилетия подряд, пока на освобожденной от воды гальке и песчанке прижились немногие породы деревьев. Жаря пашалык на берегу лазурного озера, эти профессиональные кутилы оставляют за собой опустошенные и загаженными целые участки молодого лесочка.

Я видел, как одна компания, срезав ивовые ветки на шампур, обезобразила самые красивые деревья у Парз-дич (Ясного озера), а на обратном пути на веселе повалила два прекрасных хачкара у излюбленных дикажками родников Пучур-Дилан.

И чего не терпит от рук цивилизованных дикарей речная фораель — жемчужина нашей природы, издревле опекаемая жителями горных районов! Какие только жестокие средства умерщвления не направлены ими против этих красивых беззащитных рыбок — динамит, хлорную известь, электрический ток, пропускание в воду от моторов автомашин.

Не падать даже наших столь желанных крылатых гостей из далеких стран — фазанов в «Хосрови антар», заповеднике, посаженном две тысячи лет назад при царе Хосрове и воскресшем к новой жизни в Советской Армении.

А сколько горьких жалоб приходится слышать из уст лесничих о том, что после бесконечной волокиты в суде даже самые злостные браконьеры каждый раз отбываются легким испугом.

Все это — источник постоянной тревоги для нашего общества. Она сказалась в подлинно боевом публицистическом выступлении юношеского журнала «Гарун». Очеркистка Марго Гукасян ярко и убедительно показала, как в течение многих лет безнака-

зано игнорируются у нас важнейшие законы о земле и воде. Летом 1973 года эта тревога нашла выход в обстоятельном докладе председателя Совета Министров Армении Г. А. Арумяна на специальной сессии Верховного Совета республики.

Но если мы серьезно стремимся к успеху, то вместе с системой государственных мероприятий, призванных обезвредить химию и металлургию для окружающей среды, нам нужно организовать широкое народное движение в защиту природы и заодно памятников культуры, не случайно расположенных в самых живописных ее уголках. Это единая задача; смысл ее — повышение культуры и гражданской ответственности подрастающих поколений.

Объединить бы нам прежде всего усилия трех добровольных обществ — охраны природы, защиты памятников культуры и общества «Знание», разработать вместе дальнюю стратегию и программу неотложных действий и взяться за дело! А самое главное — включить в этот поток молодую энергию комсомола и пионерии. Лет пятнадцать назад по призыву писателя Вахтанга Аваняна у нас в пионерских дружинах развернулось багородное, романтически прекрасное движение — прививка дикорастущих плодовых деревьев в лесу. Многие из тогдашних пионеров — ныне учителя, врачи, агрономы — каждую весну, когда пышно цветут их лесосады, радуются творению своих рук, а осенью пробуют там сочные и вкусные яблоки, груши и сливы. У таких людей не поднимется рука спалить зеленые ивы и разбить древние хачкары.

Организуем же новое движение за создание школьных садов в городе и деревне, используем поступающие «пришкольные участки» и пустыри возле школьных зданий! Научимся и научим наших детей поддерживать чистоту и порядок в лесу, как это привыкли делать, например, ленинградцы. Возьмем пример у наших латышских и эстонских друзей — у них каждое долготелее дерево на особом участке и даже песок на пляже — предмет заботливого ухода. Поддержим наших народных умельцев, носителей доброй национальной традиции — тысячелетней дружбы камня и воды, скрепленной человеком! И тогда мы с чувством исполненного долга сможем смотреть в глаза нашим друзьям из братских советских республик и всем едущим к нам, чтобы увидеть нашу Армению с ее чудесной природой и неувядаемыми памятниками древнего искусства.



ПОДРОСТКАМ— О ВОЙНЕ

Разговор двух девочек в наши дни: «Завтра у нас концерт для раненых!» — «Для каких раненых?» — «Для раненых на войне». — «На той? На Отечественной?..» — «На той». — «Но какие же они теперь раненые! Они и сами-то, наверное, забыли, что их когда-то ранили!» — «Они не забыли. Может быть, это другие забыли...»

Много книг написано о солдатских судьбах на той, Отечественной. Полистаем несколько изданий, вышедших в «Детской литературе» перед 30-летием Победы.

Это в основном сборники рассказов или законченные сюжетные отрывки крупных произведений, и в центре каждого — характер или событие.

В книге Е. Воробьева «Язык мой — враг мой» — рассказы о солдатах в бою, в разведке, на отдыхе. Тон

мягкий, доверительный, без нажима, люди «просто» делают дело войны, будь то разведчик Харламов, пристроившийся к цепочке немецких лыжников и таким образом просочившийся незаметно в лес, или связист Устишин, соединивший своим телом концы оборванного провода и простоявший так на морозе весь день, поддерживая связь...

Новый аспект — у Г. Банланова в книге «Пушки стреляют на рассвете».

Внимание здесь сосредоточено на психологических конфликтах. Эта книжка — отрывок из повести; мы оставляем героев на полпути, но успеваем проследить эволюцию штабного писаря Леонтьева, который вначале прячет глаза, мечется, поняв, что командир полка именно его, а не кого-то еще выбрал для оперативного задания, но потом этот человек, подвхваченный прежде ему незанятым покровом, словно бы вы-

прямляется духовно, бросается на врага.

Нелегко приходится и другому солдату, Игорю, из книги Ю. Когина «Мина на большеке». У него постоянные детские обиды на командира группы — то разбудит его, Игоря, раньше, чем надо, то гонит его без видимой надобности в головной дозор, то в докладе о подвигах партизанской группы не подчеркнет, что главным минером был он, Игорь.

Трудно приходит подросток к мужественному спокойствию, отрешаясь от самолюбивой суеты и мелочного раздражения, недопустимых в таком деле, как война...

А сюжет книги Е. Кобылицы Дилминой «На воронки над Хатынью» будто растворен в душевных ощущениях ее героев.

Ведь они не солдаты, не партизаны, а мирные жители, помогающие партизанам. Делать это становится все труднее в занятой немцами деревне, и писательница показывает, как наступает на хатынцев, юных и старых, смелых и не очень, вздорных и терпеливых, разговорчивых и замкнутых, — наступает на всех них беда, постепенно, сначала в снах, предчувствиях, а потом — в реальности.

Всего несколько книг, но они, каждая по-своему, говорят о войне, рассказывают о ней сегодняшним мальчикам и девочкам, таким, чем

диалог мы вспомнили в начале обзора.

А диалог этот произошел в книге Г. Ширяевой «Человек Иван Чинюков» между двумя Юлиями из повести «Юргий-Юргий-Дюк». Одна из них, приехав к больному деду, знакомится со своей сводной сестрой. Вторая Юлия, прозванная дедом Дюк (и тайна этого имени тоже связывает деда и внучку), живет широкой и напряженной жизнью. Это она руководит концертами «для раненных на той, Отечественной», помогает им — не для галочки в пионерском отчете, а для души, для своей жизни. Дюк не щадит себя и других, когда требует помнить о том, что было, пусть было давно. Но в этой ее беспощадности и таится корень настоящей человечности.

Этой человечности она учит сестру, привыкшую к другому жизненному стилю — беззаботному и не обязывающему помнить о чужой горе, как о собственном. Потому что помнить — это и значит быть человеком. Помнить все то, что пройде- до тебя, а главное для тебя, нелегко, но иначе нельзя жить, иначе пустое беспаятное существование ничего тебе не раскроет в жизни.

Для того выходят новые и переиздаются для юности старые книги о войне.

Т. ЕФРЕМОВА





*Позвогите
найти ее...*

Уважаемая редакционная коллегия!

В одиннадцатом номере журнала «Юность» за 1974 год на седьмой странице помещены фотографии. На одной из них военная девушка стоит на подножке машины. Это Катя Филиппенко. Что я о ней знаю? Как-то в нашу часть прибыло пополнение — девушки, среди которых была и Катя Филиппенко. Вот что она о себе рассказала.

Была на оккупированной территории. Комсомолка. Их предали. Многих комсомольцев фашисты отправили в душегубку. Газ пускали медленно. Катя потеряла сознание и больше ничего не помнила. Как раз тогда местечко, где это произошло, освободили наши. Многие из спасенных не выжили. Она тоже тяжело пострадала, но оказалась сильнее смерти. Выжила. А потом добровольно ушла на фронт.

После войны мы с ней переписывались. Из-за перемены местожительства потеряли друг друга. Очень прошу вас, помогите найти ее — буду очень благодарна.

С уважением

И. М. ПОКРОВСКАЯ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ,
переводчица пеницилина,
инвалид Отечественной войны.

г. Вугулуслан.

В преддверии тридцатилетия великой Победы советского народа над гитлеровской Германией люди все чаще обращаются памятью к тем незабываемым дням. Письма летят из конца в конец нашей страны. Ветераны войны разыскивают своих боевых друзей. Дети с благоговением вспоминают отцов, завоевавших Победу, отдававших жизнь за Родину. В походы по местам бывлых боев отправляются новые и новые отряды юных следопытов. Сколько волнующих фактов героизма стали в эти дни достоянием миллионов людей, сколько героических судеб и биографий стали известны благодаря таким поискам!

Может быть, это письмо и публикуемая нами сегодня вторично фотография неизвестной девушки помогут восстановить подробности еще одной славной судьбы, помогут двум героям войны найти друг друга. По просьбе И. Покровской-Петербургской мы разыскиваем ее фронтовую подругу Катю Филиппенко, которую она узнала на безымянной фотографии, опубликованной в ноябрьском номере «Юности» за прошлый год.

Дорогая Екатерина Филиппенко или товарищи, которые знают ее адрес, отзовитесь на этот призыв!

Андрей Дементьев



Пусть тебя минует суета,
мелкие обиды и заботы.
Мы живем в предчувствии суда,
чтоб свести с воспоминаньем счеты.

Мы живем в предчувствии суда,
И когда он наконец наступит,
ты вдруг скажешь:
— Вот она, беда.
Я люблю, а он меня не любит.

Но все встанет на свои места.
Он придет с веселыми глазами
и попросит у того суда
дать о подсудимой показанье.

Ты готова вечно слушать их,
словно вновь к тебе вернулась юность.
Ты бежишь от умыслов своих
и не хочешь о минувшем думать.

Пусть тебя минует суета.
Каждый год тогда зачтется за пять.
— Ты все та же,
Ты совсем не та,—
говорит и радуется память.

Старый Крым

Мы приехали не вовремя:
домик Грина на замке.
Раскричались что-то вороны
на зеленом сквозняке.

Домик Грина в тишине.
Я смотрю вверх калитки.
И почувдалась в окне
мне печаль его улыбки.

Нас к нему не допускают.
Нас от Грина сторожат.
И ограда зубы скалит,
точно сорок лет назад.

Но спасибо добрым людям:
снят замок, открыта дверь.
Не одни мы Грина любим —
не одни скорбим теперь.

Мы заходим в домик низкий,
в эту бедность и покой.
Свечи, словно обелиски,
над оборванной строккой.

Мимо скатертей крахмальных,
сквозь нужду и тишину
мы несем в сердцах печальных
перед ним свою вину.

Всюду даты и цитаты.
Не исправить ничего.
Все мы горько виноваты
перед памятью его.

И за то, что прожил мало.
И за то, что бедно жил.
И за то, что парус алый
не всегда нам виден был.

Сумерки

Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.
Какие прекрасные сумерки выдались!
И все позабылось,
что помнить не хочется:
обиды твои
и мое одиночество.

Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.

Душа моя, как холостяцкая комната:
ни смехов твоих в ней,
ни детского гомона.
Завалена книгами площадь жилищная,
как сердце — словами,
теперь уже лишними.
Ах, эти слова!
Словно листья опавшие.
И слезы,
на целую жизнь опоздавшие.
Не плачь!
У нас встреча с тобой,
а не проводы.
Мы снова сегодня наивны и молоды.
Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.

Какие прекрасные сумерки выдались!



На даче старого поэта
все было старым.
Акварель
в тисках старинного багета
казалась тусклой.
Но апрель
сквозь эту тусклость пробивался
и синеву глазам дарил.
А наш хозяин улыбался,
как будто путь к себе торил.

На даче старого поэта
была вся прелесть в старине.
Узоры черного бубета,
и канделябры на стене.
Большие кресла — словно клетки.
Ковром накрыта тахта.
И как из прошлого столетья
старик читает нам с листа.
Его стихи крепки, как мебель.
И так же старомоден слог.
А за окошком в синем небе
стриж вяжет хитрый узелок.

Баллада об имени

Мы с ним случайно повстречались
в ташкентском аэропорту,
когда, погодой опечалась,
чай гоняли поутру.
Он был находчив в разговоре,
и откровенен, и умен,—
узбек по имени Григорий
[в краю, где нет таких имен].
И я спросил его об этом,
откуда имя, мол, у вас?
Он погрузился и мне поведал
свой удивительный рассказ:

— Меня отец назвал Сайором,—
по всем законам старины
узбекским именем,
с которым
я жил с рождения до войны.
А Гриша — это имя друга,
то имя горестной вины.
Я с ней прошел четыре круга,
четыре года той войны.
У стен столицы утром ранним
наш танк разбили, как фасоль.
Я был контужен.
Гриша ранен.
Стрелок убит.
И шансов — ноль.
Пробитый чуть ли не навывлет,
танк мог могилкой стать для нас.
Каким-то чудом Гриша вылез
и внёс нас.
И жизнь мне спас!..
А сам погиб...
Сквозь боль и ярость
я клятву дал тогда ему,
что если только жив останусь,
то имя Гришино возьму.
Чтоб долго жил он вместе с нами
на доброй родине моей.
Чтобы о нем светилась память
в глазах узбекских матерей.
Когда в Москву я приезжаю,
то каждым часом дорожу:
могилу в поле навещаю,
к стене Кремлевской прижму.
И вновь рассказываю Грише,
как мы живем в родном краю.
И все мне кажется — он слышит,
переживает речь мою...

Узбек умолк, как после песни,
в которой все слова болят:

— Он был земляк ваш.
С Красной Пресни...
Теперь навек и мой земляк.

Женщина уходит из роддома

Уходит женщина от счастья,
уходит от своей судьбы.
А то, что сердце бьется чаще,
так это просто от ходьбы.

Она от сына отказалась.
Зачем ей сын в семнадцать лет!
Не мучат страх ее и жалость,
не взглянет мальчик ей вслед...

Уходит женщина от счастья,
под горький шепот матерей.
Ее малыш — комочек спящий —
пока не ведает о ней.

Она идет легко и бодро,
не оглянувшись на роддом,
вся в предвкушении свободы,
что опостылит ей потом.

И рухнет мир, когда среди ночи
приснится радостно почти
тот теплый, ласковый комочек,
сопевший у ее груди.

Предчувствие

Как лес в предутреннем тумане,
мир из сиянья и теней,
меня преследует и манит
все недосказанное в ней.

И я хочу войти, как в лес,
в ее печаль, в ее улыбку,
где все неясно так и зыбко,
где все в предчувствии чудес.

Хочу искать к ней добрый след.
И верю, что настанет время:
души и глаз скупой рассвет
вдруг вспыхнет солнцем откровенья.

Признание друга

Ушла любовь.
А мне не верится...
Неужто вправду целый век
она была моею пленницей!
И вот решилась на побег.

А ты как будто не заметила,
что нас оставила любовь.
Ты лишь с ответом чуть замедлила,
когда о ней спросил я вновь.

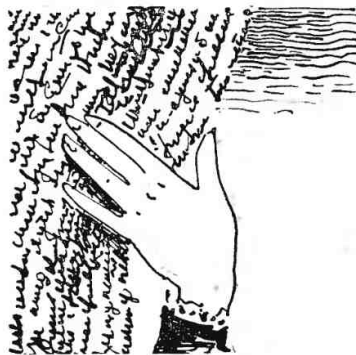
Ушла любовь, забрав с собою
и легкий смех и добрый взгляд.
В душе так пусто,
как в соборе,
когда в нем овощи хранят.



Лариса
ИСАРОВА

НОВЕНЬКАЯ

Невыдуманные истории



Рисунки В. ПЕСКОВА

Когда новая ученица приходит в класс в середине года, на нее невольно обращаешь больше внимания, чем на других, уже привычных и знакомых. Ждешь сюрприза, не зная точно, хорошего или плохого. Появление Птицыной в яваре в девятом классе мне запомнилось потому, что она села на последнюю парту и даже на фоне наших рослых ребят Барсова и Петрикова не казалась маленькой. И еще она подчеркнуто модно была одета — в коричневом брючном костюме. Да и прическа ее с химической укладкой резко выделяла Птицыну среди остальных девочек. Нет, Птицыну нельзя было назвать хорошенькой. Но глаза ее мне понравились — большие, смеющиеся. Она с юмором воспринимала все происходящее в классе: и мои лекции, и разбор сочинений, и ответы ребят у доски.

В учительском мнении о ней долго оставалось неопределенным.

— Она отвечает с таким видом, точно ей смешно в эти игры играть, — сказала Эмилия Игнатьевна.

— А математику она знает? — спросила я. Для меня это было таким показателем развития ученика, о котором я сама не могла оставить четкого мнения.

— Понимает, но смеется... — Эмилия Игнатьевна нахмурила черные брови и решительно подвела итог: — Толку не будет, не люблю пересмешинок.

Когда в классе писали сочинение «Суд совести», Птицына сдала мне почти полностью испсанную тетрадь. Я удивилась скорости ее письма, она легко уложила в урок и написала работу без помарок:

«В начале года я случайно вышла из школы вместе с Зоей С. Это была некрасивая девочка с маленькими глазками, белобрысая. Круглый большой нос сильно портил ее. Она ни с кем не дружила, и, когда я слушала ее ответы на уроках, мне казалось, что я жую картошку без соли.

Я знала, что она дочь крупного профессора-геолога, что тоже станет геологом и что дома ей разрешают дружить только с девочками из «приличных семей».

Она увидела у меня в руках «Уарду» Эберса и сказала, что у них дома есть полный Эберс, полный Брет Гарт и польный Дюма.

Я сделала стойку не хуже охотничьей собаки.

— Идем к нам. Если ты произведешь на маму хорошее впечатление, она даст тебе что-нибудь почитать, — сказала она вялым тоном, и всю дорогу я выясняла, как можно приручить ее маму.

И хотя я редко робею, но когда вошла в огромную квартиру с такими большими комнатами, что они казались пустыми, хотя мебели было много — большой, тяжелой, старинной, — я смутилась. Тем более, что нас встретили несколько пожилых женщин в темных пальтах, закрытых передниками, с волосами, уложенными как-то необыкновенно старомодно.

Зоя знакомила меня, но имена их сливались — мама, бабушка, тетя, двоюродная тетя, кузина... Нас пригласили позавтракать в столовую и каждой подали на подносике стакан с томатным соком, яйцо в подставке, поджаренный кусочек хлеба и тарелку овсяной каши. Я так старалась произвести «хорошее впечатление», что яйцо оказалось у меня на переднике, и все женщины захолопотали, точно я больная, а Зоя смотрела на меня радостными глазами.

После завтрака мне был устроен допрос с пристрагием. Выяснялась профессия родителей, даже бабушки. Я держалась так кротко и воспитанно, что меня подташнивало. А потом Зоя отвела меня в кабинет отца, и я получила, наконец, два тома Эберса и один — Дюма в старинных переплетах с золотыми буквами на корешках.

С тех пор Зоя ко мне пришла намертво. Она подхватывала в классе каждое мое слово, улыбалась любой моей глупости и все время делала мне подарки, ненужные, но трогательные. Она прекрасно изучала мои вкусы, знала, что я увлекаюсь разными корешками, камнями, а ее отец привозил из экспедиции много всяких редкостей.

Дома у нее меня встречали радостно, и я все больше впадала в зависимость, выходящая то идти с ней на концерт, то в Дом ученых, то в гости к бесчисленным ее родственникам.

Рабству не видно было конца, ведь за три месяца я прочла всего полшкафа, а у ее отца в кабинете было пять книжных шкафов с редкими изданиями.

Наконец я решила сказать Зое, на чем строилась наша «дружба». Она посмотрела на меня влажными глазами и облизнула губы.

— Думаешь, я это не понимала?

— Тогда почему ты... — Я была отвратительна себе в эту минуту.

— Одной так скучно! Ты хоть ради книг меня терпела...

Ее являлы लोक и покорило опущенные уголки губ заставили меня почувствовать свою подлость особенно остро. И я покрывала душой:

— Это раньше я из-за книг, а теперь я привыкла к тебе...

Зоя недоверчиво улыбнулась.

— Я даже иногда скучаю без тебя... — сорвалось у меня.

Ее лицо порозовело, похоронело, а я паворачивала одну ложь на другую и думала, что суд совести — самое страшное мучение. Потому, что ужасно трудно делать больно тому, кто тебя любит.

Сочинение мне показалось таким ярким, что я после урока спросила, не мечтает ли Птицкина писать. Она жизнерадостно улыбнулась — по так, что я почему-то почувствовала себя младше ее — и сказала, что больше любит театр.

— Я всегда старалась задержаться в зале после окончания спектакля, когда девочки бегут в гардероб. Я люблю стоять в пустом зале...

Она наклонила голову и пропела:

Опущен занавес, и опустела сцена,
Но все-таки из зала не спешу.
Ты оглянись — вокруг все совершенно,
Сам воздух сказочен для любящей души...

Голос у нее был тенным, бархатным. Вдруг за нами раздался голос Лапшикова:

— Во дает! Точно Эдита Пьеха.

Я и не заметила, что он крутился рядом. Птицкина была настолько выше его роста, что за ней он слышал наш разговор, оставаясь совершенно невидимым.

— Вам что-нибудь нужно, Лапшиков? — спросила я.

— Вам приглашение...

Он положил передо мной картонный билет, тщательно разрисованный от руки всевозможными зелеными обаяниями.

— Куда приглашение?

— На наш ансамбль «Лемуры», вокально-инструментальный, в субботу вечером.

В дверь просунулась голова Курова, мальчика с томными серыми глазами, так извивавшегося на месте при ответе, что я сначала боялась, не болен ли святого Вита у него. Но Кира Викторовна, классный руководитель, мне сказала:

— Он у нас танпор и певец.

— Я буду щель для вас, — кокетливо заявил он, пытаясь закатить глаза, — приходите обязательно...

Птицкина посмеивалась, сутулясь, — она была самым тоненькая для своего роста и точно гналась от высты.

Лапшиков обомшел ее, внимательно разглядывая, а потом спросил:

— Не хочешь попытать счастья — спеть с нами? Она посмотрела на него сверху вниз, загадочно улыбаясь...

— Ты модная девочка, и голосок, кажется, радиоприемник...

Куров вошел и, картинно опираясь на плечи Лапшикова, попытался строить глазки Птицкиной, но на нее это не действовало, хотя многие девочки считали его неотразимым.

— Так как? В ансамбле нам нужны кадры...

Она снисходительно оглядела мальчиков и убила их одной фразой:

— Не люблю детский сад.

— Что? — У Лапшикова от неожиданности даже сослышался на переносе разноцветные глаза, а Куров перестал извиваться. Они стояли молча, пока она со мной договорилась, а потом двинулись за ней, как лунатики...

Я пришла на вечер в точно указанное время и поразилась тишине в зале. Сначала я думала, что там никого нет, но потом увидела, что пять первых рядов заняты мальчишками старших классов в черных костюмах. Они чинно сидели и ожидали концерта, хотя никого из учителей я не заметила, лишь по коридору прохаживалась Зоя Ивановна, директор школы, и порхали нарядные девочки, как всегда, стайками, как всегда, возбужденные и оттого болавыые. Зоя Ивановна увидела меня, поздоровалась и сказала:

— Вас пригласили? Это хорошо, онп мало кого приглашают из учителей.

— Но я вообще никого из учителей не вижу, — удивилась я, и она пояснила мне, что никого не обязывала приходить, чтобы не занимать у людей субботний вечер.

— И потом, когда разрешаешь ребятам самим все организовать, порядок обычно образцовый. Они этот свой ансамбль страстно любят и задирают носы, что в других школах такого нет.

— А кто с ними занимается?

— Никто. Там пять человек, два десятиклассника и три девятиклассника. Сами организовались, я только дала им деньги на усиление, когда что-то стало получаться, да Кира Викторовна разрешила пользоваться радиорубкой.

В коридоре появился незнакомый парень с веселым пьяноватым лицом. Зоя Ивановна нахмурилась.

— Марш отсюда! Я не разрешу начинать, пока ты здесь.

— Да, Зоя Ивановна, вы наша дорогая...

— Быстрее, быстрее, и не вздумай снова переодеваться, все равно узнаю...

Хихикая, покачиваясь, парень пошел по лестнице, а она сказала, что он уже третий свитер меняет, чтобы попасть в зал.

— Наш бывший ученик, ничего мальчишка, только пьет...

— И он вас слушается?

— Он у меня пять лет учился, попробовал бы не послушаться...

Она делала меня смотреть школьную газету, которую к этому дню сделали участники ансамбля. В газете было множество карикатур, изображающих злоключения музыкантов-обезьян, на мордочках которых были приклеены фотографии участников ансамбля. А в углу газеты девочка с длинной тощей фигурой, сморщив нос, отмахивалась от обезьянок с возгласом: «Уберечьте этот детский сад!»

лась, надеясь, что эта одаренная девочка обретет в конце концов свое призвание.

Когда десятиклассники писали сочинение по «Разгрому» Фадеева, Птицына выбрала тему «Мечты и действительность в жизни Мечика».

Ее сочинение было самым коротким в классе. «Разными путями пришли люди в отряд Левинсона. Мечика привели к партизанам мечты о героизме, о подвигах. О героических подвигах он только читал, он даже не подозревал, что они противопоказаны его натуре, что обычные люди — совсем не романтические герои в «одежде из порохового дыма», что его никто в отряде не примет за исключительную личность, что над ним будут подсмеиваться как над хлипиком интеллигентом. Он скопил так много долгов и невыполненных обещаний, что исполнение даже части из них не имело никакого значения. Мечик все больше отходил внутренне от партизан, не понимая их и не пытаясь понять, тихонько решил добровольно уйти от них. Но в последний момент он предает товарищей. Испугавшись белогвардейцев и понимая всю низость своего поступка, он даже думает о самоубийстве. Но он слишком любил свои руки... свои поступки, даже самые низкие из них.

Нельзя сделать себе жизнь по мечте, действительность всегда ломает все планы».

Последние строчки были подчеркнуты, точно Птицына хотела сказать что-то особое, важное, и я решила обязательно с ней поговорить. Но она в школу долго не приходила. Потом я заболела, и когда появилась на уроке, узнала, что Птицына исключена.

Я бросилась к Кире Викторшне и услышала такую историю.

Как-то после урока к ней подошла Птицына и завела «странный» по словам классной руководительницы, разговор. Почему, мол, некоторые учителя не делают различия между учениками? Ведь есть ребята с одним характером и наклонностями и есть совершенно иные. Люди друг на друга не похожи — кто более способен, кто менее, кому-то мал мир, втиснутый в объем школьной программы, а кто-то и такой объем не может осилить... «Я прямо рот раскрыла от удивления! — усмеянулась Кира Викторшна. — Много, — говорю, — на себя берете, Птицына. Прежде чем сделаться людьми разными, вам, дорогая, надо всем кое-чему научиться. Например, не задавать глупых вопросов!» Птицына как-то устало кивнула головой и отошла.

А потом... Потом она стала пропускать занятия, вешала трубку, когда ее матери звонила Кира Викторшна, и никто ничего не подозревал — ни учителя, ни ее родители, пока Кира Викторшна случайно не встретила мать Птицыной в парикмахерской и под фанею не начала расспрашивать о здоровье дочери.

Птицыну вызвали на педсовет, но она не явилась. Вместо нее к Зое Ивановне пришла ее мать и умолила отдать документы «по собственному желанию». Птицына устроилась работать секретаршей в проектный институт отца и поступила в вечернюю школу.

— Но как она объяснила матери свои прогулы? Кира Викторшна скривила губы.

— Видите ли, ей «было скучно!» А сама на тройку училась...

— Но если ей и правда было скучно?

— А чем мы виноваты? Мы же не можем на таких, как она, ориентироваться, сама знаешь...

Кира Викторшна не испытывала угрызений совести, а я весь день не могла отделаться от тоски. Все вспоминала разговоры с этой девочкой, пыталась по-

нять, что именно я проглядела, пропустила в текучке школьных будней!

Ветрова, староста класса, точно подслушала мои мысли, это с ней бывало, и после уроков подошла ко мне мрачная.

— До чего обидно! Такая девочка была...

— А какая? Особенная?

Она вздохнула.

— Стихи хорошо писала, читала их здорово... Но с нами ей было скучно... Пришла чужая и ушла чужая...

— Так чего же ты переживаешь?

— А может быть, это наша вина? Что мы сами остались ей чужими...

А позже Куров сказал:

— Отличная девочка была, не то что наши кубышки...

— Что же ты с ней не подружилась?

Он перестал изгибаться на секунду, и его слишком хорошенькое девичье лицо вдруг стало серьезнее и значительнее.

— А как? Я была для нее пустым местом, она меня не замечала, она сразу о людях мнение составляла и больше его не меняла. Как познакомилась с нашим ансамблем — все...

Серые глаза его сейчас были не томными, а по-



настоящему грустными. Парень чувствовал, что рядом прошло необычное существо, но их дороги так и не сошлись... Он был слишком прост, навнен для той девочки, о которой сейчас грустил. Ведь интересной внешностью Птицыну не пелнешь...

И вот теперь Куров, кажется, впервые задумался над тем, чего же ему не хватало, чтобы завоевать ее доверие...

Я больше никогда не встречалась с Птицыной, но я радовалась, что хоть ненадолго она появилась в нашем классе. Она оставила после себя странную щемящую память, эта «пропавшая» душа, выскользнувшая из обычного «педагогического процесса».

И я была уверена, что когда-нибудь, через много лет, эта девочка еще напомнит о себе: она слишком требовательно искала себя, слишком придирчиво вглядывалась в жизнь, чтобы память по течению.



Михаил
АХШОЛОВ

НОЧНАЯ РАБОТА

Рисунки
А. ЧЕРНОВА.

3 а последний месяц Руднев сильно устал. Приходилось много работать.

С начала февраля задули влажные западные ветры. Они несли частые снегопады и еще неясный запах весны. Обильные оттепели сменялись звонкими морозами. Деревья быстро обрастали льдом. В вечерние тихие часы было слышно, как трещат отжелевшие ветви, ломаются старые, подгнившие осины. Неделями не показывалось солнце, землю укрывала серая тень. Лишь снег был по-прежнему бел и свеж, но и тот недолго хранил нежную легкость, день ото дня оседал в тяжелые, вязкие пласты.

Толстые романы стало читать труднее. И часто вечерами Руднев сидел у окна, вглядываясь в плавные линии снежных холмов. Вольный пейзаж не волновал, не будил воображения, как весной, но и не умножал глухой зимней тоски. Странное у Руднева было состояние, необычное для него. Он жил сегодняшними, в основном спиюминутными ощущениями, то ли растворившись в окружающей его тишине, покое и размеренности службы, то ли усвоив их несущую, раньше загадочную для него суть.

Вот уже год, как Руднев не был дома, служил в этих лесах, столь далеких от его прежней жизни, и делал все то, что определялось его положением офицера, к чему обязывал долг. И его подопечные — солдаты и аппаратура, за боеготовность которой он отвечал, — все требовало времени и сил.

И все-таки иногда выпадали минуты, а то и часы, когда он оказывался без дел, наедине с собой, и тут уж ничего не оставалось, как думать о своей жизни, не слишком пока удачной, но заполненной людьми, с которыми ежедневно встречался, делами, которые удалось завершить, непреходящим ожиданием какой-то большой радости и — любовью... Любовью к ней, милой Светке, которая писала ему теперь письма. В Светке, может быть, и была причина того, что Руднев не мог до конца занять себя делом. Думалось о том, что она от него далеко, что живет в прежнем окружении, встречается с друзьями, ходит в гости, а его нет среди них, и разговоры там прежние, разве иногда кто спросит — давно ли были от него письма? И только.

Чем дальше он здесь жил, тем чаще вспоминал свой приезд сюда.

Задолго до защиты диплома, еще весной, стало известно: пятеро из группы призываются в армию. Среди пяти оказался Руднев.

Новых забот эта новость не прибавила и особых волнений не принесла. Да и мало кто тогда печался. Стояли теплые майские, бесшабашные дни, город хорошел на глазах, покрываясь нежной тополиной зеленью, близилось жаркое лето, множились надежды, связанные с медовым летним временем. Дни были заняты экзаменами, властвовало вечное студенческое воробьиное чувство — одолеть бы сессию! После чего мир опять покажется устойчивым и покоренным надолго. Этой весной — уж навсегда: последняя сессия... Кончалась дорога длинной в целых пять лет. И если раньше можно было не задумываться о быстротечности дней, то теперь для всех стало вдруг ясно: юность позади, уже совсем в прошлом семнадцатилетние мальчики и девочки, немного смешные с высоты теперешних двадцати двух лет, но оттого не менее близкие. «Юность позади» — звучало как



эхо, но сожалений не было. Еще не пришла пора воспоминаний. Все были молоды и нетерпеливы, полны желаний и жаждали нового. Все повчало, что жизнь каждого с этих пор пойдет по своему руслу, как-то по-особенному, удачно или нет, но уж точно — радельно.

Наиболее остро Руднев это почувствовал на распределении.

За длинным столом расположились члены комиссии — преподаватели и профессора, — хорошо знакомые, почти родные. Когда он вошел и присел в дальнем конце стола, декан факультета скорее всего пересказал, как он учился, назвал специальность и закончил фразой: «Руднев Алексей Михайлович призывается в Советскую Армию. Есть ли вопросы?» Вопросов ни у кого не было. Все закончилось настолько быстро, что Алексей даже обиделся. С другими ребятами члены комиссии разбирались по долгу, каждому предлагали на выбор работу, что-то советовали, некоторых уговаривали. Только их, будущих офицеров, не жаловали вниманием, хотя они толпились вместе со всеми в коридоре перед деканатом, спрашивали, у кого какое назначение, и за всех волновались. Как помнил Руднев, главным тогда было сожаление, что вот еще на два года продлится неопределенность в устройстве будущего...

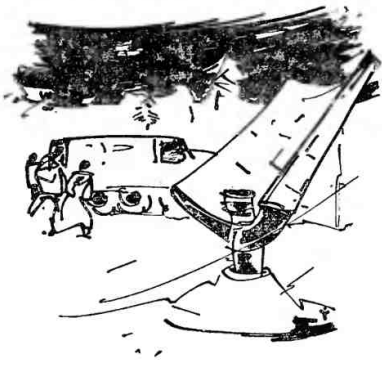
А когда наступила свободные от забот дни, унеслись прочь учебные дела, от близкой разлуки зацемяло сердце. Часто приходило чувство чего-то неотвратимого, сковывающего, тревожного. От этого чувства спасался он в путешествии в теплые края, в долгих шатаниях по Москве, в тихих, уютных, домашних вечерах. Но за всем этим крылось одно жадное, жестокое к самому себе желание: быстрее прожить последние дни в Москве.

Доктор стоял в глубине леса на вершине холма, открытой от чужих глаз вековыми сторожами — елями и соснами, словно приписанным к солдатичье царским еще укладом, — стоявшим недвижно и строго в своих несменяемых зеленых кафтанах. Медленно раскачивались старые ветви, всплывая крикливое воронье, подолгу потом кружившее над бескрайними черными лесами.

В поздний ночной час за Рудневым приехал посыльный. Он старался не шуметь, не будить соседей, шел на цыпочках, но окаменевшие на морозе подошвы начинали стучать еще у дверей. Руднев различал сквозь сон его шаги, но лежал с надеждой, что на этот раз приехали не за ним, и лишь когда слышал шепот: «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Авария!», — проснулся окончательно.

...Они недолго в этот раз ехали по бетонной, уже чистой от снега, отужоженной тяжелыми тягачами дороге. В который раз мелькнула знакомая странная мысль, вернее вопрос, на который он уже столько же отвечал — так ли необходимо это существование сотни здоровых мужчин в дремучему лесу и его предстоящая ночная работа? Необходимо. Руднев хорошо понимал, для чего он в этих краях. Понимал: вот уедет через год домой, а здесь непрерывно будет продолжаться воинский труд — день за днем, месяц за месяцем. Пока будет нужно Родине.

Думая об этом, Руднев незаметно поглядывал на шофера, осторожно ведущего машину. Его юное лицо с детскими, припухлыми губами было сосредоточено и спокойное. Вот так и проводила этот парень ночь — на колесах, в дороге. Спал солдат урывками, уставал за сутки, и днем не разговаривался — некогда.



В общедном молчании, усталости, терпении и оживании чувствовалось то общее, по сути единственное, что связывало их, чему они служили. Единственное, но важное, скорее всего — самое главное.

- Здравия желаю, товарищ лейтенант!
- Здравствуй, Ваня... Что? Плохи наши дела? — спросил Руднев у сержанта, стоявшего у входа в окоп.
- Мне ничего, я дежурю. Даже веселей так-то, когда народ кругом. Вас вот подняли не в срок...
- Матчасть как?
- Брыкается. Такая погода!
- Приключилось на нашу голову.
- Сделаем.
- Срок поджимает. Пока включились, пока неисправность обнаружили, за нами ездили... Посчитай! Осталось времени всего ничего. Через час облет станции... — и добавил, будто что-то решил: — Сделаем, конечно. Кому ж, кроме нас!

— Товарищ лейтенант, я тут один ползнул, посообщаю. Высокое напряжение вырублю. И насос не качает.

— Похоже, так. Я сейчас проверю, что там, а ты подготовь инструмент. Большов займется новым насосом. Вихарева отправь за документацией. Когда все будет готово, поднимайтесь в «скворечник». Хорошо отогрейтесь перед этим.

Руднев влез по металлической лестнице на крышу кабины. И уже оттуда забрался в контейнер, прикрепленный непосредственно к антеннам. Этот металлический ящик они и звали меж собой «скворечником».

Сейчас в нем было непривычно тихо. Мощные электродвигатели не работали. И оттого казалось странн и неуловимым все это сложное дорогостоящее устройство.

Причина действительно была в насосе. При включении сильным напором подмерзшей жидкости срубилась стальной вал — место среза неровным пятном чернело в электрическом свете.

Они работали сосредоточенно и молча. Говорить было некогда, да и понимали они друг друга без слов. На морозе стлали ноги, пальцы рук не слушались, лизали к металлу. И хотя спина была мокрая, промерзла все основательно.



— Спускайтесь вниз, товарищ лейтенант. Вы сюда раньше нас залезли. Мы-то еле терпим, а вам и того хуже.

— Да, мороз — что смерть. В самое нутро залезает. Всего обыскал. Да уж начали вместе — вместе и закончим, — отказывался Руднев, хотя пальцем на руках не чувствовал.

— Не сомневайтесь, — убеждал сержант. — Осталось всего-то болты закрепить.

Тинуло в тепло, голова отяжелела, Руднев решил: — Ну, ладно. Не маленькие, справитесь. Только не забудьте — елочать строго по порядку. Обогреватели пускайте оба, быстрее на режим выйдём. Как закончите, доклад мне.

Руднев спустился на землю и, не чувствуя под собой ног, побежал в укрытие.

В убежище было тепло и тихо, изредка пощелкивали силовые реле. «Вот тебе и счастье — обогреться, губы раздвинуть, а то слиплись». Он прислонился к стене и долго стоял без мыслей, «оттаивал», чувствуя сладкую боль в ногах.

— Как у вас дела, Руднев? — устало спросил командир.

— «Зедышала» cabina. Как говорят врачи, жить будет.

— Хорошо. У нас тоже все готово. Эх, переломная погода! Суставы ломит, а теперь без сна зубы сводит, — и улыбнулся. — Хотя вам, молодым, все ни почем...

Руднев не ответил. Он уже сидел на стуле, повернувшись к теплomu, ровно гудящему трансформатору. Командир взял микроскоп — над позицией неотчетливо, но громко раздавалось:

— Быть готовым к облету через десять минут. Отсчет по сигналу «пуск». Наблюдение непрерывное. Аппаратура в дежурном режиме.

Скомканные, будто плохо прожеванные слюба падали во тьму, где, казалось, некому было их ждать. Но десятки людей приступили к выполнению команд. Каждый из них был нужен, успех всей работы зависел в равной степени от каждого. Ошибиться было никому нельзя. Иначе нарушалась действия большого

коллектива, воздушная цель уходила от станции в красном белом росчерке, проступавшем на экране индикатора, — все испытывали боль и стыд за собственное бессилие. Молчание повисало в кабине, никаких слов виновному не говорили, от тишины тому становилось только хуже — чужому среди своих. Но так случалось очень-очень редко.

За сотни километров от станции на степных выжженных аэродромах тяжелые самолеты прогревали двигатели, готовясь к дальнейшему перелету. Именно эти цели должна была обнаружить станция и «вести» не один час, не выпуская их из своего невидимого пелена. Люди замерли на своих местах в напряженном ожидании, отстранившись от всего остального в своей жизни, словно были рождены только для этих минут. Лишь голос командира они различали в тишине будто остановившегося времени. Не угадывая собственного состояния, они испытывали чувство, хорошо известное всем солдатам, знакомое не по книгам, а по той особой готовности к действию, когда ждешь начала своего дела. Немало лет прошло после войны, чувство осталось тем же. Эти люди занимали какое-то небольшое и не главное место в грандиозной системе обороны страны, и делали они ничтожно мало по сравнению со всей армией, но успех, малый и большой, всегда определяется именно людьми, и поэтому каждый из них был охвачен неким торжеством, сознанием собственной важности.

Пора было вернуться и все проверить самому. Тепло не отпустило.

— Включить станцию, — неожиданно последовала команда, — Поиск!

— Нет вращения, — тихо доложил оператор. — Не проходит команда пуска.

Руднева бросило к двери. Одним прыжком он взлетел наверх.

— Привод! — кричал он. — Включить привод по азимуту!

Сержант метнулся под кабину и щелкнул тумблером. Тяжелая махина антенного поста словно проснулась, резко дернувшись к югу.

— Голову беречь, ниже держись! — старался пере-сказать вой приводов Руднев.

Но сержант уже выкатился из-под кабины и стоял рядом.

— Станция включена. Есть режим поиска! — посылалось по трансляции.

Бледный, Руднев выдал:

— Теперь мы не нужны. Наша машина без нас покрутится.

Молодой солдат Кривцов, служивший неполных полгода, испуганно поглядывал на лейтенанта.

— Запамитовал, товарищ лейтенант, — начал сержант Васильяк.

— Подожди. Спускайтесь вниз, Кривцов. Отогревайтесь.

Когда тот ушел, Руднев вновь повернулся к сержанту:

— Почему меня не позвали?

— Думали, сами справимся. Осечка вышла. Забыл, что выключали привод.

Сержант, конечно, переборщил, многое взял на себя. Но и под кабину кинулся первым. Есть хватка у парня. Может, все и обойдется, взыскание не вложат. Продолжать объяснение Руднев не хотел, положение они все-таки исправили.

— Ну, что? Покурим? — предложил он.

— Да, автоматика, — протянул Васильяк. — Без души, а живет, без ушей, а слышит.

— Что ты о ней загадками говоришь?

— А как о ней сказать? Разве разберешь, что там понапихано!

— Захочешь — разберешься. Вот вернешься домой, пойдешь учиться.

— У меня Маринка есть.

— Если Маринка, то и свадьба? Учиться, выходит, некогда?

— Хорошо бы, конечно! Но я уж и так пока техникум кончал, на родителях ездил. Теперь уже и неловко. Надо жить серьезно, сколько же в женихах ходить. Сначала свадьба, а там — дом ставить. Не соскучишься. Да и неинтересно мне с электроникой возиться — все маленькое, а сложное. Мне с машинами хорошо. Деталь как деталь, есть что в руки взять. А возьмешь — маслом, теплом пахнет. Пойду механиком работать.

— Да ты уже все решил... Видать, хороша у тебя Маринка.

Сержант заулыбался и смущенно выговорил:

— Мне — так нравится.

— Похвались. Фотография — то у тебя, наверное, есть?

Ваня достал из нагрудного кармана документы, бережно вынул обернутую в целлофан карточку. На обороте было написано: «Дарю тебе, Ваня, на добрую память. М.». На фотографии — красивая девушка.

— Хороша...

— Устал не видется. Тянет к ней. Особенно теперь, под конец службы.

— Через каких-нибудь полгода дома будешь. Осенью только и свадьбу играть...

— Дядев у меня много, все присыпят. Нам с Маринкой хлопот хватит...

Руднев попытался представить их будущую жизнь, которая теперь им кажется сложено-правильной, а может обернуться, как многие другие, скучной, тягостной, такой, что ее трудно терпеть. Но это не мешало ему чувствовать особый, добрый настрой этих минут покоя, своей близости к этому солдату, ничуть не удивительной. То, что они одолели ночную работу, было главным. И потому не хотелось думать о своих делах, устроены они или нет.

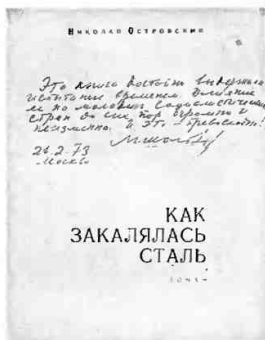
Так они сидели вдвоем, молчали, курили. Время тянулось по-ночному медленно. А далеко от них скоростные машины летели на восток, оставляя за собой пушистые белесые следы, медленно таявшие в небе.

Когда закончилась боевая работа, света не прибавилось, над головой по-прежнему висела лохматая темень, но ветер начал стихать, угадывалось скорое утро.

Офицеры и солдаты расселись в тесном холодном кузове, и «уазик» покатила в городок, фыркая мотором, словно гнояя морозную оторопь. Все сидели молча, уставшие и опустошенные, но крепко спящие сознанием хорошо сделанного дела. Скрылась за поворотом позиция. Но еще долго слышалось легкое жужжание электрических двигателей ожившей станции обнаружения.

Раздеваясь и привыкая к теплу, Руднев подумал: а не пора ли жениться? Ему хотелось внимания и заботы, теперь уже к себе. Руднев сожалел, что нет рядом с ним родного человека, но он понимал, что ничего от этого не изменится в его работе, в его службе, значение которой определяется даже не его возвышенными мыслями на этот счет, а просто его положением, его образованием и привычкой делать дело хорошо, а уж тем более то, которое ему здесь досталось, — не иначе, как на «отлично».

два автографа



КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

В ноябре 1935 года Николай Островский подарил Михаилу Шолохову свой роман «Как закалялась сталь» с автографом:

«Товарищу Мише Шолохову, моему любимому писателю. Крепко жму Ваши руки и желаю большой удачи в работе над четвертой книгой «Тихого Дона». Искренне хочу победы. Пусть вырастут и завладеют нашими сердцами казаки-богатырики. Развенчайте, лишите романтики тех своих героев, кто залил кровью рабочие степи тихого Дона.

С коммунистическим приветом

Н. Островский».

Судьба этой книги необычна. В июле 1942 года, когда у станции Вешенской шла бой, сотрудник дивизионной газеты Г. Гогоберидзе, возвращаясь с передовой в свою редакцию, укрывался от налета фашистских бомбардировщиков во дворе дома Шолохова. В дом попала бомба, погибла и вся библиотека Шолохова. Гогоберидзе спас лишь одну книгу — на титульном листе этой лежавшей на земле и полузасыпанной песком книги он прочитал: «Товарищу Мише Шолохову...»

Эта книга прошла по фронтам войны и закончила свой боевой путь на Дуняе. А по окончании Великой Отечественной войны она возвратилась к Михаилу Александровичу Шолохову.

В Москве, в мемориальном музее Николая Островского, где я работаю, сейчас представлено в экспозиции одно из последних изданий романа «Как закалялась сталь» с автографом Михаила Шолохова:

«Эта книга достойно выдержала испытание временем. Влияние ее на молодежь социалистических стран до сих пор огромно и неизменно. И это — превосходно!

М. Шолохов.

26.2.73. Москва.

З. ГАЙСАНЮК

В ЭТОМ ЯРОСТНОМ, ЯРОСТНОМ МИРЕ

Письма
моей
матери

Уважаемый товарищ главный редактор!

Посылаю Вам несколько писем моей мамы Лизы Гаврич, которые, возможно, заинтересуют Ваш журнал и его читателей. В них отбразена правдивая история жизни человека, всецело отдавшего себя борьбе против фашизма, за счастье людей и мир на земле.

Эти письма писались по моей просьбе в 1957—1958 годах за границей. Они не были предназначены для печати. Я долго не решалась привлечь к ним общественного внимания. Посылаю их вам после смерти мамы. Я хотела бы посвятить эти письма детям Ивановского интернационального детского дома, в котором выросла сама, и ивановским рабочим, построившим этот дом на свои добровольные взносы. В прошлом году в Иваново на два дня съехались воспитанники разных поколений. Это были чудесные минуты, вернее, часы. Встретились взрослые люди разных национальностей. Многие из них теперь живут и работают в своих странах, другие, как я, остались в Советском Союзе, который стал нам всем Родиной.

В настоящее время в этом доме живут и воспитываются другие ребята. Если раньше нашу дружную семью составляли дети немцев, итальянцев, китайцев, испанцев, югославы, болгар, румын, дети, вывезенные из оккупированной фашистами Прибалтики, русские ребята из блокадного Ленинграда, изможденные и опухшие от голода, то теперь в этом доме находятся дети чилийских, уругвайских, португальских революционеров, томлящихся в фашистских тюрьмах, дети африканских борцов. Настоящие границы проходят в ушах и сердцах людей независимо от национальных и таможенных барьеров. Поэтому, посылая в «Юность» эти письма, я знаю, что они могут быть полезны многим.

Буду рада, если Вы в журнале «Юность» найдете место для писем моей матери.

С уважением

И. М. ТАРАСОВА



Мое дитя!
Я обещала тебе рассказать о своей жизни. Ты сама просишь меня об этом, и я чувствую, что это действительно нужно сделать, потому что ты должна получить сведения о своей матери не из вторых и не из третьих рук, а от нее лично.

Трудная это задача — изложить на бумаге жизнь человека, как она в действительности у него складывалась, к каким поступкам и выводам привела.

...Вчера мне посчастливилось побывать на сольном концерте Давида Ойстраха. Я сидела совсем близко к сцене.

Ойстрах играл сонату Прокофьева, которую автор посвятил ему. Хочу признаться тебе, что лучшего, воодушевляющего в музыке я не знаю и никогда ранее не слышала. Прибавь к этому мое состояние, вызванное прочтением твоего письма, в котором ты — нет, не настаиваешь, — ты просишь, чтобы я рассказала тебе о своей жизни.

То было счастливое совпадение: эта музыка и твоя просьба...

Дорогое дитя! Хочу заранее предупредить, что мой рассказ о себе займет много времени и что не все в нем для тебя будет понятным. Если бы моя жизнь не содержала в себе ничего поучительного и важного для тебя, представляла бы собой всего лишь рядовой эпизод человеческого бытия, то я вряд ли осмелилась бы взяться за перо. Но тут возникает другая трудность: будет ли для тебя понятным то, о чем я напишу. Ты выросла и получила воспитание совсем в иной среде, чем твоя мать. У вас, советских людей, особенно у молодежи, иногда бытуют нелепые, книжные представления о капиталистическом мире, вы мало еще знаете, как сложно и тяжело приходится в нем жить и работать коммунистам.

Буржуазная пропаганда не жалеет слов и красок, чтобы в свете сегодняшнего дня представить вам этот мир как общество всеобщего благоденствия, демократии и свободы личности. Но все это ложь. Он мало изменился со времен войны. В нем заменены только вывески, а сущность осталась прежней. Моему поколению революционеров-интернационалистов, борцам против фашизма в годы гитлеровской тирании это особенно видно и понятно. Вот почему я хочу, чтобы ты отвелась к моим письмам с вниманием, постаралась вынести из них главное, а именно: каков он в действительности, этот капиталистический мир, и почему мы, коммунисты, боролась и всегда будем бороться против его пороков.

Итак, я приступаю к тому, о чем ты меня просишь.

Для взрослого человека нет более простой вещи, чем сообщить место и дату своего рождения. Простые, казалось бы, сведения, но каждый из нас проносит их через всю свою жизнь как некую историческую ценность. Я не делала для себя исключения из общего правила и поэтому тоже хочу начать с этого.

Родилась я в Вене 31 июля 1907 года в семье президента железных дорог габсбургской Австрии. Тебе важно будет знать, кто были мои родители, так как без знакомства с ними ты вряд ли поймешь среду, из которой я вышла и против которой потом вынуждена была вести долгую и бескомпромиссную борьбу, сделав ее смыслом всей моей жизни.



Лиза Гаврич.

Так вот. Мой отец происходил из семьи австрийского фабриканта, который во время буржуазной революции 1848 года выступал против монархиста Меттерниха за конституцию. Я мало что могу сообщить тебе о своем деде. Знаю только, что по тем временам он считался довольно состоятельным человеком, имел фабрику и шесть больших каменных домов, был женат на балерине дворцового оперного театра, но рано овдовел, и это обстоятельство серьезно сказалось на воспитании его детей — у него было три сына, и все они, лишенные женской ласки и внимания, выросли черствыми, замкнутыми людьми.

Характерно в этом смысле отношение отца к нам, своим детям. Он не ведал иных форм и методов общения с нами, кроме тех, что испытал и сам. В его присутствии мы могли разговаривать только в том случае, если нас о чем-то спрашивали. Собственного мнения у детей не могло быть — нас постоянно учили к мысли, что мы дармоеды и как таковые должны только повиноваться и исполнять то, что требуют от нас взрослые.

Не могу не вспомнить наши занятия с отцом по математике и латыни. Дело в том, что именно в этих науках, как потом выяснилось, он сам далеко не преуспел. Но было самообразование. Точнее сказать, он оспаривал и в этом верен принципу, по которому мы

должны были подчиняться не логике разума, а слепой вере в авторитет старшего. Он был нетерпим к возмражениям и всегда перед нами подчеркивал: «Я хозяин дома. Как вы можете со мной не соглашаться!»

Кажется, уже тогда во мне зародился протест против любых форм насилия над личностью, и побудителем его был наш отец.

Совсем другим человеком была наша мама. Родом она была из Хорватии и отличалась нежной, жизне-радостной душой. Работала учительницей в школе для бедных детей. Нам она прививала любовь к театру, к возвышающему, любила устраивать маленькие праздники, на которых раздавала подарки. Она учила нас: «Прежде подумайте о других, потом о себе. Нельзя дарить то, что вам самим не нужно. Дарите то, что и вы хотели бы иметь».

Отец и мать не соответствовали друг другу, и поэтому каждый день в доме происходили ссоры.

1 августа 1914 года грянула мировая война, в огне которой рухнула Габсбургская монархия. Жизнь в семье коренным образом переменялась.

Отец разыгрывал патриота, мать и мы осуждали его за фразерство, высказывали симпатию к славянам, ведавшим освободительную войну. Потом пришло известие об Октябрьской революции в России. В Вене началось выступление рабочих. Положение в семье еще больше обострилось. Отец в открытую теперь высказывался за контрреволюцию. Однажды во время обеда он сообщил: «Саава богу, Карл Либкнехт и Роза Люксембург мертвы».

В Австрии царил хаос. Инфляция привела хозяйство страны к полной разрухе. Расчеты велись только в миллионах, товары за один час так дорожали, что за ценами невозможно было утяться. Безумствовали спекулянты. Буржуазная мораль распадалась. Этот общественный разлад сделал меня уже в 13 лет зрелой. Я читала Достоевского и Горького, размышляла о событиях в мире, искала настоящую жизнь, настоящих людей. Среди буржуазии я не находила их, с рабочими я еще не сблизилась.

Как-то сестры взяли меня на митинг в защиту Китая. Тут я впервые увидела молодых социалистов: они были такими дружными, свободными!

Я стала заходить к ним домой. Начала читать философские произведения, интересоваться экспрессионистской живописью. Я еще не понимала тогда, что все происходящее со мной было характерно для большей части буржуазной молодежи, искавшей выхода из душевного кризиса. Но где он, этот выход, как найти его?..

Собственный дом стал тяготить меня. И это предопределило мое решение: тайком, почти без денег, в плохой одежде я покинула Вену. Родителям сообщила письмом, что никогда больше к ним не вернусь. Дорога вела меня в Париж.

В сердце жила смутная надежда на лучшее.

Письмо 2

Мое дорогое дитя!
...Празднование юбилея Интернациональных бригад в Белграде было большим событием. Два дня мы с товарищами вновь жили в атмосфере республиканской Испании. Дух праздника был как никогда интернациональным и пролетарским. Приехало много иностранных делегаций. Все участники испанских событий получили ордена. К сожалению, радость была омрачена активизацией фашизма в мире. Снова грозит война. Эта обстановка меня очень угнетает.

Да, дитя мое, моя жизнь не была радостной, но она была интенсивной и наполненной действием. Это прекрасно, потому что такая наполненность приносила мне ощущение счастья. Только тот, кто многое в жизни пережил, извлекает из нее многое и по-настоящему любит ее.

Крепко, крепко целую.

Продолжаю начатое описание моей жизни.

..Итак, Париж. Была осень. Я сняла на неделю маленькую комнату и не хотела думать о том, что со мной будет, когда кончатся деньги. Ощущение полной свободы не покидало меня. Но в конце концов настал и такой день — я оказалась без крова. Чтобы согреться и скоротать время, я стала ходить в библиотеку святой Женевиевы, где было тепло и можно было читать книги. Как-то ко мне подсел три молодых человека. Обратил мое внимание один из них — плохо одетый, небритый, но с умными, проницательными глазами. Милан Гарич. Он понравился мне трезвостью своих взглядов, отрицанием буржуазной действительности. Позже признался, что состоит в коммунистической партии. Однокашниковое положение, в котором мы находились, вызвало обоюдную симпатию. Он стал моим мужем и твоим отцом. Париж не баловал нас своим вниманием. Жить с каждым днем становилось все труднее. Не было работы. Чтобы не умереть с голоду, мы с Миланом вынуждены были ходить в столовую при студенческой библиотеке, где не надо было платить за хлеб. Положение несколько выправилось, когда знакомым румынским девушкам удалось устроить меня на обувную фабрику, где трудились рабочие из многих стран. Впервые я жила среди настоящих людей. Они помогли мне овладеть профессией, поддерживали морально и материально. Большим влиянием здесь пользовались политические эмигранты. И хотя я еще очень мало знала о коммунистах, я чувствовала, что именно среди них я начинаю обретать в себе уверенность и четкость целей.

Милан много старался объяснить мне. Постоянно рассказывал о Марксе, Ленине, о социализме. Под его воздействием я все больше избавлялась от мелкобуржуазных взглядов на жизнь, научилась защищаться, когда на меня кричал мастер. Милан в то время с великой страстью работал день и ночь над изучением марксизма. Мне хотелось пожертвовать всем, чтобы помочь ему, быть с ним рядом.

Родилась ты...

Ты родилась в Дьешпе, городке на морском берегу в Нормандии. Когда я выносила тебя из больницы, мне пришлось быстро проскочить мимо приемной, потому что не было денег, чтобы заплатить за содержание в родильном доме. Твоей первой кроваткой был чемодан. Став матерью, я еще больше возненавидела богатых женщин, чьи дети с боннами выезжали на прогулку в красивых колясках.

Чтобы прокормиться, пришлось взять домашнюю работу: складывать рекламные проспекты по тысяче штук в день. Квартирой служила нам маленькая комнатка в центре Парижа, прозванная кем-то из товарищей «кибиткой скоморохов». В ней часто останавливались друзья твоего отца — югославские товарищи. Иногда они спали прямо на полу, зачастую у них не было документов. Я узнала о самостоятельности коммунистов, живущих на нелегальном положении.

Милан предложил переехать к его родителям в город Узулу в Боснии. Тебе было всего один год. В этом городе его избрали секретарем нелегальной коммунистической организации. Начался период подпольной партийной работы. На нашей квартире проходила собрания, печатались листовки, которые по-

том распространялись по фабрикам и шахтам Боснии. Я стала связанной партией. Ездил в Австрию и привозила из Венской подпольной организации в Югославию материалы и деньги.

Так продолжалось два года.

Но однажды вечером я вдруг услышала лай собак во дворе. Раздался голос Милана: «Вы должны немного подождать, моя жена кушает». Это был сигнал: пришла полиция. В огонь полетели бумаги и документы. Пока полицейские агенты взломали дверь, с этим было покончено. Тогда жандармы принялись искать спрятанную пишущую машинку. Досталось и тебе: они подняли тебя с постели и перерыли ее вверх тормашками. Но тишью. И все же Милана арестовали, увел связанным в полицейский участок. Вслед за ним было арестовано еще 200 человек. А неделю спустя пришла и за мной. Не могу без грусти вспоминать и тебя в тот день. Ты бежала за мной и кричала: «Передай привет Милану!» Все происходящее казалось тебе очень веселым.

Заключенные содержались в нечеловеческих условиях. Следствие длилось 10 месяцев. Потом нас повезли в наручниках на суд в Белград. Милан говорил: «Это наше свадебное путешествие». Проводить нас, несмотря на запрет, пришло все население города. На станции была и ты с бабушкой и протянула своим родителям букетик фиалок.

Что было потом? Был суд над коммунистами. Отцу дали четыре года тюремного заключения, а меня освободили, но потребовали, чтобы я покинула страну.

Но прежде все же удалось добиться разрешения посетить Милана в заключении.

Холодным январским днем вместе с тобой мы долго томилась в приемной тюрьмы в Сремской Митровице. Ты сиделась и все время кричала: «Хочу видеть отца!» Наконец нас вызвали. Как гоголевский призрак, появилась фигура директора тюрьмы. «Вашего мужа здесь нет»,—произнес он с гримасой. «Он мертв?» «Нет, четыре дня тому назад он отправлен в Белград, в больницу». Дитя мое! Я была близка к отчаянию. Я громко плакала, кричала.

Первым поездом поехали в Белград. На вокзале полиция обыскала наши чемоданы. Наконец больница. Ввел Милана, он выглядел страшно — не человек, а палка, на которой висит одежда.

...Тебе было три года. Нас ожидало изгнание...

Письмо 3

Дорогое мое дитя! Я готова продолжить рассказ о своей жизни.

...Мы ехали в Вену. После пережитого горя я, кажется, окаменела. Поселились мы в родительском доме. Твой дед был внимателен и снисходителен ко всему, что с нами произошло. Годы сделали свое дело: политика его больше не интересовала.

В Вене в это время было подавлено героическое восстание австрийских рабочих 12 февраля 1934 года. Партия в подполье. Коммунистов бросали в концлагеря. Я быстро включилась в работу, выполняла задания югославских и австрийских товарищей. Часто, выходя на задания, я брала и тебя с собой — так было надо для конспирации. Но вместе с этим появлялись и проблемы в твоём воспитании...

В доступной для твоего возраста форме я старалась рассказать тебе об Октябрьской революции, о Ленине. Мне хотелось, чтобы ты покаяла, за что



Инга Терасова.

борется твоя мать. Ведь каждый день меня могла арестовать полиция.

Между тем партия решила, что мне надо переехать в Париж. В это время там был образован Народный фронт, и представлялось больше возможностей для политической деятельности. Снова встал вопрос о тебе — на кого можно тебе оставить, кто о тебе позаботится в случае моего ареста.

Дитя мое! С тех пор, как ты родилась, у меня стало две жизни, два тела, два сердца. Расстаться с тобой казалось невозможным. Я смотрела на мир своими и твоими глазами, любила людей, которые любили тебя. Ты стала моим вторым я. Ради тебя, именно ради тебя должна была я бороться за коммунизм, без компромисса, до конца.

Нет, ни на кого я не могла оставить тебя, в Париж мы поехали вместе.

Это был Париж Народного фронта. Реакция сдала ведущие позиции, и тон в городе задавали рабочие массы. На улицах, в метро пели «Интернационал», молодежь ходила по бульварам с красными флагами. Каждый день организовывались митинги. Всем политическим эмигрантам было предоставлено убежище, они пользовались одинаковыми правами с французами. В день 14 июля, национального праздника Франции, трудовой Париж прошел маршем по четырем бульварам к Бастилии. На крышах, деревьях и фонарях висели ленты. Ты тоже шла со всеми в колонне. Вечером на улицах танцевал народ.

Также торжества тебе очень нравились. Жить нам было трудно. Мы редко бывали вместе. Днем я работала бойной в богатой французской семье, а ты находилась у мадам Трике, славной женщины. Поймешь ли ты, как тяжело мне было ухаживать за чужим ребенком, в то время, как свой жил без моего присмотра... Вечерами я уходила на выполнение заданий Французской компартии. Видела тебя только ночью (еще и теперь ощущаю твои руки на моей шее). А утром снова работа.

Помнишь ли ты добрую Ханну из Бюро для детей эмигрантов, пославшую тебя на несколько месяцев в Швейцарию, в семью, которая согласилась в порядке благотворительности взять тебя на некоторое время? Многое я пережила в те дни.

...От партии поступила директива: мне пройти подготовку на курсах медсестер с последующим отправкой в сражающуюся Испанию. Целую неделю я ходила, как неживая. Я не хотела расставаться с тобой, не хотела огорчать тебя и обманывать. Но совесть моя твердила: «Именно ради своего ребенка ты и должна поехать в Испанию! Если каждая мать будет думать только о своих детях, никогда не будет победы над фашизмом». Мое решение ускорило обращением Романа Роллана ко всем передовым людям мира, он призывал их спасти детей Испании.

Как можно было не откликнуться на это. Мой выбор окончательно определился. Но я никогда не забывала о тебе, тем более что югославские товарищи поощляли мне отправить тебя в Советский Союз. Это было лучше, о чем я только могла мечтать.

Что было потом?

Перед отъездом я купила тебе детский зонтик с собачьей головкой вместо ручки и написала тебе длинное письмо, которое тебе должна была прочесть Ханна, когда ты вернешься из Швейцарии. Все друзья были мобилизованы, чтобы встретить тебя на вокзале. (Позже, в 1939 году, они рассказывали, как это было.)

Наши дороги разошлись. Но ты была спасена. Я и сейчас сгораю от одной мысли, представив себе, что могло бы с тобой произойти, окажись ты впоследствии, как это случилось со мной, под властью Гитлера. Ты была спасена!

Письмо 4

Дитя мое! Теперь я расскажу тебе о самом прекрасном в моей жизни. К сожалению, слова покажутся бледными по сравнению с тем, что было в действительности. Прекрасное началось в Париже и связано оно с Испанией. Французский народ горел желанием помочь испанским рабочим разгромить Франко и его генералов. Во всех рабочих кварталах Парижа открылись бюро для добровольцев, осаждаемые длинной очередью людей. В послеобеденные часы парижское метро выбрасывало бесчисленные человеческие массы, спешившие на митинги в защиту Испании. На улицах люди выкрикивали лозунги: «Денег для Испании окровавленной, для Испании борющейся!»

Однажды на зимнем велодроме выступала Пасио-наррия¹. С двух часов до вечера все ближайшие улицы были полны народа. Высокая, гордая, красивая женщина вошла на трибуну, и в честь ее в зале разразилась буря оваций. Никогда не забуду эту женщину. Она говорила на испанском языке, и все же ее понимали все. Эта женщина была как пламя.

Во Францию стекались добровольцы из всех стран мира: рабочие и беспартийные, художники и поэты, коммунисты и некоммунисты, беложки и черные. Эти люди понимали друг друга с полуслова, были счастливы, что им представлялась возможность открыто сражаться за свободу.

Потом был Марсель. Ночью нашу группу медицинских сестер тайно погрузили на испанский пароход, и через пару дней мы уже были в Барселоне. Встречающие на пристани приветствовали нас пенсмен «Интернационала» и вскринутыми над головой скажками в кулак руками — символом рабочей солидарности.

До центра Интернациональных бригад поезд шел только ночью, чтобы не подвергаться бомбардировкам со стороны немецких и итальянских самолетов, и все же население знало о нас. На каждом полустанке нас встречали с цветами и апелльсинами, матери поднимали своих детей, чтобы они могли увидеть добровольцев. Такое торжество не выпадало на долю ни одного короля.

Госпитали интербригад располагались в Мурсии, на юге Испании. Работа в них была тяжелой. Все время прибывали транспорты с тяжелоранеными.

В моей палате лежали люди разных национальностей. Утром, когда я входила в помещение со словами «Привет всем!», мне отвечали на тридцати языках.

На первых порах мне приходилось трудно, в особенности когда меня назначили старшей сестрой. Я не была профессиональным медицинским работником, знаний, полученных на практических курсах, явно было недостаточно. Однако не сидеть же сложа руки, особенно когда знаешь, что некоторые из врачей заподозрены в связях с фашистами. Каких бед мог наделать один такой человек. Я сблизилась с испанскими девушками-уборщицами, мыла с ними полы и окна, стала жить как они. Профашистские врачи потешались надо мною, говорили: «Прекрасная у нас старшая сестра! Горничная!» Но я победила. С помощью девушек мне удалось спасти многие жизни. Это был хороший для меня урок.

Дитя мое! В детстве и молодости я мало смеялась. В Испании же вопреки бомбам, голоду, нужде прошел мой самые счастливые годы. Там я не испытывала одиночества. Люди были необыкновенно хороши и чисты. Служение правому делу возвысило их в собственных глазах, вселило уверенность в действиях, и нет ничего удивительного в том, что многие из них сделали настоящими героями, выросли до политических вождей, крупных военачальников, ученых, художников.

Ты знаешь, что война в Испании нами была проиграна. Истекающие кровью республиканцы тянулись на север страны, чтобы через Пиренеи перейти во Францию. Паники не было...

Не забуду, как мы переправляли транспорт раненых через реку Эбро. Фашисты хотели взорвать мост, открывавший нам дорогу в Каталонию. Поезд шел медленно, часто останавливался, веревы у всех были напряжены до предела. И вдруг раздался мягкий голос, затанцовавший негритянскую песню «Поведай мой народ». Ее пел негр — политический комиссар. Рядом рвались бомбы, визала смерть, но никто даже не пошевелился, боясь прервать пещца. Наш состав благополучно перебрался на Другой берег Эбро.

И еще один эпизод. Мы проезжали город Тортосу, превращенный фашистами в груду развалин. И вот среди этого мертвого царства появляются испанский рабочий и, презирая опасность, указывает нам правильное направление движения. Он стоял как символ побежденной, но не сдавшейся Испании.

Между тем фашизм наступал уже повсюду. Во Францию было покинуто с Народным фронтом. Горжестовала реакция. Нас, интербригадцев, встретили как врагов. Стоя февраль. И нас загнали за колючую проволоку, в концлагерь.

Свобода пришел конец. снова начиналась жизнь, полная одиночества, опасностей и нужды.

Дорогая дочка!

...Я должна рассказать тебе о моем Сиднее. Много лет прошло с тех пор, целая жизнь, но воспоминания о той поре живут во мне всегда, как вечная весна. Он был американец, хирург, я познакомилась с ним в Испании.

¹ Долорес Иоваррури.

Сидней рассказывал мне, что в Америке у него было хорошее место врача, но много зарабатывал, но жизнь казалась ему пустой и отратительной. Когда вспыхнула гражданская война в Испании, он добровольно вызвался помочь республиканцам. Сидней был великолепным специалистом своего дела. Вначале мы работали с ним в одном госпитале, наши отношения носили сердечный, уважительный характер. Я многому старалась научиться у него.

Но вот однажды, накануне Нового года, он прислал мне приглашение к праздничному чаю. Я пришла. Все было, как всегда. Мы много говорили о нашей работе, товарищах. Было весело и непринужденно. Когда я простилась, вслед за мной вышел политкомиссар, хороший друг Сиднея. Он сказал: «Лиза, ты разве не чувствуешь, что Сидней тебя любит?» Я опешила. Не помню, что я ему ответила, но домой я шла, как во сне. Самым страшным в этой истории было то, что и я испытывала к Сиднею чувства, о которых только что сообщил мне его товарищ.

Впервые увидав Сиднея, я сказала себе: «Лиза, этот человек создан для тебя». В проявлении чувств я всегда была очень осторожна. Но это была любовь с первого взгляда. Я влюбилась и делала все, чтобы скрыть любовь. Работа в госпитале с его приходом стала вдруг удивительно легкой. Но мог ли он меня полюбить? Я твердила себе: «Лиза, это счастье не для тебя, ты очерствела. побывав в тюрьмах, испытала нужду, голод».

...Много позже Сидней сам пришел ко мне. Оставаясь стоять у дверей, он вдруг сказал совсем тихо: «Лиза, я люблю вас». И больше ничего. Не последовало никаких красивых фраз, никаких пылких действий.

Мы никогда не говорили ни о нашем прошлом, ни о нашем будущем. Наша жизнь всецело принадлежала Испании. Что случится со страной, то будет и с нами. Так оно и произошло. Интербригады должны были покинуть ее. Первыми уехали те, кто мог вернуться к себе на родину: звезды, американцы, французы, англичане. Нам же, профессиональным революционерам, нужно было еще подыскать страну, которая бы нас приняла.

Так наступил час прощания. Был хороший весенний день: голубое небо, блестящее море. Сидя в автомобиле, Сидней поднял руку с сжатым кулаком — в знак прощания. Я сделала то же — и это было все.

Мы оставались. Нам предстояло еще долго идти под бомбами, унося в своих сердцах боль и ненависть. Мы были последними солдатами республиканской Испании.

Сидней ждал меня в Париже. Партия поручила мне новое задание. Он возвращался в Америку. И вот вновь восемь дней счастья.

Париж был прекрасен, как никогда. Каждый дом, каждая грязная улица казались чудом. Мы бродили по городу, сидели в маленьких кафе и говорили без умолку. Но пришло расставание.

Мы пришли на вокзал, в буфете выпили кофе. Я смотрела на большие часы: стрелки двигались медленно, но ползли вперед. Еще 10 минут. Сидней вошел в вагон, поднял руку со сжатым кулаком. Я ему ответила тем же, повернулась и пошла прочь. Я не хотела видеть, как тронется поезд, ни разу не обернувшись. Мы даже не поцеловались.

За спиной раздался стук колес. И вдруг сердце сделалось тяжелым. Я почувствовала себя старой, некрасивой, усталой. Блестящий Париж стал вдруг серым и неряшливым.

Во время войны Сидней был в американской армии в Италии. Он разискал меня и написал, что ему

хочется со мною увидеться. Я послала ему свое согласие, но ответа не получила. Вероятно, американские власти преследовали после войны коммунистов и не пропускали их письма.

Вот, дитя мое, и все о Сиднее.

Письмо 5

Когда я ехала в Париж, я мысленно спрашивала себя: «Кто сошел с ума — люди в поезде или я?» В вагоне сидели разукрашенные, напоминающие женщины, они были милы и красивы, болтали о пустяках, а мне еще слышались рев фашистских самолетов, взрывы бомб, перед глазами стояли искаженные люди.

Париж изменил свое лицо. В нем не было и следа времени Народного фронта. Снова мы под неусыпным присмотром властей. Ночью в дверь стучат кулаки: «Откройте! Ваши документы!» На улице: «Ваши документы?» В поисках работы: «Ваши документы!» А документы свидетельствуют о том, что мы участники испанских событий. Надо каждый день являться в полицию и добиваться разрешения еще на 24 часа продлить пребывание в стране. По ночам проводятся аресты испанских борцов, их отправляют в концлагеря. Сас становится все меньше и меньше. Лишь редким счастливым удается уехать в Советский Союз.

Дошла очередь и до меня. Полицейский чиновник объявил: «Вас высылают из Парижа». Он подвел меня к карте Франции и сказал с притворной улыбкой: «Выбирайте себе новое место в нашей прекрасной стране. Большие города, пограничные зоны, притоны и побережье, стратегические пункты для вас запрещены».

Пришлось задуматься. Как молния, блеснула мысль: «Поеду в Арль, туда, где Винцент Ван Гог создал на утешение миру столько прекрасных картин». Я назвала город Арль, маленький красивый городок со старинными римскими постройками, амфитеатром, палаатами. В нем много итальянцев, покинувших родину в поисках заработка.

Бродя по узким улицам города, я спрашивала себя: «Как я буду здесь жить?» Вдруг мужской голос окликнул: «Лиза!» Я увидела Торичелли — в Мурсии он лежал в моей палате, и там ему ампутировали ногу. Торичелли рассказал, что в городе много бывших испанцев, он же вел меня в коллектив итальянских антифашистов. Среди товарищей я вновь почувствовала себя уверенной, готовой к действию. Нашлась и работа. Вначале подавальщицей в ресторане, а потом швейей у дочери старого анархиста, который почти всю свою жизнь находился в тюрьмах.

Но политическая обстановка накалялась. Немецкий фашизм начал войну с Францией. Меня арестовали и направили в концлагерь Гюрс в Пиренеях, куда сажали участников гражданской войны в Испании, а также немцев и австрийцев.

В лагере было 10 тысяч женщин из Германии, Австрии, Польши, Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии. Но большую часть составляли еврейские женщины, бежавшие от нацизма. Многие из них были из состоятельных буржуазных семей или из интеллигенции. На проволоке вокруг бараков висели их меховые шубы, дорогие шелковые белье. Их глядели, как бездомных собак, по Европе, но они в силу своей классовой ограниченности ничего не понимали.

Совсем по-иному вели себя испанские борцы. Летчики республиканской авиации, гордые офицеры народной армии, основали в лагере Гюрс свои группы. Перед их глазами стоял Пиреней, горы их родины. Они боролись за право жить.

Вести с воли были неутешительными: Гитлер маршировал по городам и селам Франции. Предательство генералов привело к быстрому разгрому французской армии и оккупации Парижа. В панике бежали люди на юг, ища спасения от неминуемой гибели.

Все в лагере знали, что немцы придут и сюда. И это случилось. Однажды ночью, лежа на земле в бараке, мы услышали грохот грузовиков и танков, быстро приближающихся в нашу сторону. Мы поняли, что это немцы преследуют колонны французских беженцев. Как всегда в таких случаях бывает, узники начали строить планы спасения, вплоть до бегства в Африку. То были смешные планы. На следующее утро ворота лагеря были настежь открыты, и перед французским стражем, не державшим на этот раз в руках палку для собак, предстал офицер-эсэсовец. Не человек, а кусок холодного железа, стальной нож. Его глаза, типичные для национал-социалиста, ковали, как иглою. Кровь застыла в моих жилах: никогда я не видела таких жестоких, ужасных глаз на лице человека. В этот миг я поняла, что меня ожидает...

Письмо 6

Мое дорогое, дорогое дитя! Как твое здоровье? Желтуха — продолжительная болезнь и требует правильного питания. Есть ли у тебя возможность соблюдать диету?..

Ты спрашиваешь, почему я неожиданно прервала свое жизнеописание. Пережитое во времена Гитлера настолько ужасно, а мне так не хочется тебя обременять этими воспоминаниями. Да и самой тяжело ворошить прошлое.

Но, несмотря на все это, решилась все-таки рассказать тебе и об этом периоде жизни. Любые воспоминания смягаются действительностью. Поэтому многое в моем рассказе будет выглядеть менее трагично, чем было на самом деле.

Так вот, слушай!

После разделения Франции на две части — с притворством в Виши и оккупированную немцами, — мне удалось вернуться в Арль и снова стать швейей у итальянской подруги. По заданию Австрийской коммунистической партии я должна была скоро выехать на родину, чтобы там продолжить политическую деятельность.

И вот я вновь в своем любимом Париже. Но как он изменился! Уже на вокзале встретили меня холодные, резкие слова немецкой команды. Не слышна была мягкая французская речь. Всюду царил страшный прусский порядок. Только тот, кто знал Францию, любил ее, мог понять, какие тяжелые времена для нее настали. Парижане голодали, выставляли длинные очереди за хлебом. Вместо гордого трехцветного флага повсюду висели флаги с фашистской свастики, символом варварства и убийств. Глаза французов были полны страха и ненависти. На улицах, в метро часто устраивались облавы, немцы искали оружие и листовки. Каждое утро они обклеивали стены домов желтыми плакатами, в которых был один и тот же текст:

«Командатура приказывает. За немецкого солдата, убитого французом, расстрелять 150 заложников». Расстреливали в первую очередь коммунистов, их детей, родственников.

Но народ сломить нельзя. В ответ на репрессии гитлеровцев в стране широко развернулось движение Сопротивления, в котором участвовали все честные люди. Взлетали на воздух военные поезда, уничтожались фашистские солдаты и офицеры, не прекращалась расклейка листовок.

В Париже я быстро восстановила связь с австрийскими коммунистами и была направлена ими в наш комитет при движении Сопротивления.

Что он собой представлял? Костяк его составляли политэмигранты-антифашисты, владевшие немецким языком, которые вели агитацию против войны в войсках вермахта. Нам также издавалась подпольная газета «Союз на Западе», которую мы распространяли вместе с листовками в казармах. Добывали и прятали оружие, динамит для партизан.

Мы старались разяснить немецким солдатам, что война Гитлером будет проиграна, призывали помогать нам, давать ценную информацию, перевозить нелегальный материал в Германию и Австрию. Больше всего для таких заданий подходили женщины. Но это была страшная работа! Лично я занималась ею два года. Мы подходили к немецким солдатам, улыбаясь им, старались обратить на себя их внимание. Мы были осторожны. Полагались только на свой политический и человеческий инстинкт, когда надо было быстро и наверняка оценить человека. Одним мы сразу вручали конверт с листовками, а других только постепенно склоняли на свою сторону, убеждали их в бесперспективности войны.

Тысячи людей прошли через наши руки за это время. Нам удалось создать солдатские комитеты в оккупационных войсках и с их помощью распространять листовки, получать оружие. Через эти комитеты нам удалось восстановить связь с Германией и Австрией. Это была большая победа! Вначале я ходила «на охоту». Но в дальнейшем на меня возложили организационную часть этой работы, а это было еще труднее. Нужно было распределять задания между товарищами на основании их рассказов о солдатах. В случае моих ошибочных решений наши агитаторы могли попасть в руки гестапо, и я была бы виновной в их гибели. Ежедневно я выходила из дому со свертком нелегальных листовок, спрятанных на животе. Их нужно было раздать нашим женщинам. Сначала я, понятно, боялась провала, но потом свыклась с обстановкой настолько, что вообще забыла о страхе. Даже во время облавы. У нас существовала строжайшая конспирация, жили мы отдельно друг от друга, встречались только на работе. Формально я числилась преподавателем немецкого языка в школе.

Произошел такой случай.

Утром меня разбудили громкие голоса в прихожей отеля, где я снимала комнату. Послышался стук в дверь. Немцы! В комнате у меня находился мешок с нелегальным материалом. Что с ним делать? Представь себе, в такую минуту я становилась совершенно спокойной. Взяла и открыла дверь. Передо мной стояла французская полиция: «Ваши документы. Пройдите!» Во дворе находился автомобиль, набитый молодыми девушками. Когда я его увидела, у меня от сердца сразу же отлегло: проводилась облава на проституток. В полицейском участке, куда нас доставили, я предъявила документы, что работаем в школе, и меня выпустили. Но сам факт моего ареста был неприятен. В комитете решили срочно «перелосцировать» меня. Я получила фальшивый паспорт на имя Марии-Луизы Беранже, жительницы Эльзас-Лотарингии, и переехала в другую часть Парижа. Отныне с Лизой Гаврич было «покончено». Я Мария-Луиза Беранже.

Шел 1943 год. Партия поручила мне и моим товарищам перебраться в Вену для продолжения подпольной деятельности. Было рекомендовано осуществить выезд через биржу труда. Пришлось разыграть комедию: у меня в Вене жених, и я хочу поехать к нему. В вагоне я ехала с разным отребьем: шпионами, фашистами, уголовниками. Кто был иной

Ита Тарасова с отцом
Миланом Гавричем накануне
его ареста. Снимок сделан
в городе Тузла (Югославия)
в 1931 году.



согласился добровольно ехать на работу в Германию?

В Австрии я увидела любимые горы с их снежными вершинами, вдыхала чистый воздух, вспоминалось детство, но это была уже не та Австрия, всю страну окутала коричневая паутина. Я почувствовала себя чужой в ней.

Письмо 7

Дорогая девочка!
Сегодня, 3 мая, в почтовом ящике нашла от тебя два письма и открытку. На улице дождь. Тоскливо. Но твои письма!.. Они как рукой сняли всю мою грусть.

Как я горжусь тобой!

А теперь продолжай свой рассказ.

Слушай!

...Перед Южным вокзалом завербованных ожидали грузовики. Нас посадили в них и отправили в лагерь для иностранных рабочих. Я находилась среди всякого сброда, проезжая через родную Вену. Знакомые улицы, дома, площади... Я вернулась домой? Нет, не домой. Надо мной висела опасность быть узницей.

Нас привезли в лагерь. Гестаповец прокричал: «Свиньи, проститутки!» В лагерь были согнаны люди со всего света — с Украины, из Польши, Югославии, — смешение языков, судеб, характеров. Утром нас построили. Мы стояли, как рабы, ожидая прихода хозяев. Рабочих набирали для военной промышленности, для горных и опасных работ. Мне предстояло трудиться в Венском арсенале. Ходить по нему мы могли только в сопровождении полицейского или солдата. Бараки были полны грязи. Мною овладела мысль: «Здесь оставаться нельзя, нужно вырваться».

Зная sentimentalность жителей Вены, я решила сыграть на ней. На утро попросилась в канцелярию управления. Там сидел старый австрийский чиновник. Гестаповец не было. Я расплакалась и на ломаном немецком языке обратилась к ним: «Посмотрите на меня, дорогие господа! Я из хорошей семьи, и я не могу жить в обществе проституток. У нас военный завод, а я боюсь бомб. Прошу вас, гос-

пода, переведите меня куда-нибудь!» Сквозь слезы я наблюдала за тем, как действует на них моя истерика. Один чиновник снял телефонную трубку, сказал кому-то: «Здесь женщина из Эльзас-Лотарингии, неплохо говорит по-немецки и выглядит порядочной. Пошлите ее к вам». Куда?! Чиновник пояснил коллегам: «Буфетчику нужна прислуга, мы пошлем ее к нему». Победа! Победа!

Так я стала прислугой у эсэсовца, которого знала и боялась вся округа. Свой буфет он содержал в гостинице, где каждый вечер собирались немцы. Мое положение было тяжелым и опасным. Хозяин отличался подозрительностью, все видел, все замечал, постоянно задавал каверзные вопросы. Но это было еще полбеды. Ведь я получила задание от партии наладить связь с товарищами, а времени на его выполнение у меня не было, так как я не имела права отлучаться из дому.

Возник новый план. У меня обострился абсцесс на шее. Сказав об этом хозяину, я получила разрешение сходить на биржу труда к врачу для консультации. Дело дошло до анекдота. Доктор, к которому я пришла, оказался очень дружелюбным (австрийцы не могли простить немцам оккупации и делали все возможное, чтобы им отомстить. Особенно это стало заметным с 1943 года, после поражения фашистов под Сталинградом). Он вызвался помочь Луизе Беранже вернуться назад во Францию. Тогда мне пришлось осторожно ему объяснить, что у меня здесь жених, которого я не желаю оставлять, но вот если бы он дал мне справку, что работа домашней прислуги мне не по силам, то я была бы ему очень благодарна. Доктор был добр до конца и перевел меня на легкую работу на фабрику по изготовлению кожаных сумок.

Я попала в маленькую мастерскую, где шили портмоне. Среди рабочих немало было тех, кто раньше состоял в социал-демократической партии, но теперь они об этом старались помалкивать.

Надо было начинать налаживать связи.

В ту пору мы часто мечтали о будущем. Московское радио сообщало о наступлении Красной Армии; мы представляли себе освобождаемую от нацизма Австрию, строящую социализм. Жили как в лихорадке. Запомнила такой разговор. Это было в мае

1944 года. Франц, товарищ моей подружки, мечтал вслух: «Когда построим социализм, я первый раз в жизни закажу себе костюм в ателье, так надоело носить одежду с чужого плеча! Все должно быть сделано точно по мерке». (Франц был рабочим, после военных боев 1934 года эмигрировал в СССР, участвовал в строительстве Магнитогорска. Позже он работал нелегально в Австрии, был вынужден убежать от полиции во Францию через Альпы. Во Франции он попал в лагерь, откуда тоже бежал. Франц всегда был голоден и плохо одет. Он не дождался до осуществления своей мечты. В Дахау его погубила.)

Осторожно затрагивала я политические вопросы в беседах со старыми социал-демократами. Постепенно мы начали пролипать: доверием друг к другу, восстанавливая связи с другими рабочими. К этому времени нас было уже 200 австрийских коммунистов, вернувшихся из Франции и начавших здесь агитационную работу.

Но вскоре пришла конопь.

Меня вызвали в канцелярию, сообщив, что там меня ожидает два господина. Душа моя замерла. Как в лихорадке, я приказывала себе: «Будь сильной, будь сильной». Надо идти.

«Кто вы?» — был первый вопрос, который задал мне гестаповец.

«Я Мария-Луиза Беранже из Элизаса».

«Врете! Вы вернувшаяся эмигрантка. Следуйте за нами», — приказали они.

Находясь в помещении люди, услышав все, испуганно согнули головы. Я сказала им: «До свидания!» И двое рабочих мужественно ответили мне: «До свидания!» Это придало мне силы. (В 1945 году я побывала на этой фабрике и встретила с этими рабочими.)

Дитя мое! Трудно описать, что я тогда перечувствовала. Но это было только одно желание: быть мужественной, быть верной партии, никого не выдать. Меня отправили в полицейскую тюрьму. Толчок в спину — и тяжелая дверь с треском за мной хлопнула. Все кончилось. Отсюда никто не выходил живым...

Письмо 8

В камере были железная кровать, деревянный стол, два стула и унитаз. Высоко под потолком маленькое окошко с решеткой, единственный источник света. В тяжелой деревянной двери — глазок, для надзирателя.

Я стояла посередине камеры и думала: «Да, это копец». Но, обуздав нервы, приказала себе: «Пока живешь — живи!»

Первое, чем я занялась, — начала отыскивать следы людей. И стены многое рассказали мне.

Дитя мое! Какие стихотворения, какие слова были нацарапаны на холодных, белых камнях! Такие трудные создать поэтам.

Я почувствовала, что камера населена обнаженными человеческими душами.

Мой слух стал настолько тонким, что я уже вскоре могла распознавать, в каком душевном состоянии находился человек, прошедший по коридору, чувствовала ли он страх, был ли он силен, расширяла ли лобные шоры, научилась угадывать по звуку, какой автомобиль увозил узников на допрос.

Кто был в тюрьмах, тот знает, в каком темноте живет человек. В памяти всплывает всякая забытая мелочь из детства. Многие пересматриваются, душа очищается от паносного, ненужного. И вдруг вооб-

раженно переносит тебя в будущее. Ты видишь себя с любимыми людьми, строишь палаты. Появляется вера в себя, убеждение, что не умрешь. Это порождает жизнь, желание продолжать ее. Но возвращается логика. Она неумолима: «Ты в руках гестапо. Они никогда тебя не выпустят отсюда живой. Не надейся в на то, что тебя сможет освободить Красная Армия. Прежде, чем она войдет в Вену, тебя, как и других коммунистов, фашисты постараются уничтожить. Они сделают это из чувства мести за свое поражение, из чувства ненависти к нам, коммунистам».

В своей камере на стене я нашла таблицу, с помощью которой можно было стуком переговариваться с соседями. Вновь я была среди своих людей. Никто не может убить в человеке человека, если он сам не допустит этого.

Заработал канал тюремной морзянки. Я быстро узнала, что справа от меня сидят Эгон, что его вернула назад из госпиталя, куда он попал после допроса, перерезав себе вены. Другой сосед (тоже товарищ по работе в Париже) стуком сообщал, что надо остерегаться того-то и того-то, которые являются шпионами гестапо. Узники информировали друг друга всевозможными способами. По утрам в умывальне можно было найти какой-нибудь знак на стене, который мог помочь на допросе. На миске с супом можно было прочесть какое-либо сообщение.

Ужаснее всего были моменты, когда ушп различал звук подъехавшего автомобиля. Кого-то поведут на допрос — кого? Ноги делались ватными, тело начинало дрожать, боль воцарялась в твое сердце. Все было сосредоточено на одной мысли: будь крепкой!

Дитя мое! Мое дорогое дитя! Каждый раз, когда меня увозили, я обращалась мысленно к тебе, чтобы ты дала мне силы выстоять! Я знала, перед допросом тело должно быть слабым, и поэтому не принимала пищу в это время. Любую боль можно выдерживать. Но есть боль особого рода. Это когда ты знаешь, что в рядах партии есть изменники, предатели. Мой арест произошел по следующим обстоятельствам.

Австрийские гестаповцы, обеспокоенные успехами нашей деятельности во Франции и Бельгии, послали в Париж своих людей. Некоторое время их агенты следили за одним из наших товарищей, подослали к нему девушку, которая «слушайки» с ним познакомилась. Глупый парень влюбился, забыв предосторожность. Гестапо узнало дом, где были спрятаны нелегальные материалы. Через некоторое время сюда прибыла связная из Лиона, привезла очередную партию литературы. Ее арестовали и допросили. Женщина оказалась слабой, она сообщила свой адрес, по которому тут же был произведен обыск и обнаружен список 200 австрийских коммунистов, вернувшихся на родину для нелегальной работы...

Письмо 9

Несколько людей повидала я, находясь в заключении!

Наротив моей камеры сидел старый генерал Кернер. При Габсбургах он был военным, в 1924 году стал социал-демократом. 12 февраля 1934 года, когда фашистские орудия стали бить по домам рабочих, он возглавил отряды рабочей республиканской охраны. Высокого роста, крепкого телосложения, храбрый и гуманный человек, он стал любимцем рабочих Вены. Впоследствии ему удалось

спастись. В 1945 году он был избран городским главой Вены, а в 1951 году стал президентом Австрии.

В другой камере находился барон Мозер. Видный адвокат, коллекционер старины. За него ходатайствовали непрестанно перед гестапо буржуазные демократы.

Еще дальше сидели две женщины: одна из них блестящая швеица. Дочь богатого торговца, вторая — молодая работница из семьи коммунистов. Муж этой работницы перешел на сторону Красной Армии и позже вернулся на нелегальную работу. Его предали. Арестовали всю семью.

Недалеко от меня томился мой товарищ Густав. Я знала его еще по Парижу. Рабочий парень, застенчивый, как девушка, он оставался всегда идеалистом и мечтателем. У него было плохо с одеждой. Я помогла ему приобрести голубой костюм. Он сказал: «Лиза, это первый костюм в моей жизни». Костюм ему очень шел. Но каким ужасным показался мне Густав в этом костюме, когда во время моего допроса гестаповцы ввели его и он опознал меня. Это был его первый костюм — и он же оказался у него последним: в Дахау Густав расстреляли.

И еще две истории, врезавшиеся в мою память.

В тюрьме находилась моя старая знакомая Тони. Впервые я встретилась с ней и ее товарищем Францем в концлагере на юге Франции. Прекрасно помню, как это было. Ливя проливной дождь. Бель лагерь был в напряженном состоянии. Приближались немцы.

И вот в этой суматохе под косыми струями воды стоял посередине лагеря два человека в объятиях друг у друга. «Как, должно быть, эти люди любят друг друга», — подумала я.

Позже, вернувшись в Арль, я встретила Тони, она пригласила меня в старый деревенский дом, где нашам уютный товарищи. Дом был просторным, более чем скромная обстановка: два мешка с солодой, печка и стол, сколоченный Францем из досок. Возле печки постоянно сидела Тони и держала дверцу, которая то и дело выпадала, — она варила для всех нас пищу.

В этом пустом доме мы читали нелегальную литературу, изучали историю большевистской партии, ночью спорили до одурения.

Тони и Франц очень любили друг друга. После войны, в 1945 году я должна была первой сказать ей, что Франц мертв. Это было страшно. В Париже, на аэродроме, выскочил из самолета, Тони первым делом спросила: «Что с Францем?» «Он погиб». Она повернулась, побежала, не вымолвив ни одного слова. Я привела ее почтять к себе. Тони ничем не вспоминала, не плакала. Но вся жизнь в ней замерла. И такой она осталась навсегда.

...Тюрьма была переполнена арестованными. Каждый день прибавляли новых. Тут были и коммунисты и функционеры социал-демократической партии, старые австрийские офицеры, были офицеры вермахта, принимавшие участие в покушении на Гитлера 20 июля 1944 года, христианские социалисты, забастовщики нелегально, и некоторые из тех национал-социалистов, которые перед концом войны решили спасти свои головы.

Оказалась в ней и Манци — венгерская аристократка, певица Большой оперы. Ей было около пятидесяти лет, но она была еще красива.

Однажды утром надсмотрщик приказал мне перебраться в другую камеру. Войдя туда, я изумилась:

Сидя в камере были книги, коробки, пласты. Это была камера Манци. Актриса многое рассказала о себе, о своей жизни, не говорила только, из-за чего была

арестована. Это мы друг от друга скрывали. Пресыщенная жизнь высшего общества накушала Манци, и она стала искать что-то настоящее, человеческое.

Незавидная судьба постигла ее мужа. Он был верен национал-социализму, служил военным аташе в Турции, но в последний момент вступил в связь с американцами и англичанами. Гитлеровцы такого не прощали. Он был арестован и переправлен в Берлин.

Рассказы Манци помогли мне уяснить, почему разные люди становились фашистами. Одни потому, что, растерявшись в хаосе буржуазной демократии, кризисе культуры, потеряли устойчивость и почувствовали себя бессильными. Другие, как упоющие за соломинку, ухватились за мечту о режиме «твердой власти». Третьи потому, что поверили демоногам о «чистоте расы», о «сверхчеловеке», о победе над «дегенерацией», мечтая о «народном единстве». И еще были те, кто хотел властвовать.

С Манци я много беседовала о демократии, о гуманизме, но никогда не говорила о коммунизме: она не принимала его, боялась. Посылки, которые ей передавали из дому, Манци делала со мной. Значительная часть содержимого этих посылок передавалась другим заключенным — коммунистам.

Через месяц Манци покинула тюрьму. Она детально объяснила мне, как можно добраться до их охотничьего замка, и, уходя, сказала: «Лиза, есан у вас будет возможность бежать или есан вы когонибудь пришлете, — я всех спрячу у себя...».

Таковы люди.

Письмо 10

Войну Гитлер проиграл. Это стало ясно всем. Конспиративное общение заключенных друг с другом не прекратилось целыми днями. Ходила масса противоречивых слухов вплоть до того, что Красная Армия уже находится в Вене.

Ночью во дворе раздался голос, зашептал фашистскую песню «Идем на Англию». Тюрьму охватило ликование. Все повалило, что открыл 2-й фронт, англичане и американцы высадились во Франции. Мы знали, что правительства этих стран затягивали его открытие, чтобы русские как можно дольше истекали кровью в схватке с Гитлером. И если уж они вынуждены были это сделать, то это означало, что Красная Армия победоносно приближается к Германии, а англичане и американцы спешат присоединиться к их наступлению, чтобы разделить лавры победы над фашизмом.

Надежды заключенных росли и росли, хотя зарывающая логика подсказывала: фашисты не оставят в живых никого из нас, они устроят нам «варфоломеевскую ночь».

Союзнические самолеты днем и ночью бомбили Вену. От взрывов содрогались стены тюрьмы.

Неожиданно нам сообщили, что судебный процесс над нами переносится на послевоенное время, а до тех пор нас переводят в Германию, в концлагерь.

Под впечатлением событий мы даже обрадовались этому сообщению, поверили, что спасены от смерти.

На самом деле гестапо послало нас прямо в лагерь смерти. Без суда и следствия.

Многие женщины в банке, струдялись женщины всех национальностей.

В темноте слышатся крики, адресованные узникам мужчинам, которые находятся за стеной в соседнем помещении:

«Кто из вас останется в живых, пусть отыщет моего сына. У него на правую руку большая родинка!» «Я люблю тебя. Будь мужественным!»

«Не забывай меня никогда, но живи своей жизнью, если я больше не вернусь!»

«Передай привет моим родным!..»

Одна за другой летели в темную ночь просьбы, последние пожелания, прощения, наказания быть сильным и храбрым. Многие, у кого не было в тюрьме мужа или жены, все равно кричали о своих желанных, уверявшие в том, что кто-нибудь их услышит и запомнит.

Рано утром на грузовиках нас увезли в Ральм. Вена спокойно спала, пока колонна автомобилей проходила по ее улицам. Мещане ворочались в своих теплых кроватях, они старались закрыть глаза на то, что происходило.

Письмо 11

Дорогая моя! Сейчас я расскажу тебе о самом страшном в моей жизни. Оно настолько фантастически ужасно, что я и до сих пор не могу представить себе, как это я пережила.

Трудно писать об аде, но я обязана сделать это, потому что и сегодня есть силы, которые пытаются свергнуть человечество в новую войну. Вы, молодые люди, должны знать о прошлом, чтобы защищать сегодняшний мир.

Итак, начинаю.

...Полицейские заталкивали нас в вагоны, в которых уже нигде было даже стоять. Никто не знал, куда нас везут и что нас ожидает впереди, мы не могли бы даже додуматься, до каких «научных» методов убийства людей могут дойти нацисты в своей ярости перед грядущим возмездием.

Характерный пример. В период оккупации Парижа нам в руки попала французская листовка, в которой было помещено письмо заключенного из Освенцима (лагерь смерти в Польше). Он сообщал, что в этом лагере смерти миллионы людей уничтожаются в газовых камерах, а их прах идет на мыловарни.

Нас было трое, опытных коммунистов, но даже мы не поверили написанному. «Это ложная пропаганда», — сказали мы, — Гитлер нуждается в рабочей силе для военной промышленности и он не станет превращать людей в мыло».

Как мы были наивны!

Все, о чем человек не в состоянии даже подумать без содрогания, при Гитлере стало действительно... Об этом люди не должны никогда забывать!

...Ехали мы по ночам. Женщины молчали, никто не разговаривал друг с другом. Напротив меня стояла молодая девушка, глаза которой были полны страха. Я отдала ей свой хлеб, и когда фашисты на какой-то железнодорожной станции стали ее высаживать, она вдруг взглянула на меня прямо и открыто. Это были другие глаза, глаза, полные отчаяния и гордости в одно и то же время. Ее руки сделали быстрое движение вокруг шеи, что означало: «Меня повесят...» И тут же эта рука поднялась вверх в революционном приветствии: все это длилось не более секунды, без слов. Это было прощание человека-борца.

В Праге нас погрузили в автомобиль и отправили в центральную тюрьму Панкрац. Лабиринт коридоров, железные двери, решетки. У стен — ряды заключенных, лицом к стене. Гестаповец подает команду — колонна движется. Снова команда — колонна оста-

навливается. Глаза глядят, глаза приветствуют. Царит мертвая тишина, только голос гестаповца, открывавшего и закрывавшего железные клетки, отзывается в высоте. Женщины привели в большое помещение, в котором можно было лечь на каменный пол.

Рано утром пробуждается жизнь в коридорах с железными решетками. Полцейский и два тюремных смотрителя начинают разносить пищу. Как роботы, они отмирают шаг от одной двери к другой. Тук — дверь камеры открывается. Тук — кусок хлеба влетает внутрь. Тук — дверь снова закрывается. Тук-тук, тук-тук — темп мертвецов. Тук-тук — это холодные глаза гитлеровцев. Висельцы, Расстрелы. Но за каждой дверью, открывавшейся с этим ужасным стуком, живет надежда.

Мы знаем, Красная Армия наступает и говорит ищущую орду. Но в домах смерти фашистского режима царствует еще прежний темп. Тук-тук. Механизм функционирует, машина работает исправно, как в кошмарном сне, уничтожая жизни людей.

Эта земля полна голода и полна хлеба.

Эта земля полна жизни и полна смерти.

Бесконечна в бедности и богатстве.

Эта земля ярко полыхает красотой.

И будущее ее прекрасно и величественно!

Это написал 26-летний австрийский поэт Зойфер, погибший в Дахау.

Письмо 12

Нас привезли в Лейпциг. Что стало с Германией! Развалины домов тянутся к небу, словно порванное кружево; выбитые окна на глядят пустыми глазами; по улицам волочатся усталые люди с серыми лицами.

Смерть, которую фашизм нес Другим, наступила теперь и Германии. Смерть и страх. Гитлеровская пропаганда запугивала народ, трубила о том, что «коммунистические орды» сошли молодое немецкое население в Сибирь и там уничтожат, что немцы понесут ответственность перед историей. На этом страхе вновь сыграл Гитлер, выдвинув сумасбродную идею формирования добровольческих отрядов для обороны руин.

Я попала работать в исправительный дом для немецкой молодежи, должна была чистить овощи.

В огромном помещении прачечной стояли котлы с кипящим бельем. Их обслуживали бледные, изнуренные девушки. Все они попали сюда за мелкие провинности: одна отлучилась с работы, другая что-то взяла без разрешения из еды, и вот теперь их перевоспитывают национал-социалистическими методами.

При Гитлере в германских школах допускалось телесное наказание. Методы воспитания убеждением считались «еврейской дегенерацией», воспитание в духе гуманизма — «декадентской». Молодежь должна была расти по-солдатски, так же, как и во времена императора Фридриха: с помощью палки, голода, унижений.

Дозуны: «Слепое повиновение» и «Фюрер, приказ — мы следуем за тобой» вошли в педагогику нацизма.

В исправительном доме толстые надсмотрщицы с палками в руках следили за работой девушек, и если кто-то из них не мог выдержать темпа работы, палка нещадно хлестала по худенькому телу. Проходя мимо нас, девушки смотрели на репу и моркови голодными глазами. Некоторые, забыв об осторожно-

На фото (слева направо): Лиза Гаврич, Инга Тарасова и Гертруда Векман-Карафиат (сестра Лизы) — актриса Берлинского драматического театра, писательница, участница антифашистского движения с 1924 года. Снимок сделан в горах Словении в 1937 году.



сти, подходили ближе, хватали репу, словно это был деликатес. Из-за гнилой репы они рисковали быть избитыми, голодать, целую ночь простоять у стены. Можешь себе представить, что передумаю и почувствовала я, чистая эту проклятую репу. Если национал-социалисты так поступают со своей молодежью, провинившейся перед ними из-за пустяков, то что они могут сделать с нами, коммунистами?

Но на что способны они, я вскоре увидела в лагере Равенсбрюк, в 40 километрах от Берлина.

Под проливным дождем колонны женщин выгуливали из поезда. Мы буквально валялись с ног. Единственным желанием было где-нибудь присесть, лечь. Ни о чем другом не думалось. Показались ворота лагеря. Яркие прожекторы освещали высокие решетки и часовые.

Одна за другой входили женщины в открытые ворота, и у каждой появлялась мысль: «Эта пустота пожирает меня. Отсюда я никогда не выберусь». И лишь одно желание — сесть. Сесть? Какая иллюзия! Колонну загнали в конуру, внутри которой дождевая вода доходила до колен. Там мы простояли целую вечность в ожидании утра. Первое, что мы увидели при свете, — это трупы, которые выносили на носилках. Мертвецы были все одинаковые: голые скелеты с желтой вытнутой шеей, на лицах видны только бока глаза, как стеклянные шары, и широко развернутые рты. Среди них не было ни молодых, ни старых. Были только исхудавшие скелеты с развернутыми ртами.

Что делалось здесь, в лагере, если люди превращались в скелеты?

Что творилось в Равенсбрюке и во всех остальных лагерях смерти третьего рейха?

Письмо 13

Мое Дорогое Дитя! Не стану описывать тебе зверских преступлений нацистов. Ты о них, конечно, много слышала, знаешь, о том, что нацисты превращали концлагеря в опытные лаборатории для военной хирургии и экспериментов над человеческой психикой. Ты, конечно, знаешь, что тво-

рившееся в лагерях было специфическими методами политики нацизма, наспая буржуазии.

Я хочу рассказать о людях, о их слабостях и силе их духа. В лагере я столкнулась с поразительными вещами. Чем делеее и безумнее выглядело событие, тем больше находилось людей, веривших ему. Люди терли себя. В Освенциме, например, перед печам крематория в очереди спокойно стояли женщины, и когда одна из них крикнула: «Спасайтесь, вас ведут сжигать!» — остальные ответили: «Ты что, тоже веришь английской пропаганде?» Нечто подобное рассказала мне полячка, доктор из блока № 7 в Равенсбрюке. «Что мне делать?» — говорила она. — Управляющий лагерем дал приказ до завтрашнего дня выбрать 50 женщин из моего блока. Каждому известно, что это для газовой печи, а женщины приходят недовольные, протестуют, почему у их фамилий не вставила в список для поездки в «дом отдыха».

Фашизм создавал целую систему безумных связей, и только немногие видели их насквозь, могли противопоставить им волю и знания. В первую очередь это относилось к людям, вооруженным марксистской идеологией. И эти знания, убежденность творили в лагере чудеса. Немецкие товарищи в течение 12 лет питались только водой с репой и кусочком хлеба, но они остались в живых; женщины-коммунистки, которые были пригнаны пешком из Освенцима в Равенсбрюк, простояли 2 дня и 2 ночи в январе под открытым небом и не погибли. Товарищ Тони, например, выдержала это, несмотря на то, что была больна тифом и температура доходила у нее до 40°.

Чудеса творятся лишь тогда, когда человек желает не только жить, но и знает, во имя чего он должен жить.

Человек — загадка. Он был для меня самым потрясающим открытием здесь. Я увидела его таким, каким никогда не предполагала увидеть. Вот об этом я и попытаюсь тебе сейчас рассказать.

...Была зима. Глубокий снег лежал на дорожках между бараками. Должны были привезти новую партию узников. Миттлера и я пошла в барак канцелярия. В снегу лежала женщина без сознания. Мы подняли ее и стали приводить в чувство. Она тихо про-

шпента: «Но я же 30 лет содержала шляпный магазин».

...Рашель, норвежка, жена немецкого коммуниста, тоже узника концлагеря, находилась уже 5 лет в аду Равенсбрюка, работала в канцелярии. Однажды она пришла ко мне и показала черное байковое платье, расшитое бисером. Она взяла его на складе. Я спросила: «Но, Рашель, зачем тебе это платье?» Она ответила совершенно спокойно: «Когда, наконец, наступит праздник, я буду в нем танцевать». Это говорил человек, знавший о том, что эсэсовцы намереваются взорвать лагерь раньше, чем Красная Армия успеет его освободить.

...В лагерь привезли венгерских евреек из Будапешта. Те, кто принадлежал к буржуазным кругам, приехал в меховых шубах, шелковым бельем и с драгоценностями, спрятанными повсюду. Я тихо спросила: «Зачем вы приехали, почему не спрятались? Ведь Будапешт освободила Красная Армия». Ответ был: «Немцы обещали нам, что спасут нас от русских, и сказали, чтобы мы взяли с собой все драгоценности». Через месяц их отравили в газовые печи.

...Автомобиль с газом (душегубка) остановился перед блоком 7. Эсэсовцы не глядя заключенных в него. Одна за другой узницы сами спокойно шли к автомобилю и садились. Машина двинулась и через 20 минут вновь вернулась. Опять повторилась та же картина. Ни одна из женщин не крикнула, не схватила фашиста за горло, не попыталась спастись. Они знали, что идут на смерть, но их воля была парализована, хотя эти же самые женщины ссорились между собой, если кусок хлеба у одной был меньше, чем у другой...

И все-таки, дитя мое, настоящие люди могут творить чудеса героизма, они сильнее СС, они непобедимы. Расскажу тебе о нашей маленькой Митцлер. Она родилась в рабочей семье, потеряла в детстве мать и осталась с отцом-пьяницей. С раннего детства она страдала искривлением позвоночника, три года пролежала в больнице в гипсе. Эта Митцлер — социал-демократка, стала настоящей героиней.

...Управление концлагеря прислало старосте барака приказ отобрать трех австрийских женщин «на рапорт». Это означало смертный приговор. Митцлер организовала спасение трех товарищиц. Они были спрятаны в соломенные тюфяки. Во всех бараках был обыск, но женщин так и не нашли. Следующей ночью Митцлер вместе с заключенной югославкой-врачом при свете лучины вывела с рук этих женщин номера, вытатуированные в Освенциме, а затем помогла им с фальшивыми документами покинуть лагерь. Их отравили на один из военных заводов. Все трое живы и по сей день, одна из них Тони.

Митцлер спасла и меня. Когда в апреле 1945 года Красная Армия подходила все ближе к Берлину, управление лагеря решило всех заключенных, фамилии которых в списках были обозначены кружком (что означало — на расстрел), поместить в отдельный барак и уничтожить. Митцлер знала, что и на моей карточке находится кружок. Нелегальная партийная организация приняла решение попытаться отправить меня с транспортом Красного Креста в Швецию под видом французкини.

Суть дела тут вот в чем. Еще до завершения войны некоторые английские круги начали через немецкий генералитет зондировать почву о создании в

Германии правительства без Гитлера. В качестве первой меры немцы должны были освободить из лагерей заключения лиц, подданных Норвегии, а позже Франции и Польши.

Митцлер удалось включить меня во французский список под именем Луизы Десме. Не забуду нашего прощания. Лиля дождалась. Я закутала лицо и прошла через контроль эсэсовок. Митцлер стояла поблизости, и пока нас не вывели из лагеря, она ни на минуту не оставляла меня одну.

Таких примеров много.

Масштаб, дитя мое, для всех один: человек. Нет настоящего коммуниста, если он не является настоящим, чистым человеком. Рано или поздно разогласия между теорией и практикой, сознанием и чувством у одних и недостатком характера у других обязательно выступят наружу.

Об этом ты должна всегда помнить

Письмо 14

В этом письме я хочу рассказать тебе подробнее о самом лагере. Жили мы в нем, как в переполненном тюфяке. Своего имени больше не имели, у каждого из нас был лишь номер.

Наши платья, мыло, зубные щетки, фотографии любимых людей — все было отобрано и уничтожено.

Взвзема дава лохмотья и пару деревянных башмаков.

Как вновь прибывших нас месяц держали в особом блоке, пока тюремщики определяли судьбу каждого из нас. Большинство отсылали на подземные военные заводы или рудники. В лагере существовала нелегальная партийная организация, которая в период этой «фильтрации» тоже изучала нас, предпринимала меры, чтобы спасти как можно больше людей, если для этого представится хотя бы малейшая возможность.

Баракы были оборудованы 3-этажными деревянными нарами, на которых на одно место приходилось по пять-шесть человек.

Стадо людей ескакивало в 3 часа утра и бежало на переключку. Тот, кто падал от изнеурения, получал град ударов, а если кого-то не хватало, то целый блок стоял до тех пор, пока не найдется потерявшийся. Случалось, что наказанные простанывали на одном месте весь день, а так и ночь.

После переключки начиналась «охота» на тех, кого отправляли на различные работы. — это повторялось ежедневно. Люди-тени в страхе убегали от своих преследователей кто куда мог: в баракы для больных, в помещения для мертвецов, прятались под нарами. Лагерные полицейские (тоже из заключенных) наступали их и тащили за волосы в колонны. Кто не сумел спастись, должен был шагать на работу.

Дитя мое! Что это была за картина! Каждое утро в 7 часов бесконечная колонна полосатых скелетов тащилась с тяжельми лопатами мимо начальницы лагеря.

И эти скелеты, маршируя к воротам, должны были еще петь «О, ты, мой Тироль, как ты хорош!».

Поблизости стояли виллы с роскошными садами, в которых жили эсэсовцы, они были построены армией заключенных. На ужин нам полагалось ломать хлеба и маленький кусочек колбасы.

Все мы были пронумерованы. Никто никого не называл по имени, никто не рассказывал о себе, слово у людей исчезла потребность общения друг с другом. Ко всем мучениям присоединилось еще одно

вельносимое — види. Многие женщины, потерявшие волю к спасению, были буквально ими съедены. Их тела кропотливо рапами, головы, как в париках, были обрамлены толстой массой копошащихся насекомых. Души людей онемели. Ни разу я не видела плачущую женщину, не слышала, чтобы кто-то расказывал о своих детях.

Человеческое в человеке было уничтожено.

Как я тебе уже писала, меня из этого ада спасла нелегальная партийная организация, в которой были товарищи, знавшие меня по Испании и Франции. Я перестала быть номером, я снова была с моими товарищами.

Дорогое дитя! Можешь ли ты понять мои чувства! Нет таких обстоятельств, при которых настоящий коммунист был бы одиноким, потерянным. Ни стены тюрьмы, ни гестапо, ни проволочные заграждения концлагеря, ни СС — ничто не в силах уничтожить волю к жизни и борьбе. Гитлер мог убить миллионы людей, но рабочее движение никогда не могло быть им уничтожено.

Письмо 15

«**Б** сля останусь в живых, я оставлю весь дом цветам», — говорила я подруге. В то время я думала о многом. После перехода в барак № 2, к друзьям, к нам снова вернулась способность к мечте. Это помогало выжить. Вечерами, когда невозможно было заснуть из-за зловолия, исходявших от створешных в крематории тела, мы вслух предавались своим мечтам о будущем.

Сегодня мне немного смешно, когда я вспоминаю нас прежних. Мы забывали, что в истории не бывает чудес, а существует только реальность.

Но в тех условиях мечта была необходима, нам нужно было выдержать — в этом была суть.

Мечта помогала нам быть сильными. Перед нашими глазами горели красные огни крематория. Каждый день мы слышали о расстрелах, отравлениях, операциях, после которых женщины оставались калеками. Каждую минуту смерть охотилась за нами. Эсэсовец, объезжая на велосипеде лагерь, мог остановиться перед баракком, выстроит женщину на перекличку и пальцем указать на ту или другую, после чего их убивали. Он не только не знал их имен, ему не нужно было знать даже их номера. Ему просто надо было выполнить порму, убить определенное число людей.

Где, как, когда наступит твоя очередь, об этом никто не знал, и это было самым страшным.

Вот почему нам нужна была мечта о будущем.

Дорогое мое дитя! Я написала тебе обо всем, что пережила, чтобы ты поняла, что в жизни все — и человек — имеет начало и конец, чтобы ты никогда не пропустила возможности сделать доброе дело. Часто мы находим время для всего, но только не для людей. Что ты сегодня сделала, сказала, — сделано и сказано. Но важно, каким делом ты занимаешься, важно, чтобы ты сохранила чистоту характера. Тогда эта чистота даст силу другим людям. Может случиться, что люди не заметят или не захотят заметить твоего благородства, но ты имей терпение, ты победишь. И в борьбе бывают падения. Мы часто ложимся усталые на землю, часто нам не хватает сил, но мы вновь обретаем их, встаем и идем к победе. Это и есть жизнь. Жизнь подчас грустная, подчас прекрасная.

Твоя мама.

Письма Лизы Гаевич к дочери, конечно же, не претендуют на всесторонний анализ событий второй мировой войны или движения Спротивления фашизму. Лиза Гаевич хотела подробнее рассказать дочери о себе.

Интимные, без расчета на широкую огласку, эти письма написаны, тем не менее, страстным пером человека, остающегося, как каждый настоящий коммунист, последовательным в выражении своих чувств и взглядов. У Лизы Гаевич личный момент в жизни неразрывно связан с представлением об общественном долге, о месте и роли коммуниста в обстановке открытой схватки с врагом.

Есть в ее письмах к дочери важная мысль, адресованная не только Инге, но и ее сверстникам по Ивановскому интернациональному детскому дому, да и всей советской молодежи. Эта мысль — об опасности облегченного, мецанского подхода в оценке подлинной сущности порядка, существующих на Западе.

Лиза Гаевич прямо заявляет, что недооценка противника, стремление представить дело таким образом, что капитализм ныне изменился, «подобрел» к простым людям, что в нем непопулярны идеи реванша, есть не что иное, как самообман, обывательщина, навеянная разными голосами «друзей» с Западе.

«Изменились вывески в буржуазном государстве, но сущность его осталась прежней», — говорит Лиза Гаевич.

Публикуя письма Лизы Гаевич, мы надеемся, что они найдут внимательного читателя, особенно среди нашей молодежи, и помогут людям узнать, в каких условиях, с каким напряжением духовных и физических сил проходила борьба коммунистов-интернационалистов за светлое будущее человечества, за мир во всем мире.

Вода издревле волновала человека, особенно в жарких странах, где она всегда дефицитна по весу золота; ее отсутствие грозило неисчислимыми бедствиями. Ее значение общезвестно и возрастает из века в век. В наши дни она рождает электростанции на гидростанциях, да и на тепловых — превращая в пар высокой температуры под большим давлением. Без воды нельзя обойтись и в промышленности, в сельском хозяйстве, в коммунальном обслуживании. Выплавка одной тонны стали обходится в полторы тысячи кубометров воды; еще больше «выплавляет» одна тонна резины — почти четыре тысячи, капрона — пять с половиной тысяч кубов. Высчитано, что современному человеку необходимо в среднем триста кубометров в год.

Несколько десятков лет назад высказывались опасения: дескать, рачительная планета растеряет в космическом пространстве сначала газовую, а затем водную оболочку. Сегодня эти опасения выглядят весьма и весьма спорными.

Вода преподносит человечеству один сюрприз за другим, одну загадку за другой.

Где больше всего воды на Земле? Конечно, ответит каждый, в Мировом океане. Но подсчеты, произведенные гидрологами, привели к неожиданному выводу: в Мировом океане лишь небольшая доля — всего пять процентов той воды, что имеется на нашей планете. Главные ее запасы невидимы, они у нас под ногами, упрятаны в земной коре, в толще подстилающей ее мантии. Здесь тридцать миллиардов кубических километров воды. (Напомним, один кубический метр — это миллиард кубометров.) И если трудно объять мысленным взором Мировой океан, то как вообразить всю массу воды в глубинах земного шара?

Сверху донизу царство чудовищных температур и давлений пропитывает вода. В каком она состоянии — твердом, жидком или газообразном? Может быть, в каком-то ином, например, в плазменном? Тут область догадок, споров, сомнений...

С подземной теплой и горячей — так называемой термальной или геотермальной — водой человечество знакомо уже тысячелетия. Этой водой люди моются, лечат болезни, отапливают жилища. Вспомним хотя бы термы Каракалы — горячие бани в Риме, знакомые каждому школьнику — любитель истории; вспомним и серные



Георгий
БЛОК

ОКЕАН ПОД НОГАМИ

Рисунки
Н. ОФФЕНГЕНДЕНА.



бани, куда жители грузинской столицы приходят знато попариться, восстанавливая силы. Минеральные воды Кавказа еще до нашей эры славившись своими целебными свойствами. Вода гейзеров согревает дома исландцев.

Но до недавнего времени считалось, что эти воды — только исключение на нашей планете, что они находятся лишь на отдельных ее точках. Новые горизонты в представлении о подземных водах и их использовании открыла буровая вышка; она позволила спуститься в недра, хотя еще и не слишком далеко: в осадочных породах не достигла десяти километров, в магматических — границах и базальтах — даже трех (а ведь толща земной коры равна тридцати—пятидесяти километрам).

Вскоре после второй мировой войны молодые энтузиасты и романтики, влекомые мечтой найти собственную сибирскую нефть, стали бурить одну скважину за другой на севере Тюменской области. На первых порах жар-птица не давалась в руки, хотя снизу под большим напором наружу вырывались фонтаны воды.

— Вода тоже жидкотекучая, — насмешливо бросали консерваторы (они отрицали возможность «поймать» нефть за Уральским хребтом). — Полезная, хотя не такая густая, как надобно.

Число буровых стремительно умножалось, перевалило за многие сотни. Однако даже после того, как в сентябре 1953 года в скважине около деревни Березово заревел и, разметав стальное оборудование, поднялся наружу мощный столб газа, недра по-прежнему выбрасывали воду. И миновали годы, прежде чем здесь хлынули мощные потоки нефти.

Глубинные воды стали «навязывать» себя исследователям в самые последние десятилетия. Им, по существу, даже не интересовались; они сами себя объявляли, незваными глези под ноги, выбрасывая сильные струи из опорных скважин, продолженных для геологического изучения недр. Эти скважины бурили в поисках полезных ископаемых, и, как у тюменских искателей нефти, фонтаны воды различной температуры своим появлением отнюдь не вызвали восторга. Судите сами: идет охота за нефтью, а получают воду, в зависимости от глубины то теплую, то горячую.

Сегодня, хотя не везде, проведена сплошная съемка геотермальных источников до глубины три с половиной тысячи метров. Оказа-



лось, что СССР обладает крупными запасами подземных гидротерм различной степени минерализации (до пятидесяти граммов солей на литр воды).

Суммарная мощность гидротерм в нашей стране грандиозна: они могут давать ежегодно двадцать миллионов кубометров воды. И вот что любопытно: Камчатка и Курильские острова с их огнедышащими горами, гейзерами, дымящимися источниками остались далеко позади в списке гидротерм. Изучение показало, что хотя Камчатка и Курилы удерживают за собой высокое третье место в этом списке, на первое претендует другая область — Западная Сибирь. На ее долю приходится свыше половины запасов термальных вод страны: их ежегодный дебит — почти одиннадцать миллионов кубометров. Правда, температурой они ниже, чем камчатские или курильские, но фантастически обилие их объем. В солидном научном труде «Термальные воды СССР» отмечается: «На территории Западно-Сибирской низменности расположен один из крупнейших в мире артезианских бассейнов площадью около трех миллионов квадратных километров». Одна треть этой площади, по сугубо осторожным подсчетам, вмещает в себя почти шестьдесят пять триллионов кубометров воды. Много это или мало? Река номер один Европы — Волга — ежегодно приносит Каспию двести пятьдесят миллиардов кубометров воды.

В западносибирском колодеце, что плещет в толще осадочных пород, скопилось воды столько же, сколько в Каспийском море. Эта вода уходит в недра на глубину до четырех-пяти тысяч метров, а если верить прогнозам, еще дальше. На севере, вблизи поверхности, на «мелководье», она находится в так называемой твердой фазе, попросту говоря, смерзлась. С глубиной же она становится жидкой, температура ее возрастает, под давлением в несколько атмосфер достигает 150 градусов.

Второе место занимает Кавказ. Он может дать два миллиона кубометров воды за сутки. Полтора миллиона кубов изливают источники Камчатки и Курил, чаще всего горячие, благодаря тому, что бьют в зоне молодого вулканизма.

Исследователи с нетерпением ожидают важных известий, которые должно принести глубинное бурение на десять — пятнадцать километров. Тут, видимо, зарегистрируют самые высокие температуры (до 350 градусов Цельсия) и оригинальный химический состав рассолов.

Мы уже знаем, что среди термальных источников есть немало лечебных.

Пока изучены первые сто двадцать пять, признанные медиками целебными, с дебитом в полтораста тысяч кубометров в сутки. Это всего-навсего начало будущего перечня из тысяч наименований. Воду таких источников, как правило, не только разливают по бутылкам, но и используют для устройства ку-

пальных бассейнов, ванн. У таких источников создаются курорты.

В XX веке список этих источников непрерывно пополняется новыми во многих концах страны. Минеральные воды получены даже в Москве и Ленинграде. Свыше ста лет назад в Царском селе с двухсотметровой глубины показало фонтан воды с лечебными свойствами. Первая скважина, пробуренная на территории московской бойши, выдает термальные воды с глубины 1 650 метров. Она долго служила лишь поставщиком поваренной соли — пятнадцать тонн в сутки, а сейчас тут устроена водолечебница, где курс терапии успешно принимают ревматички и люди, страдающие нарушением обмена веществ. Другая скважина — у Горбатого моста — выбрасывает воду, хорошо знакомую жителям столицы. — «Московскую минеральную № 1», близкую по составу и вкусу известным «Ессентукам № 20», со сходным терапевтическим эффектом. Третья скважина, пробитая на глубину более тысячи метров у Кропоткинских егоров, наполняет водой плавательный бассейн «Москва». Концентрация солей здесь примерно такая же, как в Черном море. Разбавленная пресной, она дает неплохие результаты при лечении нервных болезней.

Известны минеральные источники в Крыму, на Карнатах и Кубани, в Ставрополье.

Проблемами подземной гидросферы занимается научный Совет по геотермическим исследованиям Академии наук СССР. Один из его руководителей, доктор геолого-минералогических наук профессор Федор Алексеевич Макаренко, посвятил свою жизнь изучению горячих подземных источников. Он совершил не одно путешествие по нашей стране, хорошо знаком есан не со всеми, то с большинством мест,



«заподозренных» в гидротермах. Ученый — частый гость среди таежной чащобы Западной Сибири, скитался по ее лесам и тундре, болотам и топям Заполярья, выявляя ныне нанесенный на геологическую карту гигантский артезианский бассейн.

— Геотермальные источники — великий, пока мало оцененный и плохо используемый дар природы, — говорил мне профессор Макаренко. — Может быть, потому, что об их грандиозных масштабах и широкой распространенности до недавнего времени знали немногие. Как правило, горячие воды считались принадлежностью районов, «зараженных» вулканами. Подобная точка зрения, рожденная ограниченностью познания, сейчас отвергнута. Если когда-нибудь будут пророчества, что, дескать, через столько-то веков человечество целиком израсходует горячие ископаемые, то гидротерм, бьющих с разных горизонтов, хватит на десятки, а быть может, на сотни тысяч лет эксплуатации. Надо иметь в виду, что гидротермы располагают, кроме глубинного, еще одним поставщиком влаги — небесами. Покада не прекра-

тятся осадки — дождь и снег, частично просачиваясь в почву и дальше, — не перестанут восстанавливаться запасы вод в осадочных породах. А там, где скупы небеса, есть и второй, еще более щедрый источник. Надо ли напоминать, что почти все сложенное в земной коре поступает именно снизу. Несомненно, этот склад неизмеримо богаче верхнего, связанного с космосом.

Эксперименты подтвердили, что глубинную влагу как бы усваивает, удерживает в своих порах земная кора; она «толстеет» почти на три кубических километра в год. По-видимому, до кембрийской эпохи мантия ежегодно выбрасывала больше, чем три кубических километра воды. И если б это излишнее продолжалось и дальше в том же темпе, то на земном шаре не существовало бы суши, ее покрывала бы сплошная водяная пелена. Почему интенсивность процесса снизилась, пока неизвестно.

Синтезируя мировой опыт развития геологии, группа советских исследователей — Ф. А. Макаренко и его сотрудники Вадим Ильин, Владимир Коновов и Борис Поляк — создали оригинальную физическую модель гидросферы планеты Земля, вернее, ее гидросфер. Их пять, начиная с верхней, подстилающей континенты, острова, дно морей и океанов, кончая ядром, где вода, как считают, находится не в твердом, жидком или газообразном, а в четвертом состоянии — плазменном.

Пять этих гидросфер пронизывают охватывают поясами всю толщу земного шара до самого ядра. Глубина каждого слоя непостоянна: то он как бы сжат, то как бы раздут, то он дальше от поверхности, то ближе к ней, такое же разнообразие демонстрируют температура и давление. Они словно управляют состоянием воды в зонах.



Подземные воды по своим свойствам почти во всем не похожи на наземные прежде всего температурой; они заполняют поры и трещины в горных породах, а в мантии расплены, растворены в магме. Отличаются они от поверхностных еще и тем, что всей своей массой химически и физически непрерывно взаимодействуют с окружающей средой и, как самые подвижные и активные в пространстве глубины, все вокруг себя изменяют и изменяются сами.

Какое место занимают термальные источники среди других видов энергетических ископаемых, способных дать тепловой эффект?

— Им принадлежит ведущее место, — говорит мой собеседник. — Многокилометровые столбы огненной лавы, раскаленные камни и бомб, горячих пепла и воды, извергаемые жерлами действующих вулканов, свидетельствуют о том, какой жар бунует внутри земной коры и подстилающей верхней мантии. Сопоставляя энергетический потенциал гидротерм с тем, каким располагают месторождения полезных ископаемых в нашей стране, геологи пришли к неожидан-

ному заключению: подземное тепло твердо стоит впереди залежей угля, нефти, газа и сланцев, возможности ветра, падающей воды и опережает не какое-нибудь одно из них, а затмевает все остальные энергетические ресурсы земной коры и атмосферы, вместе взятые.

Профессор Макаренко сделал паузу.

— Боюсь прослыть слишком смелым, возможно, меня станут опровергать, спорить, но, — он выразительно махнул рукой, — гидротермы... это своего рода вечный, неиссякаемый двигатель... Если, допустим, в Западной Сибири возникнет опасность истощить тот или другой термальный источник, можно, не нарушая круговорот воды в природе и процесс образования глубинного тепла, закачивать обратно использованную воду, охлажденную возвращать в недра. Там она снова согреется в естественном «котле» и вторично вернется наверх. Так можно поступать многократно.

Сотни разведочных скважин, пробуренных в Западной Сибири, показали: гидротермы размещены на нескольких горизонтах до глубины в три тысячи метров. Каждым следующим, ниже расположенным, примерно на 25—30 градусов теплее предыдущего. Самый нижний — он упирается в кристаллический фундамент — очень горяч, его температура 140 градусов. Суточный дебит скважин в среднем составляет от пятисот до полутора тысяч кубометров воды разной температуры и давления. Такой источник вернее именовать фонтаном: выбрасываемая толстая струя клочечек над землей.

Исследователи тщательно и всесторонне изучают подземное тепло, прослеживают все стороны его образования и роль в круговороте вод, анализируют его возможности, разрабатывают планы покорения и освоения.

Экономически самое рациональное — использовать термальные источники комплексно. Это значит — получать геотермальную электрическую энергию, извлекать растворенные химические вещества — ценные соли, снабжать горячей водой города и поселки городского типа, промышленные предприятия, парники, теплицы и животноводческие фермы, бальнеологические лечебницы, плавательные бассейны под открытым небом.

Сейчас, когда ученые, инженеры, изобретатели десятков институтов, проектных и конструкторских бюро заняты подготовкой генерального комплексного наступления на север Западной Сибири, гидротермальные источники из лежащего втуне капитала стали превращаться в активно действующее начало. Следует подчеркнуть особенность: города и промышленность надо уметь и бережно переключать на вечную горячую воду и вечную энергию.

Термоград... Тщетно стали бы мы искать в географических справочниках этот город. Однако его рождение, вероятно, скоро произойдет на Камчатке или на Чукотке, на Курильских островах. Пожалуй, больше всего шансов у Западной Сибири. Думается, такой город должен вырасти прежде других на севере Тюменской области, в краю знаменитых газовых залежей, где берут начало истоки магистральных газопроводов, перекинутых через два континента.

Давайте пофантазируем. Сердце будущего Термограда — его геотермальная электростанция, ГеоТЭС. Ее турбины станут вращаться от мощных источников термальных вод, перегретых, перемешанных с мятым паром под давлением в несколько атмосфер. Отработанный крутой кипяток (100—110 градусов Цельсия) по разветвленной сети труб словно кровеносная система пронизывает весь город. Оттапливаются жилые, общественные и промышленные здания. Квар-

галы чистых, точно выкуренных, домов украшают улицы, где почти не бывает свежих заносов. — всегда горячие трубы под тротуарами и мостовой превращают снег в воду, которая стекает в канализацию.

Предметом гордости сверяин будет чудесное растительное царство за стеклянными стенами и крышей. Тут теплицы и оранжереи, где овощи и фрукты дают два-три урожая в год. Жители получают отсюда помидоры, огурцы, зеленый лук и редис, клубнику, дыни и виноград, а также заимствованные у садоводов Исландии бананы. В парке под стеклянной крышей соседствуют вечнозеленые кустарники и декоративные деревья.

В городе несколько плавательных бассейнов; они функционируют круглый год под открытым небом. Население всех возрастов охотно купается, слабоминерализованная целебного состава глубинная вода препятствует многим заболеваниям, лечит внутренние, кожные, нервные, костные болезни, нарушения обмена веществ. Термоградцам будут завидовать жители средней полосы.

— Вышешний уровень техники позволяет сделать Термоград реальною уже в годы десятой пятилетки. — говорит профессор Макаренко. — Мне думается, архитекторы, инженеры и строители — те, что принимают участие в покорении ледяной мерзлоты, не могут пройти мимо термальных источников, не принять их на вооружение.

Термоград пока принадлежит будущему. А сегодня? Сегодня некоторые черты этого города можно увидеть на Камчатке.

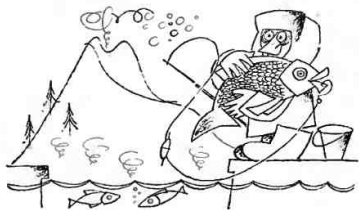
Камчатские гидротермы — генетические отпрыски вулканов, хотя и не обладают устрашающею мощию своих родичей. Атмосферная влага просачивается здесь по трещинам и щелям в почве, где теплеет, становится горячей, клокочет, ищет выхода наверх. По обратной дороге — длительной, длинной, запутанной — влага растворяет, впитывает различные соли и уносит их с собою. Минерализованная горячая вода изливается у подошвы или на склонах огнедышащих гор, в живописных и безлюдных уголках. Температура ее колеблется в широких пределах от чуть-чуть теплон до бурлящего крутого кипятка (примерно 150 градусов Цельсия). Самые крупные источники — в Долинах Банной, Паужетки, Ходутки, Паратунки...

Все эти гидротермы (вернее, извлекаемая ими минеральная вода) близки по целебному эффекту знаменитым кавказским, типа Боржом, Ессентуки, Славновская, Джермук. Они в последние годы популярны не только на Камчатке, но и повсеместно на Дальнем Востоке.

— Но неоспоримо, что главное значение камчатских гидротерм — энергетическое. — рассказывает главный специалист института «Теплоэлектропроект» молодой инженер Виктор Лобачев. — Первая ГеоТЭС с двумя турбинами по две с половиной тысячи киловатт каждая уже построена и эксплуатируется на реке Паужетка. Скважины, пробуренные на глубину всего 200—500 метров, сходятся в подземной котельной, взрезанной самой природой. Тут крутой кипяток сепарируют, разделяют на горячую воду и пар. Онто и вращает турбины электрогенераторов. Очень горячая вода обогревает жилые дома поселка. К сожалению, большую ее часть приходится сбрасывать в реку. По мнению геологов, наличием тепла хватит, чтобы поднять мощность Паужетской ГеоТЭС в пять раз. Вторая очередь даст двадцать пять тысяч киловатт.

А нельзя ли сливаемую здесь без пользы горячую воду заставить работать, хоть производить электрическую энергию?

— Конечно, можно. — утверждает мой собесед-



ник. — Созданная по проекту Новосибирского отделения нашего института оригинальная паровакуумная турбина мощностью пятьсот киловатт проходит испытание на экспериментальной станции, построенной на реке Паратунка. На Паратунке в обогреваемых трубами с горячей водой парниках и теплицах хорошо растут помидоры, огурцы, кабачки, лук и витаминизированная зелень. В суrowую пору года — в январе — марте собственными овощами бойко торгуют в Петропавловске-Камчатском и во многих поселках.

Многолетний опыт эксплуатации первой геотермальной электростанции и скважины, пробитой геологами по соседству, на Нижне-Кошелевской залежи глубинного тепла, показали: это — перспективное дело. Короткая скважина — сто семидесять метров! — выбросила мощную струю кипятка под давлением в несколько атмосфер.

Проектируемая Нижне-Кошелевская ГеоТЭС мощностью сорок пять тысяч киловатт положит начало Южно-Камчатскому энергетическому комплексу. Линии высоковольтных передач охватят восточное и западное побережье на юге полуострова, его самые обжитые районы.

Геотермальные энергетические ресурсы Камчатки и ожерелья Курильской гряды, по самым осторожным подсчетам, составляют триста пятьдесят — четыреста тысяч киловатт. Долины близости вулканов Семязек, Мутновский, хребта Камбалыный, просторный Горячий пляж острова Кунашир на Курилах ждут, когда придут строители.

Сооружать ГеоТЭС — значит сделать важный шаг в завоевании большого тепла недр. Недаром ученые обсуждают идею обуздать, сначала частично, действующий вулкан Алаша. Жар его магматического очага, класкоющего в трех-четыре километрах от поверхности, достигает 700—800 градусов. Подобная температура доступна технике. Овааев даже десять — двадцатью процентами этого эдского котла, можно пустить в ход геотермальную электростанцию миллионной мощности. И она многие десятилетия будет давать электрическую энергию без новых затрат.

Разве не является все это реальной основой, на которой вырастат будущие Термограды?

Жизнь — это одушевленная вода. «Нельзя сказать, что ты необходима жизни; ты — сама жизнь». Это слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери о воде.

Вода вездесуща. Даже самые твердые горные породы содержат в тончайших капиллярах воду. У нас под ногами, в глубинах Земли, плещет океан. Вода — архитектор планеты, ее неумолимый строитель. Извлечь ее на поверхность, поставить на службу человечеству — эта мечта вполне доступна сегодня генетию ученого, изобретателя, инженера...



Станислав
ТОКАРЕВ

МАГИЯ ЛИЧНОСТИ

Когда в балет идут «на Плисецкую», то не только для того, чтобы насладиться выразительностью ее движений. Не только...

Когда в кино или в театр идут «на Смоктуновского», то не только для того, чтобы увидеть, как он трактует очередную роль. Не только...

Личность — вот что влечет. Свет личности, ее магия, ее сила, которую ничем не скрыть — ни гримом, ни туникой... Первозданный интеллект великой балерины, который даже не в танце — просто в ней самой. И обостренная нервность удивительного актера, когда словно видишь биение его сердца — не Гамлета, не царя Федора, но смешного страхового агента, но Смоктуновского... Вот что манит.

Когда Москва валом валит в Лужники «на Кризтона» — в те два декабрьских вечера показательных выступлений, которые он и больше всего он сделал незабываемыми, — зритель лишь во вторую очередь привлекают его каучуковые прыжки-шпагаты и крутые вращения. А в первую — совсем Другое.

Канадец Толлер Кризтон танцует арисзо Каино из «Паяцев» Леонкавалло (я не оговорился, именно так — танцует арисзо, а не «под арисзо»). Он взлетает ввысь в некоей изломанной, искривленной



болью позе, потом припадает на лед и вращается, сжимая голову руками, и бессильно никнет, сраженный страданием. И тогда видишь не только выдающегося спортсмена. И не только трагического шута в его изображении. Тогда понимаешь, что его слова, сказанные мне в интервью для «Советского спорта», — о раздвоенности между живописью и фигурным катанием, о стремлении к совершенству и в том и в другом, о невозможности достичь этого абсолютного совершенства и о страдании, которое, мучая его, питает его творчество, — что все это слова предельно искренние.

Он ярок как личность, и он умеет выразить себя.

Что общего между Ольгой Корбут и Василием Алексеевым? Думаю, выразительность личности, яркость и откровенность выражения. Забудутся килограммы, перейдут в общее пользование трюки, останется луч, как от звезды, которая давно погасла.

Для Власова борьба с металлом была драмой. Какая там «большая железная игра»? Не игра, не шутки: по одну сторону интеллект, по другую — воплощенная тяжкая грубость реального мира. Жабо-

тинского рекорды радовали, он наслаждался, он весь был из Рубенса, он и гриф, он и блины — одна щедрая плоть.

Алексеев не лжует, он уверен, что рекорду быть, никуда не денется, и нечего поддирать. Он смотрит на штангу свысока и, пожалуй, насмешливо: даже презирать — это чересчур много для железа. Его не волнует, ни что о нем скажут (захочет, будет элегантен, а захочет — совсем небрежен в одежде), ни что с ним случится, когда он побьет свой последний рекорд: дитя природы, из нее вышел, в нее и удалится такой же медвежий походкой, лес рубить или уголь — ему все равно. Смотри поверх голов публики, он видит там, вдали, что-то свое, а публика пусть себе неистовствует, пусть трепещет, эхо дело... И тренера у него нет, и методика своя, ни на чью другую не похожая — как хоч, так и вору гигаграммы.

А Корбут смотрит в публику, Корбут ловит взгляды публики и все время ее чувствует: выдаст трюк и кокетливо выпрямится во все свои полтора сантиметра, и еще нечто хлесткое проделает ладонями — вот она я! Искренность Корбут имеет качество абсолютного бесстрашия. Она не стыдится ни злости, ни слез, ни восторга, ни самолюбия, ни честолюбия. Ее реакции казались бы преувеличенными, не будь они столь органичны. И когда она вышагивает вдоль помоста последней в строю, такая крохотная и идеально пропорциональная, с этой детской челкой, с этими инфантильными бантиками, и обязательно кому-то там в рядах машет ручкой и еще, того гляди, подмигивает — видишь, как она горда тем, что вот такая ни на кого не похожая, смелая-пресмелая, милая-премилая, знаменитая-презнаменитая, точь-в-точь самая любимая героиня самой популярной мультипликационной серии.

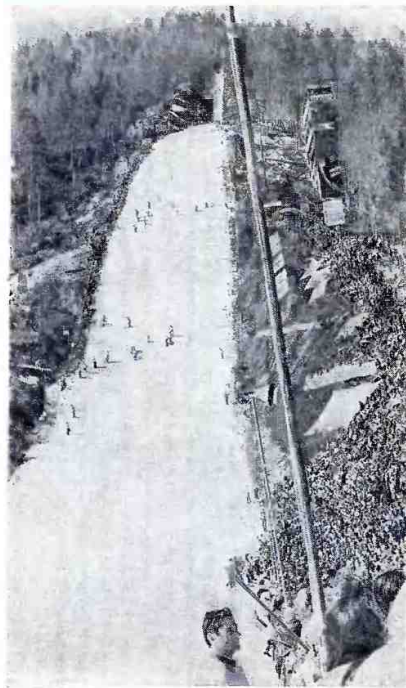
Личность властвует в спорте...

Ведет за собой.



На снимках:
Толлер Крэнстон,
Ольга Корбут
и
Василий Алексеев.

Фото
В. ГАНЧУКА и
Ю. МОРГУЛИСА



Анатолий
ЮСИН

МЫ ЕЩЕ ПОЛЕТАЕМ НА ЛЫЖАХ



видел, как это случилось. В Москве на Ленинских горах соревновались прыгуны с трамплина. И у Александра Иванникова, беспорочного фаворита соревнований, сломалась в полете «лягушка» крепления, и он потерял левую лыжу. Иванников замахал руками, пытаясь удержаться в стойке, и каким-то чудом удержался и продолжил полет на одной лыже.

Может, взгляд человеческий имеет все-таки материальную силу? Тысячи людей, следившие за прыгуном, молили: ну еще чуть-чуть вытяни, поближе к земле... еще метр... еще полметра, здесь вроде помягче... И Иванников благополучно приземлился.

А через полчаса он поднялся на эстакаду трамплина, чтобы совершить второй зачетный прыжок. Стоя на стартовой площадке над Ленинскими горами, Иванников неожиданно рассмеялся: вспомнил старую авиационную побасенку о бабушке, провозжающей внука в армию: «Смотри, сынок, летай тихо и как можно ниже, чтобы падать было невысоко»...

— Было очень странно? — спросил я Иванникова после соревнований.

— Страшно. Но не так, как в Планице, — сказал он.

Он не рисовался. И слово «Планица» для него как пароль. Планица — место рождения первого чемпиона мира по полетам — не по прыжкам, а уже по пометам! — на лыжах.

Три года назад мне посчастливилось быть в этом небольшом югославском поселке и вести репортаж с незабываемого турнира самых смелых лыжников мира. Помимо, как метеорологи запустили в небо пять специальных шаров с изображением советского спортсмена Иванникова — именно его стиль полета больше всего приглянулся специальной комиссии художников, которая выбрала эмблему чемпионата.

В Планице построен самый большой в мире — шестидесятиметровый — трамплин. Стартовый люк снизу можно увидеть разве что в бинокль.

Первый чемпионат мира готовился несколько лет и... чуть было не сорвался. Был март, но неожиданно так потеплело, что люди ходили в рубашках с короткими рукавами. Распускаясь черемуха. Зеленела молодая трава. На озере Блед тренировались гребцы. Снежное покрывало на трамплине каждый день становилось тоньше на пять сантиметров. Солдаты день и ночь накрывали гору белыми, отражающими солнце, пластырьными листами. Снег в Планицу привозили из окрестных ущелий, привозили даже из Австрии и Италии. Благо, что одна страна находится в километре от трамплина, а вторая — чуть дальше — в трех...

Первым из наших в Планице стартовал Иванников. Он пролетел 106 метров. Саша говорил: «Скоростна-то какая! Только хотел оттолкнуться и — чувствую — лечу! Прозевал стол отрыва. А в воздухе тянет к земле, тянет. Опыта никакого — пришлось пойти на посадку».

Анатолий Жеглаев успел сильно толкнуться — его скорость в момент отрыва достигла 112,3 километра в час. Но и он был недоволен: «Всего-то пролетел 126 метров. Лечу, лечу — и вдруг на уровне со мной ветки деревьев. Пришлось спикировать».

И этот повторил «пришлось», как говорятся...

Потом Жеглаев признался: «Только коснувшись земли, я понял, как устал. Шлепок лыж был таким, что меня словно пронзило электрическим током, а травма правого плеча дала о себе знать. Руку потя-

На снимке. Шестидесятиметровый (самый большой в мире) трамплин в Планице.

Фото А. КУБАНОВА.

нуло вверх, меня стало буквально разрывать. Все силы я истратила в полете и сопротивляться уже не мог — меня победила спорость».

Швейцарский лыжник Вальтер Штайнер был единственным, кому удалось все — и разгон, и отрыв, и полет, и приземление, и выкатывание. Все стадию он прошел безупречно. Самый дальний первый полет — 158 — силовосовался с самыми высокими оценками за стили. Во втором полете (лыжники должны были совершить два полета в первый день и два — во второй) Штайнер не дотянул до 158 метров, но в лидерах закрепился.

Совершить еще по два полета лыжникам не удалось — на следующую день разыгрался такой ветер, что продолжение соревнования было смертельно опасно. И судейская коллегия решила: первым чемпионом мира объявить Вальтера Штайнера.

Вечером того дня я написал небольшую рассказ чемпиону мира о себе:

— Я рад, конечно, хотя до рекорда мира, который установил здесь в 1969 году Манфред Вольф из ГДР, мне не хватало семи метров. Я не был тогда в Планице — мне исполнилось лишь восемнадцать лет, и, хотя я пытал не плохо, Федерация лыжного спорта Швейцарии не разрешила мне соревноваться на трамплине-гиганте. Меня считали безрассудным; старшие товарищи опасались за мою жизнь. А мне вообще неведомо чувство страха. Поймите меня правильно: чувство страха у меня не то что атрофировалось, как у большинства прыгунов, а оно просто меня никогда не посещало. Первый прыжок с трамплина, сложенного из березовых поленьев, я совершил за шесть лет. Это был хороший прыжок — и далекий — на коротких лыжках я улетел на девятнадцать метров. Отец похвалил меня, а мама сказала примерно так: «Хорошо, что на этот раз так все обошлось».

Первый чемпионат Советского Союза по прыжкам на лыжах состоялся в 1926 году на малом трамплине в Ленинграде. Победитель — менинградец В. Воронин — прыгнул на 18,5 метра. Первый чемпионат страны на большом трамплине состоялся в 1940 году в Красноярске. Результат чемпионки — К. Кудряшова из Красноярска — 73 метра. А когда выйдет этот номер «Юности», уже будет известно, кто и с каким результатом выиграет первый чемпионат страны по полетам на лыжах, который в этом году разыгрывается в Красноярске, где еще прошлой зимой был открыт гигантский трамплин.

Чувство страха посещает даже самых опытных прыгунов. Известен случай, когда Хельмут Рекнагель, один из главных соискателей олимпийского золота в Кортино д'Ампеццо, испугался прыгнуть с трамплина. После такого позора спортсмена, однако, не вывели из сборной ГДР. Тренеры поняли, что такое случиться может. И через четыре года в Скво Велли Рекнагель стал олимпийским чемпионом и вообще выиграл в тот год все турниры, в которых участвовал. Его считали самым бесстрашным, и даже не верилось, что когда-то он вообще отказался прыгать с трамплина мощностью всего-то в 70 метров.

А сверхмощный трамплин в Планице смутил, например, сразу трех именитых норвежцев. Так, отказавшись прыгать в Планице лучший прыгун 1971 года Ингольф Морг. «Я мечтаю закончить спортивный факультет, и мне не хочется сдавать экзамены на костылях», — сказал он.

Ларс Грини, который первым в мире прыгнул на 150 метров, приехал в Планицу, но участвовать в чемпионате мира не захотел. Его мотивировка: «У меня семья дома осталась».

А двукратный чемпион мира Бьёрн Виркола, име-

ющий прыжок на 162 метра, категорически заявлял: «Я не хочу, чтобы мои внуки говорили обо мне: «А дедушке так и осталось 29 лет»... Если меня сочтут трусом и выведут из сборной Норвегии, я докажу, что мой отказ не трусость, а осознанное благоразумие человека, который понял, чем он рискует... Если мне запретят прыгать, я войду в сборную страны по футболу, благо, я никогда не порывал с этой игрой и всегда во всех интервю подчеркивал, что именно футбол дал мне скорость и отличное чувство баланса...»

И чемпионат в Планице действительно начался тревожно — из четырнадцати спортсменов десять приземлился неудачно, а чешского прыгуна Хубача унесла на носках... И тогда срочно собрался технический комитет чемпионата. Вопрос был один: «Летать или не летать?» Прямо перед голосованием по радию передала сообщение медицинский комитет: «Ничего страшного. Хубач не растерялся и в последнее мгновение правильно сгруппировался. Он смягчил удар».

Словом, для опытного прыгуна полет не страшен. Все это так, но...

И тогда встал норвежец Артур Нордли — представитель Международной лыжной федерации — и сказал, что мужчины должны смотреть правде в глаза: даром человеку ничего не дается. Нордли сказал, что ощущение полета непередаваемо и оно гаснет за то, чтобы летать.

И большинство поддержало Нордли. А что было потом? Пошли полеты за 150 метров. А если и случались неудачные приземления, то прыгуны находили в себе силы улыбаться и приветствовать зрителей, как бы говоря: «Все нормально, вы зря волновались»...

В 1973 году, присутствуя на неделе лыжного спорта в знаменитом пригороде Осло Хоаменколлене, я не поверил своим глазам, когда в стартовом люке одного из лучших трамплинов мира — большого Хоаменколлена — увидела девушку. Шестнадцатилетняя Анита Вольд, школьница из Троекейма, прыгнула в тот день на 84 метра — этот неофициальный женский мировой рекорд она сама же перекрывает в январе 1975 года, доведя достижение до 97,5 метра. Корреспондент АПН Э. Сазов побеседовал с Анитой. «Мужчины-то прыгают», — говорила она. — А мы разве хуже? Меня все время стараются не допускать к соревнованиям — берегут... А я говорю им: посмотрите устав международного лыжного союза, в нем нет параграфа, запрещающего женщинам прыгать с трамплина... И вообще я мечтаю о полете с гиганта...»

В том же Хоаменколлене на небольшом тренировочном трамплине я увидел знаменитых чемпионов тридцатых годов — братьев Зигмунда, Биргера в Асбьёрна Рууд. Младшему из них было шестьдесят пять, старшему — шестьдесят восемь лет. Они все село соревновались, стремясь превзойти друг друга: Зигмунд сделал салто лыжками вперед, Биргер будто нечаянно потерял в воздухе лыжи и эффектно приземлился без них, Асбьёрн открыл в полете зовтик...

А бывлой соперник братьев Рууд австриец Зенп Брэдль, в 1936 году прыгнувший на 101 метр, был едва ли не самым пристрастным болельщиком в Планице. Именно здесь он прыгнул на 101 метр, но только на другом трамплине, конечно. Этот 90-метровый трамплин, который Сава Иваников назвал «малыком», до сих пор действует. Не верится, что почти сорок лет назад на этом трамплине — 101 метр!

— А техника в те дни знаете какая была? — гово-

рил Брэдль.— Мы не имели права отрываться пятки. Если сегодня спортсмен лежит на воздушной подушке, то мы на ней сидели в полуогнутом положении.

Приведу строки из романа Константина Федина «Санаторий Арктур», посвященные соревнованиям на первенство мира по прыжкам с трамплина, которое состоялось в Давосе в начале тридцатых годов, то есть в те времена, когда прыгали Брэдль и норвежские чемпионы братья Рууд:

«Забравшись на самый верх просеки лыжник стоял, не шевелясь, поперек дорожки. Вдруг он подпрыгнул и, повернув лыжи вдоль дорожки, ринулся вниз по откосу. Он камнем прочертил просеку, за ней — кривую трамплина, оторвался от него, слегка взметнулся вверх и полетел по воздуху. Он махал руками, как большая птица крыльями. Он близился к земле, а земля убежала из-под него падающим склоном горы. Он наклонился вперед и летел, летел. Люди, стоявшие на склоне, по краям дорожки, зарвав головы, придерживая шляпы, следя за полетом. И вот прыгун коснулся лыжами дорожки, подогнув колени, приседая, мчась по снегу, как по воздуху, и, наконец, круто заворачивая вбок, чтобы остановить едва удерживаемый раскат...»

Вы обратили внимание на взмахи руками во время полета? Представьте себе такой взмах при современной скорости в 150 километров? И тем не менее — взмахи руками и полет на 101 метр! А сейчас?..

— Можно ли представить себе полет на 200 метров? — спросил я в Планице рекордсмена мира Манфреда Вольфа. На этот раз он пролетел лишь 137 метров и занял шестое место, но настроен был оптимистично.

— Двести метров!.. Это расстояние не испугает сегодня ни Штайнера, ни меня, ни вашего молодого Калинин, который мне очень понравился (Юрий Калинин был седьмым в Планице — пролетел 131 метр.— А. Ю.). По степени тренированности, по технике многие готовы к такому полету. Человек десять в мире... Но, думается, даже трамплин в Планице еще не приспособлен для таких метров — даже при полном безветрии здесь не пролетит больше ста восьмидесяти метров... А на двести мог бы сейчас прыгнуть лишь тот идеальный спортсмен, который, подобно Иржи Рашке, умеет на коротком отрезке набирать скорость 115,8 километра в час и, подобно Штайнеру, вытягивать из себя жилы и держаться — держаться в воздухе до того момента, когда уже нельзя лететь дальше и необходимо пикировать...

Четвертый год утверждается новый вид спорта. Проведено два чемпионата мира. В Планице, как вам уже известно, победителем был назван швейцарец Вальтер Штайнер, а в Оберstdорфе — студент из ГДР Ганс-Георг Ашенбах. Оба первенства не были доведены до конца — вмешалась погода, и чемпионы были объявлены по результатам одного дня... Прошлой зимой погода помешала провести и первые соревнования — в программе Спартакиады народов РСФСР — на нашем супертрамплине в Красноярске. Лишь в самом конце сезона, первого апреля, ленинградец Михаил Абрамов, улетев на 136 метров, все же установил первый рекорд красноярского трамплина.

В этом месяце летающие лыжники соберутся в австрийском местечке Кульм, чтобы разыграть третий чемпионат мира. Два года назад в Оберstdорфе самый дальний полет совершил Хейнц Возипиво из ГДР — 169 метров. Наш Юрий Калинин улетел тогда на 156 метров. Хочется верить, что теперь, если не вмешается погода... Впрочем, мне вспоминается, что, когда полеты в Планице были прерваны из-за этой злощастной погоды, первый чемпион мира Штайнер сказал: «Мы еще летаем на лыжах!»

Хуа Гагуа



Перевела
с грузинского
Ю. МОРИЦ



Трава

Я травинка. Мне в поле — привольно.
Я волнуюсь, того не желая,
Под ногами стелюсь добровольно,
Потому что я травка живая.
На припек, где тают сугробы
В свете солнца, могучем и нежном,
Я рождаюсь из древней утробы,
Как строка на листе белоснежном.
А когда — города под луною,
Слезы звезд шестелат надо мною,
Я травинка, моя сердцевинка
Тонко связана с почвой земною.
О, спасибо, судьба дорогая,
За великие благословенья —
Появляюсь, бетон раздвигая,
Где не ждут моего появления...
Знаю, нет мне защиты зимою,
Но вернусь, и живое — за мною,
Я травинка, моя сердцевинка
Тонко связана с почвой земною.



Я помню твой приход полночный.
В глубоком шестеле листья,
Не поднимая головы,
Спал город сладко, мощью сочной
От звезд питаюсь и травы,
Чтоб солнце встретить в час урочный.
Ты как бы забла при окне,
Где русло луниного проспекта
Качало путников, и некто
Брел динозавром — по вине
Воллстого стекла в окне.
Я ног твоих коснулся лбом,
Я руки целовал, запястья,
Где пульсы прыгали от счастья,
Чтоб чувство скрыть,

как лист с письмом —
От постороннего участия.
Меня, как музыку, пьянил
Безмолвный плод вне слуха, зренья —
Безмислевые тайны и смиренья.
Кто в этот миг, как маг, возник, —
Кто за спиной соединил
Две тени вспышкой озаренья!



Анна ЧУТКО,
студентка 2-го курса

КЛАСС КАК КЛАСС

(Из воспоминаний бывшей десятиклассницы)



Уже второй год мы студенты. Давно уже вспышка очарования первым семестром сменилась ровным горением спокойной любви к родному институту. Мы учимся не только на тройки, но и на четверки и даже на пятёрки. И каждый начинает понимать, что в конце концов получается из тебя благодаря усилиям педагогического коллектива школы, которую ты окончил. Представители этого коллектива глядят с групповых фотографий и спрашивают каждого из нас: «Чувствуешь теперь, что дело тебе всеобщее обязательное»? И ты, студент, успешно сдавший вступительные экзамены в вуз и прошедший первые сессии только потому, что у тебя был школьный запас знаний, уже не можешь понять, почему ты когда-то стонал при слове «обязательное».

Да, миновал год после выпускного бала, и многие из нас, вылупившихся из одного довольно работоспособного, относительно дисциплинированного и сравнительно дружного класса, теперь перешли на второй курс МЭИ, МГИИ, МГУ, МОПИ и т. д.

В школе нас научили учиться. Мы разогнались. Остановиться уже невозможно.

К знанию предмета мы шли двумя путями — либо путем притяжения к хорошему учителю, либо методом отталкивания от не очень хорошего, что тоже приводило к неплохим результатам.

Тепло вспоминается лучше, имевшее большую ценность для нас, — учитель, научивший добиваться ясности в трудном предмете, давший почувствовать вкус к знаниям и к самостоятельной работе. Долго еще по мерке хорошего учителя будет для нас оцениваться хороший человек. Таких мы с любовью и уважением будем вспоминать всю жизнь. Но были и такие, о которых мы до сих пор вспоминаем с улыбкой.

глаза системы

Химию преподавала Валентина Петровна. В течение двадцати лет работы в школе она выработала кристально четкую и, как мы потом поняли, единственно правильную систему держания нас в еловых рукави-

цах и в черном теле. Лишний звук на ее уроке рассматривался как недопустимая пошлость и карался независимо от личных достоинств.

Валентина Петровна — высокая, полная пятидесятилетняя женщина, аккуратная до мелочей и пунктуальная, как английская королева. Она не знала, что такое «нехватка часов» — бич многих преподавателей. Ей всегда удавалось вводить урок в нужное русло. «Организационные моменты» на уроке у нее были редкостью. Четверо у доски, шестеро за тремя первыми партами, жесткий регламент, и в результате — десять оценок на каждом уроке.

На перемене в любую погоду в классе открывалось окно — для здоровья. Три первые парты получили название «холодильника». Сидевшие в «холодильнике» дрожали по двум причинам сразу.

— А что вы так трясетесь? — изумлялась химичка. — Ну, идите же к доске. Ну, быстро... Я слушаю вас, молодой че-эк... Молчите?. Вы же ничего не знаете. Это, знаете ли, двойка.

Мы уважали химию, но любить ее могли только те, кто собирались связать с ней будущую специальность, — слишком большого напряжения она нам стоила. И, чего уж мы никак не могли предположить, химия оказалась единственным уроком, который мы однажды по-настоящему сорвали. Нас охватило отчаянное молодечество. Видимо, мы сильно устали к середине года.

— Ну, что это вам дало? — спрашивала меня на выпускном вечере химичка. — Только честно!

Я объяснила:

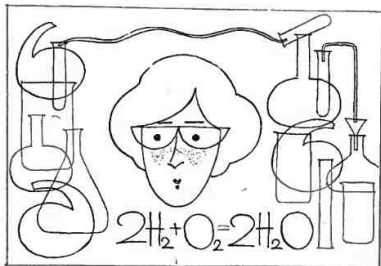
— Мы устали до предела, Валентина Петровна. Жалеем, что сорвали именно ваш урок. Но это единственное, что мы сделали все вместе.

— Я так и поняла. — На меня сквозя очки грозно и ласково сверкнули глаза Системы.

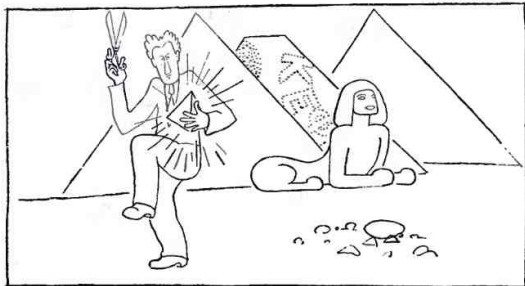
эликсир жизни

На том же выпускном вечере мы вспоминали нашего историка, продержавшегося в школе немногим более месяца.

— Ума не приложу, как это он меня охмурил, — разводила руками завуч. — То искать приходится, а то сам в руки шел, да еще мужнина. Наобещал с три короба: в музей, говорил, ходить будем, кабинет переоборудую...



Рисунки
И. ТКАЧЕНКО.



Василий Иванович умел убедительно говорить. На первом уроке его манера объяснять показалась нам оригинальной. На втором уроке мы поняли, что он нас обвел вокруг пальца. С вопросами мы к нему больше не обращались, так как были уличены в недиалектическом подходе к действительности.

Василия Ивановича можно было принять за восьмиклассника, тем более что одевался он в такой же серый костюмчик. В классе он появлялся в плаще и шляпе. Помахах на нас руками, он вешал верхнюю одежду на гвоздик, доставал из хозяйственной сумки пакетики кефира, шумно выпивал его и произносил:

— Вы не представляете, как полезно! Эликсир жизни.

Затем он доставал конспекты и без предисловий начинал диктовать, делая ударения в самых неожиданных местах. Иногда текст не вязался с тем, что мы слушали в прошлый раз, и мы беспомощно опускали шариковые ручки:

— Василий Иванович, это начало чего?

— Продолжения. Не мешайте.

— А продолжение чего?

— Вступления. Не мешайте.

Прервав диктанта, он начинал проводить связи с действительностью.

— Нет, вот как у нас с вами? Мы живем в разобщенных условиях. Лестничная клетка людей разъединяет. А коммунальная квартира людей соединяет. Перегрызешся, бывало, с ними — ну, враги навеки, а в субботу, соберешься, поставишь на стол...

Нехватка часов вошла в систему. Отметки брались с потолка.

— Я по вашему отношению сужу,— пояснил Василий Иванович.— Я по лицу вижу, кто знает историю.

Он завел кондуит — что-то вроде журнала, где вместо отметок

проставлялись формулы недостоного поведения: «б» — болтал, «с» — смеялся, «в» — вертелся.

Василия Ивановича раздражал «бюрократизм», что и послужило причиной несходства его характера с требованиями администрации, наставлявшей на необходимости регулярно спрашивать учеников, используя по назначению академическое время.

В конце концов Василий Иванович ушел по собственному желанию.

Недавно его видели в метро. Сейчас он работает страховым агентом.

*«Так будет
более лучше...»*

Литературу у нас преподавала Аглая Федоровна. Отсутствие времени не дало ей возможности расширить круг своих педагогических обязанностей дальше устаревшей, но не потерявшей своего значения формулы «готоворить часы».

Главным нашим недостатком, по ее мнению, было неумение связывать «наше с вами вчера с нашими с вами сегодняшними буднями».

Наиболее решительно боролась Аглая Федоровна с нашей привычкой задавать вопрос «А почему?».

— Не усугубляйте,— говорила она,— и не обобщайте. Свои мысли вы будете выражать, когда закончите гуманитарный вуз. А пока законспектируйте все наши с вами выкладки по образу Ленского. Учтите, это ваши собственные мысли. Диктуют... Так будет более лучше.

Если подсобный материал «Пушкин в школе» или «Грибоедов в школе» не вдохновлял, у нас появлялось желание передать его своими словами:

— Заглянем к Евгению Ожегину домой,— предлагала она,— забередем к нему в спальню, подсядем к самой кровати, посмотрим, что делает утром молодой человек девятнадцатого века. Как мы с вами видим, ему записочки несут. Три дома на вечер зовут. За счет чего, думаете вы, все эти цветочки и кабинеты? За счет крестьян. По-э-то-му Ожегин разо-чаро-вал-ся в светской жизни!

От нее мы впервые услышали, что «спортсмен» — это русское сложносочиненное слово, означающее «спортивная смена».

В десятом классе ребята, собиравшиеся сдавать литературу в вузы, проанализировали свои литературные знания и пришли к выводу, что на материале Аглайных уроков далеко не уедешь.

Родители забегали в поисках репетиторов.



Дополнительные занятия мы старались скрывать от ревнивой Аглаи Федоровны. Она так и осталась в неведении по поводу своих педагогических сил.

Без скидок на возраст

После того, как в 5-м классе у нас сменились одна за другой две географички, мы пришли к выводу, что урок географии — это что-то вроде дополнительного времени на выполнение домашних заданий по английскому и математике. Третья и последняя географичка — молодая, высокая,

энергичная — сразу поняла, с кем имеет дело. После ее «Здравствуйте, деточки!» стало ясно, что наше ребячество кончилось.

— А ну-ка вот вы, деточка, на выход! Как вас?... Витя? Очень приятно, а меня зовут Маргарита Георгиевна... Иванов, на потолке ничего не написано, а за окном облачность... Какая, кстати, облачность-то? Вижу, что не знаю. Оценка соответственно.— Захлопнул журнал, она заключила: — Вывод, малолетственный, деточка! То, что вы успели на перемене прочитать в учебнике, рекомендую тщательно забыть. Равнение на доску! Слушать меня и вести конспекты.

Мы были уверены, что нет такой периодической литературы, с которой она не познакомилась, как нет уголка в Союзе, где она не была. Ей первой удалось расшатать наше равнодушие ко всему, что выходило за рамки учебников.

Каждый год Маргарита Георгиевна собирала человек двадцать из своего 10 «б» и нашего класса, и мы ездили с ней в Ленинград, Минск, Одессу, Киев. В Бресте она махала бумажками перед лицом директора школы, где мы не чевали, и требовала раскладушек и матов, «говоренных в перелиске». В плацкартном вагоне, где дуло изо всех щелей, географичка до хрипоты убеждала проводницу в том, что мы никак не можем выпрыгнуть на ходу с казенными матрацами и подушками.

В автобусе, который шел в Хатынь, она заставляла нас смотреть по сторонам и все запоминать, хотя мы смертельно хотели спать после холодного вагона.

Однажды на вокзале мы впервые услышали, как Маргарита Георгиевна поет «Синий берет» и «Я много в жизни потерял из-за того, что растом мал».

В Москве наши туристские страсти успокоились. В один прекрасный день мы заметили, что у географички бледное, почти серое лицо, поняли, что поездки обходятся ей не дешево, и прикомлки. Нас она ругала больше всех:

— Бездельники! Задрали нос, ни черта не знают, даже друг друга понимать до сих пор не научились!

Нам было стыдно перед ней, когда на выпускном вечере ее 10 «б» дружно пел под гитару, а у нас песни не нашлось... Мы поняли, что не сумели «слетаться».

К нашему столу подошла Маргарита Георгиевна, сказала несколько слов, и мы сразу вспомнили кучу песен.

Б. БЕРМЯК,
А. ЮРИКОВ

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ



С то началось, когда Вера еще училась в десятом классе. Она увидела его в кино, и с тех пор высокий широкоплечий брюнет с голубыми глазами, в черном кожаном пиджаке и алой рубашке с расстегнутым воротом постоянно был рядом с нею. Одну его фотографию Вера хранила в записной книжке, другая — из журнала «Советский экран» — лежала под стеклом на письменном столе, а очень цветной портрет, купленный за рубль восемьдесят в подземном переходе, висел на стенке. Родители Веры тоже привыкли к этому портрету. Папа говорил, что, глядя на него, чай можно пить без сахара.

Каждую неделю Вера ходила на фильм с его участием. Ей хотелось видеть его, но в кино он больше не снимался.

Вера пошла в театр. Он нравился Вере во всех спектаклях, в которых играл. Он появлялся на сцене — всегда высокий широкоплечий брюнет с голубыми глазами, в черном кожаном пиджаке и алой рубашке с расстегнутым воротом. Вера была счастлива.

Но для полноты счастья ей не хватало всего нескольких слов, сказанных его голосом, слов, обращенных именно к ней. С большим трудом она узнала его телефон. В первый раз ответил молодой женский голос. Вера подумала, что ошиблась номером, но тот же голос звучал в трубке и через неделю и через месяц...

Вскоре место портрета на стене заняла стандартная свадебная фотография. Тоже цветная. На ней рядом с Верой стоял Володя, ее одноклассник, невысокий полный блондин в очках и белой сорочке, стянутой узким галстуком.

На свадьбу молодым подарили телевизор. Сначала было не до него, а когда Вера ушла в декрет, она стала проводить целые вечера у экрана. Как-то, переключив телевизор на четвертую программу, Вера вздрогнула: шел тот самый фильм. Голубые глаза, черный кожаный пиджак, алая рубашка с расстегнутым воротом... Досмотреть картину ей не удалось — в роддоме телевизора не было.

Когда все закончилось, Вера попросила показать ей ребенка. Сестра высоко подняла его, и Вера увидела сына. Он был маленький, но широкоплечий, брюнет с голубыми глазами, в черном пиджаке и алой рубашке с расстегнутым воротом.

Рисунок О. КОНЯХИНА

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Максуд ИБРАГИМБЕКОВ. Прилетела сова.
Повесть 4

Мария ПРИЛЕЖАЕВА. Зеленая ветка мая.
Повесть. Продолжение 30

ПОЭЗИЯ

Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС. Медосбор. На рыбалке. Неоспоримые доводы. Перевел с литовского Л. Миля 2

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. «Проснулся я во тьме ночной...». «Ты помнишь, лодку к водопаду...». «Над алтайской степью туман моросил...». Любимой. «Люблю, когда поет Булат...». «Как будто вытнул сквозняк...». «Дождь холодный. Пустая долина...» 2

Вадим ШЕФНЕР. Забывают. Первая потеря. Черта отсчета. Трещинка. В старой гостинице 27

Сергей МНАЦАКАНЯН. Стихи из Армении. Предместье. Романс зимой 28

Ирина СНЕГОВА. Полустанки. Кормушка. Вера 29

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. «Пусть тебя минует суота...». Старый Крым. Сумерки. «На даче старого поэта...». Баллада об имени. Именица уходит из роддома. Предчувствие. Признание друга 76

Хута ГАГУА. Трава. «Я помню твой приход полночный...». Перевела с грузинского Ю. Мориц 108

КРИТИКА

Вл. ВОРОНОВ. Гражданин Флоренции. (К нашей вкладке) 64

В. КИСУНЬКО. Причастность. (Дневник критика) 66

М. ГАЛЛАЙ. Право и долг. (Поговорим о прочитанном) 69

Рафаэл АТАЯН. Камень и вода. (Краски родной земли) 70

Т. ЕФРЕМОВА. Подросткам — о войне. (Круг чтения) 74

ПИСЬМО МАРТА

И. М. ПОКРОВСКАЯ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ. Помогите найти ее... 75

ПУБЛИЦИСТИКА

Лариса ИСАРОВА. Новенькая. (Невыдуманные истории) 78

Михаил АКСЕНОВ. Ночная работа 82

З. ГАЙСАНЮК. Два автографа 85

И. М. ТАРАСОВА. В этом яростном, яростном мире. (Письма моей матери) 86

НАУКА И ТЕХНИКА

Георгий БЛОК. Океан под ногами 100

СПОРТ

Станислав ТОКАРЕВ. Магия личности 104

Анатолий ЮСИН. Мы еще летаем на лыжах 106

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Анна ЧУТКО. Класс как класс 109

Б. БЕРМЯК, А. ЮРИКОВ. Счастливый финал 111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
28 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
29 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
76 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

66

69 Технический редактор
Л. К. Зябкина.

70

74 На 1—4-й стр. обложки
рисунок В. КОТЛЯРА.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6,
Улица Горького, № 32/1.
78 Телефон редакции 251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

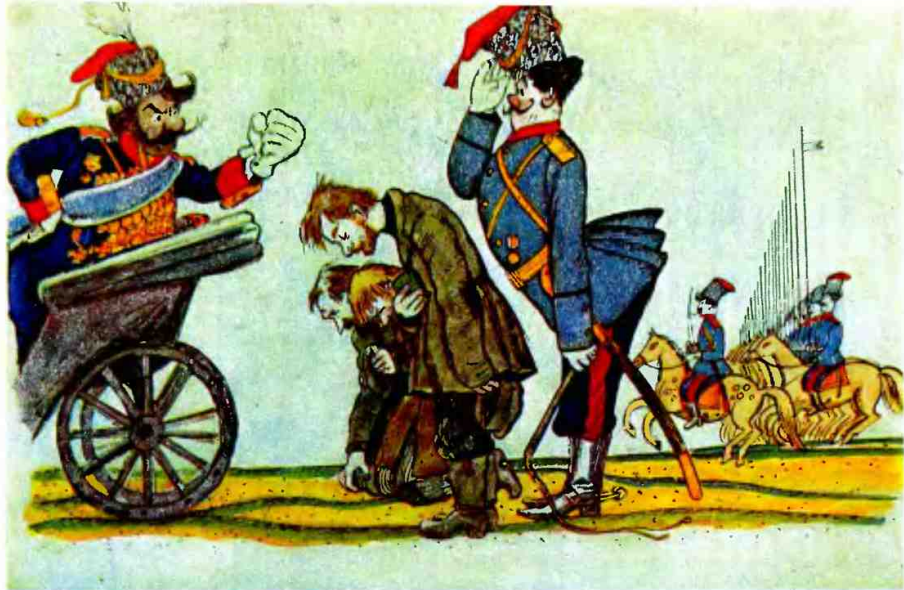
85

86 Сдано в набор 26/ХП—1974 г.
А 05831.
Пол. к печ. 11/П—1975 г.
Формат бумаги 84×108¹/₂.
100 Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 000 000 экз.
Изд. № 496. Заказ № 3192.

106

109

111 Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



Атаман Платов.

**НОВЫЕ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
КУКРЫНИКСОВ
К «ЛЕВШЕ».**

Незабываемые образы известного сказа Николая Лескова «Левша» вдохновили художников Кукрыниксы на создание графической серии иллюстраций. Веселые и саркастические страницы «сказа о тульском хосом Левше и о стальной блохе», о неиссякаемой талантливости русского человека, сумевшего подковать «аглижскую блоху», творчески осмыслены в цветных рисунках, сопровождающих недавнее подарочное издание «Левши». (Детская литература». М. 1974)

На приеме у царя.

